

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

---

ВОПРОСЫ  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ-ИЮНЬ

---

"НАУКА"

МОСКВА - 2000

# СО Д Е Р Ж А Н И Е

К 100-летию со дня рождения  
проф. А.П. Дульзона

Т.В. Г а л к и н а, О.А. О с и п о в а (Томск). А.П. Дульзон и его школа .....	3
В.В. Б ы к о н я, Н.Г. К у з н е ц о в а (Томск). Самодийское направление лингвисти- ческой школы А.П. Дульзона .....	12
Э. В а й д а (Вашингтон). Актантные спряжения в кетском языке .....	21
Г.К. В е р н е р (Бонн). Сложные атрибутивные конструкции в енисейских языках .....	42
В.Н. П о л о в а (Шымкент). Ареально-ретрогрессивный метод А.П. Дульзона в иссле- довании субстратной топонимии .....	50

\* \* \*

Н.В. П е р ц о в (Москва). О неоднозначности в поэтическом языке .....	55
А. А л ь к в и с т (Хельсинки). Меряне, не меряне... (II) .....	83
Е.В. У р ы с о н (Москва). Русский союз и частица <i>и</i> : структура значения .....	97

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

### Р е ц е н з и и

Д.М. Н а с и л о в (Москва). <i>И.В. Кормушин</i> . Тюркские енисейские эпитафии: Тексты и исследования .....	122
А.Л. М а л ь ч у к о в (С.-Петербург). <i>V.T. Kyalandyga, M.D. Simonov</i> . Dictionary of the Udihe language. Preprint .....	126
В.В. К о л е с о в (С.-Петербург). <i>М.В. Иванова</i> . Древнерусские жития конца XIV– XV веков как источник истории русского литературного языка .....	128
М.М. М а к о в с к и й (Москва). Язык и речевая деятельность .....	132

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки .....	149
Новые издания .....	157

## Р Е Д К О Л Л Е Г И Я:

*Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков,  
В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская,*

*Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик (зам. главного редактора), М.М. Маковский (отв. секретарь),  
А.М. Молдован, Т.М. Николаева (зам. главного редактора), Ю.В. Откупщиков,  
В.М. Солнцев, О.Н. Трубочев (главный редактор), А.М. Щербак*

Зав. отделами *М.М. Маковский, Г.В. Строчкова, М.М. Коробова*  
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка 18/2  
Институт русского языка имени В.В. Виноградова,  
редакция журнала "Вопросы языкознания"  
Тел. 201-25-16

© 2000 г. Т.В. ГАЛКИНА, О.А. ОСИПОВА

**А.П. ДУЛЬЗОН И ЕГО ШКОЛА\***

На древе человечества высоком  
Ты лучшим был его листом,  
Воспитанный его чистейшим соком,  
Развит чистейшим солнечным лучом!

*Ф.И. Тютчев*

Каким был А.П. Дульзон и почему он оставил такой след в науке, можно сказать, только узнав о его жизненном пути. Чем больше проходит времени, тем сильнее ощущаешь и понимаешь масштаб его деяний и видишь глубокие корни, заложенные им в различных направлениях лингвистики. Хотя это же самое можно было бы отнести и к археологии и этнографии. Для нас же он остается "Кастреном сегодня", как его метко окрестил академик А.П. Окладников. Приходится только удивляться широте охвата сбора материала и изучения сибирских языков: чувлымско-тюркский, кетский, селькупский, хантыйский, эвенкийский, долганский и др. Им было лично совершено 35 экспедиций в места проживания коренного населения Сибири в бассейны рек Оби и Енисея. Экспедиционные материалы, собранные Андреем Петровичем и его учениками, тщательно проверялись, затем переплетались (один том составлял 800–1000 страниц тетрадного текста) и хранились в его рабочем кабинете-картотеке (ныне Лаборатории языков народов Сибири). Его бывшая аспирантка Т.А. Кабанова (ныне доцент Красноярского педуниверситета) в своем письме вспоминает: "Секрет успеха каждой экспедиции заключался в том, что каждый собирал материал и для других. Дублирование работало на большую точность описания. Все собранные материалы обязательно проверялись самим Андреем Петровичем". Им была начата работа по составлению кетско-русского словаря (120 000 карточек), по селькупско-русскому словарю (80 000 карточек) и значительно меньшее количество карточек по чувлымско-тюркскому, нганасанскому и долганскому языкам.

Все это можно было создать при всесторонней подготовке к такой работе (им был проработан огромный материал по языкам, этнографии, археологии и истории Сибири), чудовищной работоспособности, исключительной организованности и вовлечении в работу большого числа научных работников и студентов.

Не менее значительной была проделана работа по сбору топонимов Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии – 242 000 карточек. Известный топонимист В.А. Никонov так характеризовал работу А.П. Дульзона и его школы в этом направлении: "Богатым топонимическим урожаем Сибирь обязана, прежде всего, школе А.П. Дульзона: многолетняя деятельность А.П. Дульзона сделала Томск самым сильным топонимическим центром страны – с большим количеством талантливых и отлично под-

\* 10 февраля 2000 г. исполнилось 100 лет со дня рождения известного лингвиста, исследователя языков и культур народов Сибири профессора Андрея Петровича Дульзона. Редакция журнала "Вопросы языкознания" публикует блок статей, посвященных тематике, входившей в круг интересов А.П. Дульзона. Редакция журнала "Вопросы языкознания" благодарит сотрудников Томского государственного педагогического университета, любезно предоставивших публикуемые статьи.

готовленных топонимистов, с грандиозной картотекой в полусотни тысяч гидронимов. Ученики А.П. Дульзона и ученики его учеников теперь ведут топонимические исследования не только в Приобье, на Алтае, в Якутии, а и в Казахстане, и в Поволжье" [Никонов 1969: 157].

Вершиной же его творчества является "Кетский язык" [Дульзон 1968а] – монография, за которую А.П. Дульзон был удостоен Государственной премии СССР. Этот труд получил высокую оценку языковедов страны. Чл.-корр. АН СССР В.А. Аврорин отозвался на него статьей "Живут кеты в Сибири", опубликованной в газете "Правда" 9 сентября 1971 г., в которой он придавал большое значение исследованиям А.П. Дульзона и подчеркивал исключительную надежность всех материалов и выводов в его работе: «И вот перед нами плод многолетней упорной работы. Книга А.П. Дульзона "Кетский язык", вобрав в себя все ценное, что было сделано в этой области ранее, дает нам достаточно полное представление о фонетике и морфологии кетского языка. Это первое монографическое описание одного из труднейших языков, стоящее на уровне современной науки. Особенно ценно то, что в отличие от своих предшественников, он для этого пользуется строго разработанной им самим научной методикой. Благодаря этому выводы, венчающие его исследование, приобретают характер высокой убедительности». В этом же номере газеты помещен положительный отзыв акад. М.В. Келдыша о монографии А.П. Дульзона "Кетский язык". Нельзя не привести еще один восторженный отзыв на эту замечательную монографию акад. Б.А. Рыбакова в статье "Гуманитарии в эпоху НТР": «В Сибири, на Енисее, живет маленькая народность – кеты. Их всего около тысячи человек. Советский исследователь А.П. Дульзон (удостоенный за свою работу Государственной премии СССР) провел среди них целую жизнь, изучая их нравы, обычаи, а главное – язык, который вот-вот и навсегда исчезнет из группы живых языков. И оказалось, что этот язык имеет много общего с языком басков, с языками кавказских народностей и, хотя последний факт оспаривается многими исследователями, с языком индейцев – коренного населения Северной Америки. Его работа, которая так и называется "Кетский язык", перекинула мосты с берегов Енисея на Кавказ и на Пиренеи. Это ли не удивительно! А ведь именно такие работы будут по плечу нашим преемникам в археологии, в лингвистике и других гуманитарных науках» [Рыбаков 1972: 18].

Всего этого могло бы и не быть, если бы не началась Великая Отечественная война. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР "О переселении немцев, проживающих в Поволжье" А.П. Дульзон с семьей был выслан в Сибирь, в Томск. Хотя, возможно, наука лишилась не менее крупных диалектологических работ, которые были начаты Андреем Петровичем в Поволжье и значение которых еще в довоенное время было высоко оценено таким крупным лингвистом, как В.М. Жирмунский. По поводу исследований А.П. Дульзоном немецких диалектов Поволжья В.М. Жирмунский писал: «Его работа в этой области, в особенности его обширная докторская диссертация "Говор с. Прайс" выдвинули его в первые ряды советских германистов не только новизной материала, но и самостоятельностью теоретического к нему подхода» [Галкина, Осипова 1995: 10]. Заняться же исследованием немецких диалектов помог А.П. Дульзону случай. Попробуем же объяснить, почему этот случай стал неизбежным.

Андрей Петрович родился в большой крестьянской семье Петра и Маргариты Дульзонов 9 февраля 1900 г. в с. Краснополье (Прайс) Новоузенского уезда Самарской губернии (ныне Ровенский р-н Саратовской обл.). Его детство прошло в родном селе, где он получил начальное образование. Продолжил свое образование Андрей Петрович в мужской гимназии г. Екатериненштадте. Именно в эти годы зарождается у юного Дульзона любовь к языкам и стремление найти ответ на причины их многообразия, сходства и различия. Он увлекается греческим и латинским языками, проявляет интерес к сравнительной грамматике индоевропейских языков, приобретает грамматику разговорного китайского языка. Андрей Петрович рассказывал, что он на спор с одноклассниками мог запомнить с первого чтения до 150 латинских слов. Есть

еще одно обстоятельство, которое сыграло немаловажную роль в его последующей работе – это участие А.П. Дульзона в археологических раскопках в качестве чернорабочего. В эти годы в Саратовской области летом работали археологические экспедиции. Андрей Петрович всегда старался попасть в число чернорабочих-помощников и относился к порученной ему работе с большой ответственностью.

Окончив шесть классов гимназии, А.П. Дульзон продолжает учиться заочно и работает в области народного образования (учитель начальной школы, школьный инспектор, а затем инспектор Наркомпроса г. Энгельса). Работа инспектора народного образования давала возможность А.П. Дульзону бывать в местах проживания немцев Поволжья, видеть их диалектологические различия. Однако поступил Андрей Петрович вначале на физико-математический факультет Саратовского университета. Посещение было свободным и можно было слушать лекции видных ученых и на других факультетах. Случилось так, что А.П. Дульзон попал на лекцию известного диалектолога Г. Дингеса, заинтересовался и стал их посещать. Увлечшись диалектологией всерьез, Андрей Петрович переходит на филологический факультет и работает в области украинской диалектологии под руководством Г. Дингеса. После окончания университета в 1929 г. Андрей Петрович направляется на работу в Энгельсовский пединститут, а затем в Саратовский университет. В 1931 г. А.П. Дульзон поступил в аспирантуру при Московском научно-исследовательском институте языкознания. Здесь он слушает лекции выдающихся языковедов: Р.И. Шора, М.Н. Петерсона, И.Н. Дурново, А.И. Селищева, Р.И. Аванесова, А.И. Смерницкого, Н.Я. Марра, идеи которых повлияли во многом на научный рост молодого ученого. После аспирантуры А.П. Дульзон работает в Саратовском университете и продолжает активно заниматься исследованием немецких диалектов Поволжья. Результаты этих трудов отражены в его кандидатской диссертации "Альт Урбахский диалект" (защищена в 1938 г.) и докторской "Проблема смешения диалектов по материалам говора села Прайс" (защищена в 1939 г.), которая получила высокую оценку его оппонентов – профессоров Н. Чемоданова и Н. Сергиевского. В 1940 г. А.П. Дульзон был утвержден в звании профессора филологических наук.

Начало Великой Отечественной войны совпадает с очень трудным периодом жизни высланного в Сибирь профессора А.П. Дульзона: постоянные отметки в комендатуре, тяжелые бытовые условия. С 1942 г. Андрей Петрович заведует Кафедрой немецкого языка в Томском пединституте (ныне педагогическом университете) и читает практически все теоретические дисциплины на факультете иностранных языков.

Анализ литературы, изученной А.П. Дульзоном, позволяет установить, что с середины 1940-х гг. он провел тщательное изучение литературных источников по сибиреведению, овладев мощным потенциалом для решения новых проблем. А.П. Дульзон как ученый был самоактуализирующейся личностью со своим неистребимым интересом к неизведанному, огромным трудолюбием и упорством, стремлением отдать все свои силы на выполнение жизненной цели. В 1944 г. А.П. Дульзоном была выбрана для изучения одна из перспективных проблем, имевших мировое значение, – проблема происхождения аборигенных народов Сибири и их языков. Актуальность выдвинутой проблемы была очевидна: опасность полного забвения самобытных культур малых сибирских народов была тогда вполне реальной.

Для осуществления исследований по проблеме происхождения аборигенных народов Сибири и их языков А.П. Дульзон разработал перспективную и уникальную исследовательскую программу, основные положения которой сохраняют свое значение и для современной науки. Ее уникальность состояла в том, что это была первая программа, планирующая охватить систематическим комплексным (археологическим, этнографическим, антропологическим, лингвистическим) обследованием все малые народы Томской области на протяжении пяти лет. Научные исследования первых лет выявили дальнейшую перспективность программы и наметили новые пути ее реализации. Масштабность разработанной программы может свидетельствовать об огромном научном потенциале профессора А.П. Дульзона и его сподвижников.

Для исследования этногенеза, по мнению А.П. Дульзона, исключительную роль играл язык, являвшийся не только одним из основных признаков любой формы общности людей, но и важным источником для изучения древнейшей истории человеческого общества. "Изучение живого языка может дать в этом отношении неоценимые данные. Прежде всего таким путем легче выявить основные семантические модели топонимов, свойственные данному языку, т.е. вскрыть мотивированность в их построении, их внутреннюю форму, которая определяется особой направленностью интересов данного общества по отношению к географическим объектам, особенностями материальных условий жизни данного народа и спецификой его исторического развития" [Дульзон 1959б: 91]. Он подчеркивал, что по данным языка можно, в известной мере, восстановить содержание сознания создавшего его человеческого коллектива и вместе с тем определенное материальное бытие, отражением которого оно является.

В основе комплексной методики этногенетических исследований, разработанной А.П. Дульзоном, лежало понятие этнического определителя. Согласно этой методике, первым шагом в исторической идентификации этноса должно быть выявление культурно-исторического комплекса признаков определенного народа с привлечением строго последовательного применения данных различных наук: истории, археологии, этнографии и др. Таким образом, первоначальное изучение структуры культурно-исторического комплекса признаков какого-либо сибирского народа по историческим источникам, археолого-этнографическое исследование, а также непосредственное соприкосновение с культурой живого сибирского народа, позволяло по этому этническому определителю находить его предков в древности.

Особенностью предложенной А.П. Дульзоном методики исторической идентификации этноса являлся ретроспективный ход исследования во всех применяемых отраслях науки: археологии, этнографии, антропологии и топонимии. Например, при изучении топонимов субстратного происхождения ретроспективный ход исследования позволяет, как писал А.П. Дульзон, "снимать" напластования топонимии данной территории, относящиеся к разному времени, в последовательном порядке, начиная с последнего по времени и отсюда дальше в глубь прошлого [Дульзон 1969: 3]. Применение ретроспективного метода, предложенного А.П. Дульзоном, являлось научным достижением, значительно повлиявшим на использование познавательных ресурсов различных областей науки.

Изучение языков тюрков Чулыма было проведено в 1946–1953 гг. А.П. Дульзоном и Р.А. Ураевым по программе, составленной в 1945 г. по словарным материалам и грамматикам шорского, алтайского и хакасского языков, а также и татарского языка с барабинским и тоболо-иртышскими наречиями. Эта программа включала 91 группу слов и словоформ и 917 предложений, позволяющих определить место данного наречия среди других тюркских языков и наречий Западной Сибири [Дульзон 1956: 321]. Исследование показало, что чулымско-тюркский язык представляет большой интерес не только как своеобразный язык аборигенного тюркоязычного населения Чулыма, но и как составная часть тюркского языкознания.

Собранные материалы словаря (всего было собрано 16–18 тыс. слов) свидетельствовали о наличии иноязычного субстрата в чулымско-тюркском языке. Учитывая всю совокупность языковых данных, А.П. Дульзон включил чулымско-тюркский язык в группу восточно-тюркских языков (по терминологии В.В. Радлова). Чулымско-тюркским А.П. Дульзон считал также кюэриксское наречие на р. Кие, левом притоке Чулыма. По его мнению, в целом чулымско-тюркский язык ближе к хакасской и алтайской группе тюркских наречий, чем к иртышско-барабинской [Дульзон 1952: 131]. При изучении чулымско-тюркского языка А.П. Дульзоном впервые в Западной Сибири стала анализироваться топонимия для решения этнолингвистических и исторических вопросов. "Данные топонимии той или иной местности относятся к числу наиболее важных и надежных средств для установления этнического состава населения на ней в древности и для выяснения его движения" [Дульзон 1950: 175].

Гидронимика Причудлымья позволила А.П. Дульзону определить ареалы распространения отдельных диалектных групп кетского и селькупского происхождения.

На основе лингвистических (материалов по топонимии, патронимии, терминологии древнего счета времени), этнографических, антропологических и археологических материалов Андрей Петрович Дульзон высказал свою гипотезу о происхождении тюркского компонента в культуре населения Чулыма. По его мнению, тюркизация этого района проходила двумя этапами. Первая, наиболее древняя волна тюркизации (VI–VIII вв.), направлялась на Чулым с юго-запада по рекам Оби, Яе и Кие со стороны бассейна Томи и прилегающей части Оби. Это район, где распространены названия рек с элементом *су* (Иксу–Икса, Томсу–Томь). После спада первой волны двинулась вторая, более мощная волна миграции тюрков (VII–VIII вв.) из минусинских степей (с юго-востока), спускаясь к Чулыму по Черному и Белому Юсам. А.П. Дульзон отмечал кратковременность действия второй волны. Это был район распространения названий рек с элементом *юл*; в верховьях Чулыма он звучит как *чул* (Зынчул, Инчул) [Дульзон 1959а: 100].

Проведенное под руководством А.П. Дульзона комплексное исследование чулымских тюрков позволило разработать многие вопросы происхождения и формирования с первых веков н.э. до XVII в. данного этноса и раскрыло уникальный мир этого таежного маленького народа. Отличительной чертой его явилось совпадение появления тюрков на этой территории с происхождением их как единого народа. Кроме этого, А.П. Дульзоном впервые был изучен не описанный ранее чулымско-тюркский язык. Он считал, что чулымско-тюркский язык в пределах Томской области сложился не столько в результате переселения народов, сколько за счет постепенной тюркизации местного дотюркского населения – селькупов (в нижней части Чулыма) и кетов (в средней части Чулыма) при сохранении некоторых языковых его особенностей. Выявление А.П. Дульзоном селькупского и кетского субстратов в чулымско-тюркском языке предопределило направления его дальнейших исследований в языкознании – это селькупский и кетский языки. Несомненно, что главная заслуга во введении в науку и первом систематическом изложении основных особенностей лексики, фонетики и морфологии чулымско-тюркского языка принадлежит Андрею Петровичу Дульзону [Львова и др. 1991: 16].

Дальнейшее изучение чулымско-тюркского языка, его диалектов и говоров продолжал ученик А.П. Дульзона – М.А. Абдрахманов, который на основе исследования языковых явлений говора д. Эушта Томского р-на написал кандидатскую диссертацию "К вопросу о закономерностях диалектно-языкового смещения". В последующие годы М.А. Абдрахманов занимался отдельными вопросами грамматики и лексики тюркских языков, а также проблемой сопоставления родственных и неродственных языков. Исследование звукового строя, лексики и морфологии чулымско-тюркского языка (в особенности среднечулымского диалекта) осуществила Р.М. Бирюкович, ученица А.П. Дульзона.

Методика исторической идентификации этноса была применена А.П. Дульзоном также в исследовании другого коренного населения Сибири – селькупов, проводившемся в 1952–1955 гг. в Верхнекетском, Каргасокском и Молчановском районах Томской области. На основании сравнительного анализа вещественного материала, полученного при разведках в вышеупомянутых районах и раскопках курганного могильника у так называемой "Остяцкой горы" и Пачангского курганного могильника, А.П. Дульзон убедительно доказал преемственность в области материальной культуры народов XVI–XVII вв., XVIII–XIX вв. и современных селькупов и определил район их исторического проживания. А.П. Дульзону принадлежит приоритет в описании селькупского языка в пределах Томской области. Большое значение для науки имеет организация им систематического исследования селькупского языка.

Изучение кетского языка стало целой эпохой в жизни Андрея Петровича Дульзона. Более 100 лет назад лингвисты и этнографы обратили внимание на этот удивительный язык. Но понимание строя кетского языка чрезвычайно осложнилось его изолирован-

ностью, огромным количеством грамматических форм (одних только форм глагола не менее 5 000!), своеобразным распределением словообразовательных частиц в словаре и совершенно иным осмыслением фактического материала. Этот труд оказался по плечу лингвисту А.П. Дульзону.

Детальное изучение кетской топонимии позволило А.П. Дульзону сделать вывод о том, что кетоязычные народы (енисейские кеты, ассаны, арины, котты и пумпоколы) являлись наиболее древними обитателями юга и средней части Западной Сибири и Красноярского края, т.е. они когда-то заселяли почти всю Томскую область, всю Кемеровскую область, часть Новосибирской области и часть Красноярского края. По мнению А.П. Дульзона, кеты были предшественниками тюрков и самоедов на этой территории. Он также определил, что местом сибирского расселения кетоязычных народов на рубеже нашей эры был юг Западной Сибири. Таким образом, А.П. Дульзон посредством топонимических данных была не только подтверждена гипотеза М.А. Кастрена о выходе кетоязычных народов из Саянского нагорья, между верховьями Иртыша и Енисея, но и определены ареалы древнего расселения и передвижения енисейских народов [Дульзон 1959б.; 1962].

В целом ряде своих топонимических и лингвистических работ А.П. Дульзон дает относительную датировку смены одного языкового населения другим, их контакты. Приводимые им данные чрезвычайно важны, поскольку большинство народностей не обладало письменностью. Реликтовые слова из языка прежних жителей сохранились в виде географических названий – топонимов. Топонимические термины, если они связаны с языками современного населения (русского, тюркского, хантыйского, мансийского, ненецкого, селькупского), раскрываются сравнительно легко. Некоторые же термины из числа старых топонимов являются субстратного происхождения, т.е. включают в себя какой-то другой язык. Именно они ценны тем, что помогают установить относительную хронологию смены одного народа другим или их бывшие контакты. А.П. Дульзон выявил, что в некоторых местах кетский топонимический слой предшествовал самодийскому. Это двусложные слова, в которых определяющий компонент самодийского происхождения, а определяемый (общее название реки) – кетского, например, *Ургадат* (южносамодийское *урга* – "большой", кетское *дат* – "река"). В других же случаях наоборот – определяющим является кетское слово, например, название реки *Пачанга* (кетское *пача* "большой", селькупское *анга* "курья") [Дульзон 1960: 2]. Несмотря на богатство собранного и опубликованного материала, А.П. Дульзон требовал больше доказательств для окончательных выводов.

Однако не все двусложные топонимы разъясняются из известных нам сибирских языков – селькупских, южносамодийских, тюркских, хантыйских, кетских. В данном случае А.П. Дульзон считал такой пласт слов старше всех этих языков на территории Сибири и называл его палеосибирским [Дульзон 1960: 3]. "Выводы о древней смене народов на территории Томской области, которые нами сделаны на основании топонимики, – писал А.П. Дульзон – подтверждаются в той или иной мере данными антропологии, этнографии и лингвистики" [Дульзон 1950: 183].

Заслугой профессора А.П. Дульзона является создание в Томске самого крупного топонимического центра страны в 1950–1970-е гг. Специальными исследованиями были охвачены кетские топонимы (А.П. Дульзон), селькупские (Э.Г. Беккер), хантыйские (Л.И. Калинина), мансийские (Г.П. Вуоно), нганасанские (П.М. Коптелов), якутские (К.Ф. Гриценко), алтайские (О.Т. Молчанова), эвенкийские (К.И. Юргин), североказахские (В.Н. Попова), шорские (М.А. Абдрахманов), русские (И.А. Воробьева), а также ненецкие и тувинские топонимы.

Перу А.П. Дульзона, крупнейшего кетолога нашего времени, принадлежат более 30 значительных работ и уникальный труд "Кетский язык". В этой работе А.П. Дульзон определяет кетский язык, как язык полисинтетического типа с хорошо выраженными классными показателями, в котором для выражения лексических и грамматических значений широко используется вариация тона. Доказывая исключительное своеобразие и сложную структуру кетского языка, сложившегося еще в глубокой



древности, наличие давних связей с языками юго-востока Азии, А.П. Дульзон пришел к общетеоретическим выводам, важным с точки зрения происхождения не только этого народа и данного языка, но и выявления языковых контактов и общностей между языками различных семей [Дульзон 1968а: 6; 1968б: 191].

Значительный вклад в исследование кетского языка внес ученик А.П. Дульзона Г.К. Вернер. В своей докторской диссертации "Кетская акцентология" (1974 г.) он детально рассматривает как вопросы качественной характеристики ударения, его функциональной нагрузки, слоговой акцентуации, так и проблему восстановления исходного состояния в праенисейском языке. Г.К. Вернер, как представитель дульзовской школы, воспитал восемь учеников – исследователей кетского языка (см. [Becker 1999: 97–98]).

Фонетическое описание системы гласных и согласных имбатского диалекта кетского языка сделано Р.Ф. Деннингом (1971 г.).

Отдельные вопросы грамматики кетского языка продолжают изучаться учениками А.П. Дульзона: число существительных кетского языка – Т.И. Поротовой (1968 г.), кетские прилагательные – В.С. Бибиковой (1971 г.), кетское словообразование – Л.Е. Виноградовой (1980 г.), употребление падежей – М.Н. Валл (1970 г.), употребление кетского императива – Р.С. Гайер (1973 г.), кетский инфинитив – Э.И. Белимовым (1973 г.), категория рода в кетском языке – И.Г. Вернер (1972 г.), образование и употребление форм прошедшего времени – М.М. Костяковым (1973 г.), падежные показатели и служебные слова в структуре сложного предложения – Н.М. Гришиной (1979 г.) и др.

Руководимая профессором А.П. Дульзоном томская лингвистическая школа, кроме упомянутых ранее чувльмско-тюркского, селькупского и кетского языков, изучала также широкий спектр сибирских языков: хантыйский, энецкий, долганский, нганасанский, шорский и др. В настоящее время архив экспедиционных материалов Лаборатории языков народов Сибири Томского государственного педагогического университета составляет около 200 томов полевых записей по различным языкам народов Сибири и Севера: кетскому (83), селькупскому (66), нганасанскому (11), энецкому (6), долганскому (8), обско-угорским (7), чувльмско-тюркскому (4). Часть полевых записей имеет фоно-аналог, а словарная картотека по селькупскому и кетскому языкам состоит из 330 000 карточек. К архивным материалам относится также картотека топонимов Западной Сибири, содержащая 342 000 карточек, более 20 топонимических карт Западной Сибири (см. [Каталог... 1998]).

Научный архив включает также диссертационный фонд школы профессора А.П. Дульзона, содержащий ныне 67 кандидатских и докторских диссертаций. По оценкам российских и зарубежных ученых данный архив является уникальным собранием материалов, обладающих огромной научной потенцицией.

Исследование языков народов Сибири нашло отражение в тематике диссертационных работ, посвященных описанию фонетического и грамматического строя языков и топонимическим проблемам. Под непосредственным руководством А.П. Дульзона было подготовлено и защищено 23 кандидатских и 2 докторских диссертации по сибирским языкам и топонимике, а также 19 кандидатских и 2 докторских – по германским языкам.

Во многом А.П. Дульзон опередил свое время: некоторые его выводы подтверждаются только сегодня. Так, уточняя ареалы топонимов, он пришел к выводу, что современная граница проживания угров возникла не в результате их миграции с востока на запад, а наоборот, в результате их продвижения с запада на восток [Дульзон 1960: 9]. Хотя существовало и противоположное мнение о первоначальном проживании финно-угров на Алтае-Саянском нагорье, которое отстаивал Л.Р. Кызласов [Дульзон 1960: 7–8], работы последних лет указывают на локализацию прародины "к северу от Среднего Урала, в бассейне Нижней и Средней Оби, включая также истоки Печоры" [Хайду 1985: 159]. Таким образом, продвижение уральцев могло идти как с запада на восток, так и на северо-запад. Это предположение подтверждается

новейшими исследованиями, конкретизирующими территорию прародины угров в изгибе р. Волги в Восточной России и р. Обь в Западной Сибири (см. по этому вопросу [Decsy 1990: 9]). Их языковую общность Г. Дечи относит к IV тыс. лет до н.э. [Там же]. Согласовывая результаты разных наук – новые палеолингвистические данные (распространение пыльцы вяза) и археологические данные (сравнительно однородный археологический материал вблизи Урала), другой ученый – П. Вереш связывает их с древнеуральской языковой общностью и приходит к близким выводам: древние уральцы занимали обширную область Урала, включая и западно-сибирский регион [Вереш 1984-85: 375]. Важность всестороннего подхода к решению проблемы происхождения языков и народов подчеркивают и современные исследователи: "Исследование предъистории носит, таким образом, принципиально комплексный характер: помимо данных языкознания оно по необходимости базируется на данных археологии, физической антропологии, этнографии, палеобиогеографии и т.д. Эти данные должны быть связаны друг с другом в рамках исторической модели, объясняющей генетические и логические взаимосвязи фактов, установленных с помощью методов названных выше наук" [Напольских 1997: 107].

А.П. Дульзон высказывал предположение о связи енисейских языков с кавказскими, тибето-бирманскими, баскскими и с языками северо-американских индейцев [Дульзон 1968а; 1968б]. В настоящее время его идеи находят свое подтверждение. М. Рулен сопоставляет енисейские языки с северо-американской семьей на-дене и приходит к выводу, что они являются родственными, приводя в доказательство ряд (36) енисейских и на-дене параллелей [Ruhlen 1998: 13994–13996]. О том, что баскский, северокавказские, бурушаски, енисейские и сино-тибетские языки могут образовывать одну макро-семью, пишет в своей статье американский ученый Дж. Бенгтсон, в особенности, касаясь сравнения сино-тибетского с кавказскими языками и языком басков как в области грамматических показателей (именные классные показатели или префиксы), так и лексического состава [Bengtson 1998: 33–44].

Таким образом, следует подчеркнуть, что томская лингвистическая школа во главе с профессором А.П. Дульзоном в 1940-е – 1970-е гг. внесла существенный научный вклад в общезначимый фонд научных знаний по проблеме происхождения малых сибирских народов и их языков, закрепив за собой лидирующее положение в этой области сибиреведения.

После кончины А.П. Дульзона в 1973 г. и основываясь на прочных традициях научной этики творческого коллектива, произошло превращение научной школы в научное направление, продолжающее разработку проблемы "Происхождение аборигенов Сибири и их языков (лингвистический аспект)". На счету научного коллектива Лаборатории языков народов Сибири ТГПУ, не прекращающего систематические научные исследования в наше трудное для отечественной науки время, 8 докторских и 45 кандидатских диссертаций, 9 выигранных российских и зарубежных грантов за 1993–1999 гг., выпуск научной продукции (в 1995–1998 гг. опубликовано 5 монографий, 7 номинаций учебно-методической литературы и более 60 статей), участие в разработке целевых программ и проектов, направленных на возрождение культуры коренных сибирских народов.

Свидетельством целенаправленной научной деятельности и сохранения традиций томской лингвистической школы является организация регулярных Дульзоновских чтений, проводимых на протяжении многих лет под руководством ученицы А.П. Дульзона профессора О.А. Осиповой: в 1998 г. была проведена 21-я научная конференция.

Неустанный поиск и стремление к научному сотрудничеству привели к установлению международных контактов томичей с университетом г. Печ и Высшей педагогической школой г. Сомбатхей (Венгрия), университетами городов Гамбурга и Геттингена (Германия), университетом г. Тиба (Япония), Саскечеванским индейским федеративным колледжем (Канада), университетом г. Хельсинки (Финляндия), Западно-Вашингтонским университетом (США).

Таким образом, творческий научный коллектив Лаборатории языков народов

Сибири ТГПУ, считая себя преемником традиций, заложенных главой томской лингвистической школы профессором Андреем Петровичем Дульзоном, представляет собой в настоящее время жизнеспособное научное сообщество, осуществляющее исследовательскую программу своего Учителя и смело смотрящее в будущее.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Верещ П.* 1984-85 – Финно-угорская прародина и этногенез венгерского народа // Acta Ethnographica Acad. Sci. Hung. Т. 33. № 1–4. 1984–1985.
- Галкина Т.В., Осипова О.А.* 1995 – А.П. Дульзон. Томск, 1995.
- Дульзон А.П.* 1950 – Древние смены народов на территории Томской области по данным топонимики // Уч. зап. ТГПИ. Томск, 1950. Т. 6.
- Дульзон А.П.* 1952 – Чулымские татары и их язык // Уч. зап. ТГПИ. Томск, 1952. Т. IX.
- Дульзон А.П.* 1956 – Диалекты татар-аборигенов Томи // Уч. зап. ТГПИ. Томск, 1956. Т. XV.
- Дульзон А.П.* 1959а – Тюрки Чулыма и их отношение к хакасам // Уч. зап. Хакасского научно-исследоват. ин-та языка, литературы и истории. Абакан, 1959. Вып. VII.
- Дульзон А.П.* 1959б – Кетские топонимы Западной Сибири // Уч. зап. ТГПИ. Томск, 1959. Т. XVIII.
- Дульзон А.П.* 1960 – Этнический состав древнего населения Западной Сибири по данным топонимики // Материалы XXV Международного конгресса востоковедов. М., 1960.
- Дульзон А.П.* 1962 – Древние передвижения кетов по данным топонимики // Изв. Всесоюзного Географического общества. 1962. № 6.
- Дульзон А.П.* 1968а – Кетский язык. Томск, 1968.
- Дульзон А.П.* 1968б – Древняя языковая общность в Центральной Азии // Труды Томского гос. ун-та. Томск, 1968. Т. 197.
- Дульзон А.П.* 1969 – Опыт этнической привязки топонимов субстратного происхождения // Уч. зап. Томского гос. ун-та. Томск, 1969. № 75.
- Каталог... 1998 – Каталог полевых записей языков народов Сибири (фонды лаборатории языков народов Сибири Томского государственного педагогического университета). Томск, 1998.
- Львова Э.Л. и др.* 1991 – Львова Э.Л., Дремов В.А., Аксянова Г.А. и др. Тюрки таежного Причулымья. Популяция и этнос. Томск, 1991.
- Напольских В.В.* 1997 – Введение в историческую уралистику. Ижевск, 1997.
- Никонов В.А.* 1969 – Хроникальные заметки // ВЯ. 1969. № 6.
- Рыбаков Б.А.* 1972 – Гуманитарии в эпоху НТР // Неделя. 1972. № 3.
- Хайду П.* 1985 – Уральские языки и народы. М., 1985.
- Becker E.G.* 1999 – Prof. dr. Andreas Dulson (1900–1973). Sein Leben und Werk in den Erinnerungen seiner Schuler // Mitteilungen der Societas Uralo-altaica. Hamburg, 1999. Hft. 20.
- Bengison J.D.* 1998 – Caucasian and Sino-Tibetan: A hypothesis of S.A. Starostin // General linguistics. V. 36. № 1/2. 1998.
- Decsy G.* 1990 – The Uralic protolanguage: A comparative reconstruction. Bloomington, 1990.
- Ruhlen M.* 1998 – The origin of the Na-Dene // Anthropology. V. 95. 1998.

© 2000 г. В.В. БЫКОНЯ, Н.Г. КУЗНЕЦОВА

**САМОДИЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ А.П. ДУЛЬЗОНА**

Одним из крупных научных центров, где интенсивно ведутся исследования в области самодийского языкознания, является в настоящее время Томский государственный педагогический университет. Истоки научных изысканий томских исследователей уходят в начало 50-х годов, когда начался сбор полевых материалов бесписьменных языков Сибири, сначала селькупского, затем нганасанского и энецкого. Первые записи по названным языкам были произведены непосредственно А.П. Дульзоном, основателем томской лингвистической школы. Они составили базу для научного описания бесписьменных языков малочисленных народностей, проживающих на территории Томской, Тюменской областей и на севере Красноярского края.

Научное описание селькупского языка, на котором впоследствии сконцентрировалось внимание томских лингвистов, началось с исследования его топонимии [Беккер 1965, рукопись]. Эта работа была выполнена под руководством А.П. Дульзона. В начале 70-х годов в центре его научного внимания находились также вопросы диалектного членения селькупской языковой территории. Селькупы, расселившись на огромном пространстве Обь-Енисейского междуречья, где проживали изолированно небольшими языковыми группами, не создали общенародного языка. По мнению А.П. Дульзона, то, что сегодня называют селькупским языком, представляет собой совокупность диалектов и говоров, объединенных общей структурной моделью, звуковые элементы которой составляют ряды закономерных соответствий. Исходя из этнолингвистического принципа в сочетании с географическим, он определил пять диалектных групп, которые представляют собой остатки прежних племен, выделившихся из общей массы народа в соответствии с былыми родовыми подразделениями при помощи определенного самоназвания: селькуп – на Тазе и Енисее, чумьлыкуп – на Васюгане и Тьме, сюсюкум – на Кети, шёшкум или шёшкуп – на Оби выше Нарыма, тюйкум – на нижнем течении Чулыма. Данная схема территориально-диалектного членения с учетом былых родоплеменных связей прошла проверку временем и сохраняется в качестве рабочей схемы до сих пор.

Наиболее значительными работами томских ученых в области самодийского языкознания 70-х годов являются научные статьи и монографические описания [Дульзон 1970; 1971; 1974; Морев 1973 (рукопись); Больдт 1974 (рукопись); Воеводина 1974 (рукопись)]. Все работы были выполнены в рамках комплексной программы "Происхождение аборигенов Сибири и их языков". В них поднимаются проблемы, представляющие интерес не только для самоедологии как самостоятельной отрасли науки, но и для сравнительно-исторической уралистики в целом. В число таких вопросов входят, например, чередование гласных в ауслауте основы имени; аналитические глагольные образования и их синтетические аналоги; словообразовательные модели имени и т.п.

С 1973 года после смерти А.П. Дульзона научное описание селькупского языка проходило под руководством Э.Г. Беккер и далее уже ее учеников В.В. Быконя, Н.Г. Кузнецовой, А.А. Ким. В этот период интенсивно изучалась морфология имени [Беккер 1978; Алиткина 1978, рукопись]. Монография Э.Г. Беккер представляет собой первый обобщающий труд, посвященный описанию селькупской падежной системы.

который послужил перспективному направлению исследования селькупской морфологии в целом.

Системному описанию подверглись как лексико-грамматические разряды, так и отдельные грамматические категории [Быконя 1983 (рукопись); Кузнецова 1986 (рукопись); Ким 1986 (рукопись); Ильяшенко 1989 (рукопись); Гальцова 1993 (рукопись)]. Ряд научных статей с ценной информацией о состоянии категории числа имени существительного в синхронии опубликован Н.П. Максимовой, среди них [Максимова 1983; 1984; 1985а; 1985б; 1985в].

В 1985 году Э.Г. Беккер защитила первую докторскую диссертацию по селькупскому языку [Беккер 1985]. Позднее под научным руководством Э.Г. Беккер была создана монография, посвященная именным частям речи [Беккер, Алиткина, Быконя, Ильяшенко 1995]. Монографическое описание систематизирует результаты проведенных исследований на материале селькупских диалектов южной группы, выявляет особенности каждого из них, устанавливает сходства и различия между диалектами в плане именной морфологии. Для сопоставления регулярно привлекаются данные по северной диалектной группе. В результате указанная монография приобретает характер сопоставительного и сравнительно-исторического исследования с широким охватом проблем и глубоким проникновением в особенности строя селькупских диалектов. Одновременно в ней закладываются основы диалектологии селькупского языка. Работа позволяет проследить путь становления и развития диалектов языка, онтологию грамматических категорий имени.

В морфологии падежной системы имен существительных селькупского языка отражаются структуры, которые относятся к разным хронологическим слоям языкового развития. Так, номинатив с нулевой флексией, генитив на *-n*, аккузатив на *-m* восходят к уральскому языку-основе. К общесамодийскому периоду восходят падежные суффиксы локатива *-qin*, латива *-ti*, *-nti*, пролатива *-min*. Социатив на *-nse*, *-se* (*-he*, *-e*) является достоянием южносамодийской общности – камасинско-селькупской ветви.

Дальнейшая эволюция падежных аффиксов имен существительных восходит уже к общеселькупскому периоду. К этому хронологическому срезу относится становление каритива на *-galik* и дестинатива-транслатива на *-qo* (*-tqo*), *-go* (*-ngo*). Аблатив на *-nani*, *-qini* и латив на *-nik* также могут быть отнесены к этому периоду развития селькупской падежной системы. Во время территориального дробления и обособления диалектов в южноселькупском ареале (Томская область) формируются локатив на *-nan*, локатив-аблатив на *-nan* (< \**nani*), пролатив-аблатив на *-min*, латив на *-ni*, аблатив на *-nanto*, *-qinto* и др. Южноселькупской инновацией является и транслатив на *-βl'e*, *-l'e*, *-l'e*.

Исследование фонетического строя и фонологической системы южных диалектов проходило в конце 70-х – начале 80-х годов под научным руководством доцента Ю.А. Морева. Этим проблемам посвящены диссертационная работа Н.В. Деннинг [Деннинг 1983] и цикл статей Ш.Ц. Купера, освещающих особенности фонетического строя кетского диалекта селькупского языка. Установление фонемного состава и описание важнейших фонетических процессов, действующих в системе того или иного диалекта, проводилось с применением методов экспериментально-фонетических исследований. При этом не остались без внимания причины озвончения, спондизации, геминации и лабиализации согласных. Количественное непостоянство селькупского вокализма связывалось с явлениями просодического порядка, в частности, с движением основного тона и распределением интенсивности в гласном.

Ю.А. Морев, разрабатывая вопросы диалектной фонетики, обнаружил, что ведущей тенденцией развития селькупского консонантизма является тенденция ступенчатого ослабления артикуляционной напряженности – для каждого диалекта отмечается своя ступень, отражающая существенную неравномерность развития консонантизма по диалектам в количественном и качественном отношении. Характерно то, что диалектные различия в области консонантных систем складываются почти всегда на базе модальных, а не локальных признаков – это безусловно должно квалифицироваться

в качестве одной из существеннейших особенностей селькупской артикуляционно-акустической базы.

Этапы развития селькупских согласных по диалектам отражены в ряде таких изменений, как: спирантизация смычных, аффрикатизация (частный случай спирантизации), деаффрикатизация, т.е. разложение аффрикат по линии устранения смычного элемента и сохранения целевого элемента; переход взрывных в гоморганные носовые, упрощение геминат или долгих согласных, озвончение исконных глухих, лабиализация согласных, вокализация согласных (с последующим возможным выпадением).

Динамика изменений консонантных систем в селькупских диалектах складывается в целом циклически, но по форме она не возвратно-поступательная, а идет как бы по спирали, отражая тем самым общую диалектику развития материи. Далее, она протекает по закономерностям вероятностных процессов, которые реализуются по-своему в разных диалектах, причем зачастую не без катализирующего влияния соседних языков и диалектов.

В консонантных изменениях селькупского языка отражаются все три типа фонологических преобразований – расщепление, слияние и сдвиг. Совокупности подобных изменений в каждом из селькупских диалектов представляют собой довольно пеструю картину, однако Ю.А. Морев показал, что каждый диалект характеризуется некоторым минимально необходимым и в то же время вполне достаточным комплексом признаков, дифференцирующим его от других в области консонантизма (как, впрочем, и в остальных языковых сферах).

Кроме фонетической тематики Ю.А. Морев много занимался и вопросами селькупской этно- и социолингвистики, что непосредственно вело к попытке решения различных аспектов проблемы национальной консолидации и ревитализации селькупов как этноса. В 1986–1992 гг. он ежегодно участвовал в полевой работе Комплексной Селькупской Экспедиции (КСЭ), организованной и возглавляемой сотрудником Института этнографии АН СССР В.И. Васильевым. По материалам этих экспедиций планировалось издать три тома коллективной монографии, где Ю.А. Мореву отводилось две главы, однако с кончиной в 1993 г. В.И. Васильева издание отодвинулось на неопределенный срок. Тем не менее часть материалов, собранная Ю.А. Моревым в составе КСЭ, легла в основу публикаций и докладов на различных конференциях. Кроме того эти материалы помогли решить ряд прикладных вопросов при определении диалектной базы обучения селькупскому языку как родному, они учитывались при создании письменности для южных селькупов, выработке языковой нормы и т.п.

В целом в 70-е – 80-е годы на основе материалов полевых исследований появилось достаточно много исследовательских работ – статей, диссертаций, описывающих различные аспекты строя селькупского языка. При этом, как видно, более интенсивному изучению подвергались фонетика и фонология, морфология имени, служебные слова, тогда как южноселькупскому глаголу и синтаксису южноселькупского предложения уделялось меньше внимания. В конце 80-х – начале 90-х годов положение заметно меняется: глагол как ядерная часть речи оказывается в центре внимания и теоретиков общелингвистического плана, и языковедов, исследующих глагольные категории конкретных языков. Из печати выходит серия статей, посвященных описанию грамматических категорий селькупского глагола [Кузнецова 1991; 1992а, 1992б 1993а, 1993б 1994а, 1994б, 1995а, 1995б, 1996]. Эта работа – яркий пример того, как на базе реально описываемого языка рождается новая теория морфологического анализа. Развиваемая автором концепция построения общеселькупской модели глагольной системы с привлечением асимметричных явлений и определение основных линий ее развития от этой модели демонстрирует органическое сочетание определенной теоретической гипотезы с глубокой проработкой фактических данных, подтверждающих гипотезу не на выборочном материале, а на всем корпусе исследовательских фактов. Самой ценной особенностью работы оказывается обобщенное описание селькупской глагольной парадигмы с учетом диалектных данных, выполненное на единых и последовательных принципах. Данный труд является также первой попыткой приблизиться к синхронно-

типологическому изучению глагола на материале различных языков уральской, алтайской и индоевропейской языковых семей. Последовательно сравнивая глагольные системы всех диалектов, Н.Г. Кузнецова внесла заметный вклад и дальнейшее развитие селькупской диалектологии.

Исследование селькупской глагольной парадигмы имеет существенное значение для развития исторической самоедологии в целом. Оно позволяет заметно расширить, дополнить, углубить и усовершенствовать целый ряд принятых ранее в исторической самоедологии трактовок и решений. Н.Г. Кузнецовой впервые удалось вскрыть механизм развития самодийских финитных и инфинитных форм на базе так называемых (от)глагольных имен прасамодийского с опорой на концепцию полипредикативного синтаксиса, которая разрабатывалась и развивалась в Институте филологии СО РАН под руководством М.И. Черемисиной. Одновременно был уточнен объем понятия "(от)глагольное имя", особенно в части его функционирования, которое не-уралистами все еще приравнивается к обозначению синкретичной основы, объединяющей в себе свойства глагола и имени.

В самодийских языках выделяются два подкласса глагольных словоформ – финитные (формы наклонений и времен) и инфинитные (деепричастия, причастия, инфинитив, имена действия). Сферы употребления финитных и инфинитных форм пересекаются в зависимой части полипредикативных конструкций. Обычно это синтаксические структуры бессоюзного типа, но допускающие введение подчинительных союзов, нередко заимствованных из русского языка. Так, в частности, было установлено, что сфера употребления финитных и инфинитных форм, содержащих в своей структуре одинаковые суффиксальные элементы, сходится в одном и том же семантическом типе подобных построений. Если материальная идентичность суффиксальных элементов в инфинитных и финитных формах свидетельствует о наличии у них общих источников, а именно, суффиксов (от)глагольных имен, то совпадение сфер функционирования указывает, что употребление самодийских (от)глагольных имен исходно было связано не с простым предложением. (От)глагольные имена обладали событийным характером, но не были способными представлять ситуации в достаточной полноте, как и современные инфинитные формы. Поэтому (от)глагольные имена были функционально привязаны к финитному глаголу (ср. для прауральского периода точку зрения П. Хайду [Хайду 1985]).

Становление финитных и инфинитных форм на базе (от)глагольных имен было связано с их способностью образовывать полипредикативные конструкции. (От)глагольные имена выполняли в них одновременно две функции: внешнюю функцию обстоятельства или определения по отношению к главной части и внутреннюю функцию предиката в зависимой части конструкции. Для первоначального этапа была характерна морфологическая невыраженность внешней и внутренней функции у (от)глагольных имен, что отмечается частично в современном состоянии самодийских языков. Постепенно и та, и другая функция начинают получать морфологическое выражение. Выделение внешней функции обусловило становление форм адъективного типа (причастий) и адвербиального типа (деепричастий). С выделением у (от)глагольных имен внутренней функции предиката за счет присоединения личных окончаний создавались предпосылки для разделения частей полипредикативной конструкции. (От)глагольные имена включались в систему финитного глагола, конкретизировали свою семантику и занимали определенное место в словоизменительной парадигме.

Исследования показали, что интеграция самодийских (от)глагольных имен в систему временных форм осуществляется через категорию временной отнесенности. Ее формы имеют в качестве точки отсчета любой нефиксированный ситуативный момент, который задает угол зрения участника ситуации. Отнесенность процесса к ситуативному моменту предполагает его особую актуальность для конкретной ситуации, смысловую связь с ним, тогда как предшествование или одновременность моменту речи лишь локализует процесс во времени. Соответственно условиями преобразования форм временной отнесенности является регулярная синхронность ситуативного момента

моменту речи и неактуальность связи процесса с конкретной ситуацией. Выполнение этих условий свидетельствует о темпорализации форм временной отнесенности.

В работах Н.Г. Кузнецовой находят свое дальнейшее развитие теоретические положения московских исследователей северной группы селькупских диалектов – А.И. Кузнецовой и Е.А. Хелимского. В первую очередь это касается категории вида в селькупском языке. Итогом аспектологических исследований, проведенных на материале южных диалектов, явилось определение системного статуса категории глагольного вида в селькупском языке, плана ее содержания и плана выражения, выявление асимметрии содержательной и формальной сторон категории как отражение динамики ее развития.

Категория вида и проблемы, связанные с данным понятием, несмотря на давность интереса к теме, продолжают привлекать к себе внимание лингвистов до настоящего времени. В рамках изучения категории вида зародилось также особое направление – типология вида. Вид и способы действия изучаются типологически в разноструктурных языках, а также в родственных языках и даже в диалектах одного языка. Типологическим описаниям средств выражения способов глагольного действия южноселькупского глагола в отношении к предельности/непредельности и виду, количественным характеристикам действия и фазовой структуре процесса, а также установлению специфики южноселькупских диалектов по сравнению с ранее описанными северными диалектами в плане грамматической акциональности посвящено диссертационное исследование Л.М. Болсуновской [Болсуновская 1998], выполненное под руководством Н.Г. Кузнецовой. Интерес к селькупскому глаголу и результаты, полученные в ходе аспектологических исследований на материале данного языка, будут стимулировать изыскания в этом направлении и по другим языкам самодийской группы.

На этот же период времени приходится развернутое исследование селькупских числительных. В.В. Быконя рассматривает числительные как систему счетных слов, что снимает проблему регулярной функциональной транспозиции однокоренных слов в одних и тех же формах. К объекту исследования она подходит как к системе, сопоставимой с системами других близкородственных языков, решая тем самым целый ряд конкретных задач историко-этимологического и синхронно-системного порядка. В своих изысканиях В.В. Быконя опирается на диахроническое изучение языка в его связи с историей и культурой этноса, предлагает на основе семантики числительных и символики чисел свою интерпретацию концептуальной картины мира и логико-грамматических языковых явлений. Данное исследование стало возможным благодаря тому, что научное описание селькупских диалектов достигло такого уровня, который позволяет диахроническое рассмотрение языковых фактов. Это ведет, в свою очередь, к выявлению основных тенденций в развитии системы селькупского языка и изменения элементов ее структуры.

Работа В.В. Быконя – первое исследование в самодологии, которое было проведено в философско-логическом и этнолого-культурологическом ключах. Опора на специфику номинации и систему словообразовательных отношений дает автору право признать числительные особой частью речи и рассматривать их как единую лексико-грамматическую систему, представленную следующими разрядами: количественные, порядковые, собирательные и разделительные числительные [Быконя 1996б; 1998].

Лексико-семантическую базу всей системы числительных в селькупском языке составляют числительные первого десятка, а также пятнадцать, двадцать и сто. В.В. Быконя уделяет этимологии перечисленных числительных должное внимание, реконструируя в итоге праселькупское состояние системы числительных. Особенности данной системы находятся в определенной связи с процессами становления самодийского этноса, которые обусловили специфику системы селькупских числительных. С опорой на взаимосвязь языка и мышления В.В. Быконя воспроизводит начальный этап в становлении счета, выявляет этимологические корни, первоначальное значение которых восстанавливается через связь семантики числительного со значением числа в мировосприятии селькупов, а также через широкий круг диахронически однокоренных



слов. Историко-этимологические исследования проведены в типологическом и сравнительно-историческом планах на базе материалов финно-угорских, тюркских, индоевропейских и других языков.

Заслуживают особого внимания выводы В.В. Быконя об исторических изменениях моделей сложных числительных. В частности, селькупское числительное "9" представляет собой одну из последних инноваций в счетной системе языка, произошедших в последние два столетия. Его словообразовательная модель уподобляется модели числительного "8" "два отсутствующий десять" и приобретает вид "один отсутствующий десять". В настоящее время селькупские числительные "8" и "9" в самодийской языковой группе обособлены. Общесамодийская модель числительного "8" – "2 x 4" была вытеснена моделью "два отсутствующий десять" под влиянием внешних факторов еще до письменных фиксаций. Числительное "9", обнаруживающее на предшествующих хронологических срезах непоследовательности в моделировании, следует считать результатом внутреннего развития языка.

В.В. Быконя подробно исследует наименования числа "9" во всех самодийских языках. В ненецком языке оно означает "самодийское десять", "иноплеменное десять", "русский десяток". В связи с этим возникает вопрос о том, в каком соотношении находятся друг к другу ненецкие "9" и "10". Этот вопрос неоднократно поднимался как в самоедологии, так и в уралистике. Ответ на него заключался, по мнению уралистов, в том, что связка, содержащая девять шкурок, соответствовала "ненецкой связке", а содержащая десять шкурок была "русской связкой". Таким образом, наименование "9" в ненецком языке ставится в прямую зависимость с обменом товарами между ненцами и русскими, в связи с чем перед обозначением "10" *ju'* появляется определение *luca* "русский". Для ненцев становится актуальной новая меновая единица, которая состояла у русских из десяти шкурок и соответствовала ненцам девяти. На первый взгляд возникает противоречие между системой счета и меновой единицей, которая соответствовала у ненцев девяти. В.В. Быконя считает, что, если исходить из модели образования числительного "9", а не из количества шкурок в связке, то это противоречие снимается. Базовым компонентом наименования "9" в ненецком языке является *ju'* "10". Обозначения "9" представлены словосочетаниями *lasawa ju'* и *habi ju'*, в которых основная смысловозначительная функция приходилась на определения *lasawa* и *habi*, но в сознании говорящих эти определения существенной роли не играли. Дойдя при счете до "9", ненцы сталкивались с обозначением *ju'* "10", которое служило изначально определенным числом-совокупностью. Обозначения "9" представлены словосочетаниями *lasawa ju'* и *habi ju'*, в которых основная смысловозначительная функция приходилась на определения *lasawa* и *habi*, но в сознании говорящих эти определения существенной роли не играли. Несоответствие между системой счета и единицей обмена вызвано особенностями наименования "9" и связано с глубинными процессами формирования сознания народа. В обозначении числа "9" у самодийцев была заложена общая идея: "9" воспринималось как число, находящееся в непосредственной близости от рубежа, соответствовавшего определенному числу-совокупности.

Исследование всех разрядов числительных В.В. Быконя проводит, придерживаясь принципов исторической диалектологии и сопоставления с разноструктурными языками. Порядковые числительные имеют диалектный инвентарь морфологических и фонетических вариантов суффикса, которых насчитывается восемь разновидностей. Многообразие средств выражения порядковости свидетельствует о наличии в праселькупском нескольких архетипов. Они были присущи разным уральским диалектам и реализовались соответственно по-разному в селькупских диалектных подразделениях.

В диалектном материале селькупского языка обнаруживаются два способа выражения собирательности: морфологический, с разветвленной вариативной системой грамматических форм, и синтаксический, с меньшим количеством вариантов. В процессе исторических изменений в диалектах это разнообразие форм как следствие унификации и нивелирования грамматических показателей сокращается. Собирательность начала формироваться в сфере 3-го лица. Для ее выражения использовались

элементы морфологической структуры, отражающие два разнонаправленных процесса. Один из них протекал в русле формирования числа через дробление целого на части, первоначально надвое. Исходным значением форманта *-qi* была конкретная членимость. Другой процесс был противоположно направленным первому и предполагал слияние двух частей воедино, что морфологически выражалось через формант *-ja*. Таким образом становление собирательности проходило через ступень конкретной множественности как результата деления целого на части, с одной стороны, и как слияния двух частей воедино – с другой стороны.

Особый интерес в исследованиях В.В. Быконя представляет выявление системных связей числовых наименований "1" – "2"; "4" – "5"; "3" – "6"; "9" – "10"; "8" – "10". На основе числительных первого десятка реконструируется мировоззрение селькупов в ключевых представлениях и понятиях. Осознание человеком мироустройства через самого себя выразилось в счетной цепочке до "7". Тернарная оппозиция "8–9–10" символизирует трехступенчатую картину мира, представляющую собой следующий этап более ранней бинарной системы представлений о мироздании. Опыт исследования числительных на материале селькупских диалектов может с успехом применяться не только в самоэдологии, но и в уралистике в целом.

В центре внимания лингвистов всего мира находятся в настоящее время и проблемы лексикологии. В последние десятилетия появляется все больше работ, демонстрирующих в той или иной степени принцип изучения языка как продукта человеческой культуры и в тесной связи с ней. В этом ключе проведено исследование селькупской культовой лексики как системы в сопоставлении с прауральским и прасамодийским состоянием. А.А. Ким обобщила результаты проведенного исследования в монографии [Ким 1997] и представила их в докторской диссертации [Ким 1999]. Монография являет собой первый опыт реконструкции культовой сферы на лингвистической основе и дает семантическую классификацию селькупской культовой лексики на основе ключевых сем. А.А. Ким предлагает свое видение взаимосвязи языковых и когнитивных процессов, релевантных для культурной парадигмы исследуемой эпохи. Это первый шаг к выработке специальных методов и приемов изучения лексики бесписьменных или младописьменных языков.

Культовая лексика подлежит толкованию, поскольку отражает сложные культурные реалии. Взаимоотношения культовой лексики и культурно-когнитивных процессов постулируются в исследованиях А.А. Ким как корреляция культурных и лингвистических абстракций. На эмпирической основе выявлены понятийные дескрипторы культовой сферы, которые на уровне языка получают реализацию в виде набора ключевых слов. Набор лексем представлен в качестве лексико-семантического субполя, внутри которого выявлены синонимические пары или ряды. Выражение данным слоем лексики общего семантического признака обусловлено воздействием культурной парадигмы.

Структурирование селькупской культовой лексики в соответствии с семантической культовой парадигмой вытекает из функций следующих культовых элементов: названия исполнителей культовых действий – субъектива культа; названия душ – объектива культа; названия предметов шаманизма и жертв – инструментала культа; названия культовых мест – локатива культа; названия сверхъестественных существ – адессива культа и названия культовых действий – процессива культа.

А.А. Ким разработала модель селькупской культовой лексики как полярной и шкальной системы на основе учета лексикологических и семантических единиц ее описания. На одном полюсе системы концентрируются лексемы, к которым применимы методы лексикологического анализа; на другом находятся семантические группы лексем, объединенных механизмом табуирования под некоторый общий смысл, к которым применим семантический анализ. Словоцентричный и смыслоцентричный полюса селькупской культовой лексики даются с промежуточными вариантами. В работе А.А. Ким впервые предлагается реконструкция фрагмента картины мира на лингвистической основе. Селькупский материал подтверждает антропоморфность картины мира и преимущественное совпадение этнических и религиозных границ.

Сегодня научная лингвистическая школа профессора А.П. Дульзона, успешно продолжая разработку комплексной программы "Происхождение аборигенов Сибири и их языков", интегрирует накопленные результаты исследований в сферу прикладной лингвистики. В 90-х годах были подготовлены к печати и опубликованы следующие работы [Быконя, Ким, Купер 1992; 1993; Беккер, Быконя, Ким, Морева 1994; Быконя, Ким, Максимова, Ильяшенко 1996; Быконя 1997, 1999].

Учебно-методический комплекс по селькупскому языку выполнялся в рамках социального заказа Ассоциации малочисленных народностей Томской области при финансовой поддержке Томского территориального центра Госкомсевера России. Он используется в учебном процессе в ряде школ с преподаванием родного языка Томской и Тюменской областей, а также в Томском государственном педагогическом университете в лаборатории языков народов Сибири.

Заметное место в работе томских лингвистов занимает сегодня лексикографическое описание селькупских диалектов. Двухязычный переводной селькупско-русский словарь, охватывающий материал пяти диалектов, представит по возможности в полном охвате слова селькупского языка в алфавитном порядке без объединения их в гнезда. Словарная статья состоит из селькупского слова в его начальной форме и перевода на русский язык адекватным по значению словом литературного языка. Значения селькупских слов выявляются из картотеки Лаборатории языков народов Сибири Томского государственного педагогического университета. Многозначность слова иллюстрируется примерами из опубликованных источников и неопубликованных рукописных материалов. Работа по составлению словаря осуществляется при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда.

Таким образом, самоедология развивается, а лингвистическая школа А.П. Дульзона вносит свой вклад в ее развитие. В настоящее время томскими учеными планируется системное изучение лексикологии, морфологии и синтаксиса других самодийских языков и прежде всего нганасанского.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алиткина Л.А.* 1978 (рукопись) – Имя прилагательное в селькупском языке. Томск, 1978 (рукопись).
- Беккер Э.Г.* 1965 (рукопись) – Селькупская топонимика Сибири. Томск, 1965 (рукопись).
- Беккер Э.Г.* 1978 – Категория падежа в селькупском языке. Томск, 1978.
- Беккер Э.Г.* 1985 – Грамматические категории имени существительного в южных диалектах селькупского языка. Дис. ... докт. филол. наук. Томск, 1985.
- Беккер Э.Г., Быконя В.В., Ким А.А., Морева Л.В.* 1994 – Пособие по селькупскому языку (книга для учителя). Томск, 1994.
- Беккер Э.Г., Алиткина Л.А., Быконя В.В., Ильяшенко И.А.* 1995 (рукопись) – Морфология селькупского языка. Южные диалекты. Ч. 1–2. Томск, 1995 (рукопись).
- Болсуновская Л.М.* 1998 – Способы глагольного действия в диалектах селькупского языка. Дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1998.
- Болют Е.П.* 1974 (рукопись) – Образование имен прилагательных в нганасинском языке. Томск, 1974 (рукопись).
- Быконя В.В.* 1983 (рукопись) – Структурно-семантическая характеристика локальных уточнителей в селькупском языке. Томск, 1983 (рукопись).
- Быконя В.В., Ким А.А., Купер Ш.Ц.* – 1992 – Селькупско-русский, русско-селькупский словарь. Томск, 1992.
- Быконя В.В., Ким А.А., Купер Ш.Ц.* 1993 – Шёшкуй букварь. Томск, 1993.
- Быконя В.В., Ким А.А., Максимова Н.П., Ильяшенко И.А.* 1996 – Сказки нарымских селькупов (книга для чтения на селькупском языке). Томск, 1996.
- Быконя В.В.* 1996 – Структурно-морфологическая система числительных и история ее формирования в диалектах селькупского языка. Дис. ... докт. филол. наук. Томск, 1996.
- Быконя В.В.* 1997 – В помощь учителю селькупского языка для работы по букварю (Шёшкуй букварь). Методические указания. Томск, 1997.
- Быконя В.В.* 1998 – Имя числительное в картине мира селькупов. Томск, 1998.

- Быкопя В.В.* 1999 – Шарватплэнд шешкуй шендмэ! Говори по-ше шкупски! (Селькупско-русский разговорник). Томск, 1999.
- Воеводина Н.М.* 1974 (рукопись) – Аналитические глагольные конструкции в селькупском языке (деепричастие + вспомогательный глагол). Томск, 1974 (рукопись).
- Гальцова Н.П.* 1993 (рукопись) – Морфологические средства передачи темпоральных отношений в диалектах селькупского языка (на материале тымского диалекта). Томск, 1993 (рукопись).
- Деннинг Н.В.* 1983 – Фонетика тымского диалекта селькупского языка. Дис. ...канд. филол. наук. Томск, 1983.
- Дульзон А.П.* 1970 – Общность падежных аффиксов самодийских языков с енисейскими // Вопросы финно-угроведения. Вып. V. Йошкар-Ола, 1970.
- Dulson A.P.* 1971 – Über die räumlliche Gliederung des Solkupischen in ihrem Verhältnis zu den alten Volkstumsgruppen // Советское финно-угроведение. Таллин. Т. VII. № 1. 1971.
- Дульзон А.П.* 1974 – Падежная система в нганасанском языке // Склонение в палеоазиатских и самодийских языках. Л., 1974.
- Ильященко И.А.* 1989 (рукопись) – Местоименные слова в южных диалектах селькупского языка. Томск, 1989 (рукопись).
- Ким А.А.* 1986 (рукопись) – Выражение категории притяжательности в диалектах селькупского языка. Томск, 1986 (рукопись).
- Ким А.А.* 1997 – Очерки по селькупской культовой лексике. Томск, 1997.
- Ким А.А.* 1999 – Селькупская культовая лексика как этнолингвистический источник: проблема реконструкции картины мира. Томск, 1999.
- Кузнецова Н.Г.* 1986 (рукопись) – Глагольная подсистема кетского диалекта селькупского языка. Томск, 1986 (рукопись).
- Кузнецова Н.Г.* 1991 – К вопросу об эволюции категории наклонения в диалектах селькупского языка // *Linguistica Uralica*. Tallinn, 1991. № 4.
- Кузнецова Н.Г.* 1992a – Императив в южных диалектах селькупского языка // *Linguistica Uralica*. Tallinn, 1992. № 2.
- Кузнецова Н.Г.* 1992b – Селькупские суффиксы залоговой семантики // *Linguistica Uralica*. Tallinn, 1992. № 4.
- Кузнецова Н.Г.* 1993a – Конверсия в селькупском языке // *Linguistica Uralica*. Tallinn, 1993. № 3.
- Кузнецова Н.Г.* 1993b – Категория времени в южноселькупских диалектах // *Linguistica Uralica*. Tallinn, 1993. № 4.
- Кузнецова Н.Г.* 1994a – О категории глагольного вида в селькупском языке // *Linguistica Uralica*. Tallinn, 1994. № 2.
- Кузнецова Н.Г.* 1994b – К систематизации явлений транспозиции в морфологической парадигме // *Linguistica Uralica*. Tallinn, 1994. № 3.
- Кузнецова Н.Г.* 1995a – Категория числа и лица южноселькупского глагола // *Linguistica Uralica*. Tallinn, 1995. № 2.
- Кузнецова Н.Г.* 1995b – Грамматические категории южноселькупского глагола. Томск, 1995.
- Кузнецова Н.Г.* 1996 – Асимметричные явления и развитие селькупской глагольной парадигмы. Дис. ...докт. филол. наук. Новосибирск, 1996.
- Максимова Н.П.* 1983 – Морфологический способ выражения множественности в южных диалектах селькупского языка // Вопросы енисейского и самодийского языкознания. Томск, 1983.
- Максимова Н.П.* 1984 – Морфологический способ выражения двойственности в селькупском языке // Структура палеоазиатских и самодийских языков. Томск, 1984.
- Максимова Н.П.* 1985a – Категория числа у имен существительных собирательного значения в селькупском языке // Структура самодийских и енисейских языков. Томск, 1985.
- Максимова Н.П.* 1985b – Категория числа у имен существительных вещественной семантики // Лексика и грамматика языков Сибири. Барнаул, 1985.
- Максимова Н.П.* 1985в – К вопросу о связи по способу соответствия в селькупском языке // Языки народов Сибири. Томск, 1995.
- Морев Ю.А.* 1973 (рукопись) – Звуковой строй среднеобского (ласкинского говора) селькупского языка. Томск, 1973 (рукопись).
- Хайду П.* 1985 – Уральские языки и народы. М., 1985.

© 2000 г. Э. ВАЙДА

## АКТАНТНЫЕ СПРЯЖЕНИЯ В КЕТСКОМ ЯЗЫКЕ

### 1. ВВЕДЕНИЕ

Цель этой статьи – подвергнуть систему актантных показателей современного кетского языка (далее к.я.) функциональному анализу, чтобы доказать, что выбор актантных серий (типология грамматического согласования) в глагольных словоформах является деривационной чертой каждого глагола и не соответствует единому грамматическому строю, хотя согласование этих серий по лицу, классу и числу с синтаксическими аргументами в глагольной фразе производится парадигматически. По типологии актантных соотношений глагольные лексемы к.я. можно разделить на два главных и несколько мелких деривационных подтипов, которые назовем **актантным спряжением**. Наша попытка объяснить самый своеобразный аспект типологического строя к.я. посвящена неутомимому А.П. Дульзону, чьи многочисленные труды по енисейскому языкознанию оставили сегодняшним кетологам богатое наследие.

Рассмотренный ниже материал – часть всеобъемлющего описания морфологии кетского глагола (см. [Vajda, в печати] и [Vajda, рук.]), где выдвигаются следующие предположения, принятые здесь как базисные предпосылки:

1) В отличие от других частей речи в к.я. финитные формы глагола не могут быть линейно разделены на две морфологические зоны – словообразовательную основу и грамматические флексии, поскольку их образование соответствует редкому морфологическому типу. Согласно Г. Стумпу [Stump 1997]<sup>1</sup>, словоизменительные (флексионные) процессы во всех языках производятся по принципу порядковой аранжировки морфем (то есть по парадигматическим параметрам), тогда как словообразовательные процессы обычно производятся по принципу наслоения морфем, что создает чистую лексическую основу, не смешанную (или смешанную лишь второстепенно) с флективными чертами. Однако в глагольной системе некоторых языков (например, в африканских языках банту) не только флексии, но и вся деривационная зона порождается по порядковой модели. Мы предполагаем, что глагольное формобразование в к.я. представляет собой именно такой типологический гибрид флективного словоизменения с лексической деривацией, который мы назовем темплатическим формобразованием (*templatic word form creation*), в отличие как от обычного лексического словообразования, так и от чисто синтаксического словоизменения<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Статья [Stump 1997] на самом деле посвящена отрицанию типологического различия между так называемой "темплатической" и "нетемплатической" морфологией и только предполагает возможность темплатически мотивированных деривационных процессов (на примерах глагольного формобразования в языке суахили). Наша статья является первой попыткой исследовать частный случай собственно темплатической деривации с оценкой некоторых ее типологических последствий.

<sup>2</sup> Строение глагола в некоторых языках Северной Америки также выявляет черты тематического формобразования (но без того сложного тематического выражения актантных отношений, которое характерно для енисейских языков). Для морфологических описаний некоторых из этих языков уже применялась порядковая модель: навахо [Young, Morgan 1987], ахтна [Kari 1990] и тлингит [Story, Naish 1973], но в этих работах не подчеркивалась необычность темплатического словообразования (в отличие от словоизменения).

## Макропорядковая модель (темплейт) кетского глагола

П8	П7	П6	П5	П4	П3	П2	П1	П0	П-1
агентив (лицо, класс)	инкорпорант	абсолютив с послелогом	преверб	тематический /а/ или 3 л. некорреф. одуш. инактив	нео-душ. инактив	время/ наклон.	корреферентный или 1, 2 л. инактив	база	агентив (число)

2) Темплатический характер образования финитных форм глагола в к.я. накладывает особый отпечаток на все стороны морфологии – как морфонологическую, так и семантическую. Порождение этих форм нужно описать не в виде готовой лексической основы, подвергающейся тем или иным словоизменительным процессам при создании глагольной фразы, а в виде порядкового остова, или "темплейта" (шаблона, *template*), тождественного с основой при обычном словообразовании. За исключением глагола, все остальные части речи в к.я. представляют собой обычные случаи словообразования.

3) В отличие от предыдущих попыток применить порядковый анализ к кетскому глаголу [Werner 1997; Буторин 1995], согласно которым каждая морфема получает по одному порядку в максимальной модели (у Г.К. Вернера 18 порядков, у С.С. Буторина – 17), наша модель различает микропорядок (каждую линейную морфемную позицию) и макропорядок (объединение в один порядок любой группы структурно зависящих друг от друга аффиксов). Наша макропорядковая модель состоит из следующих 10 порядков: 8 префиксальных, 1 суффиксального и глагольной базы (нулевого порядка, от которого структурно зависят все остальные).

4) Многие загадочные факты морфонологии кетского глагола раскрываются при предлагаемом нами порядковом анализе. Например, выявляется целый морфотактный слой (*morphotactic layer*) морфонологии, для которого важны не сами морфемы, а занимаемые ими макропорядки в темплейте. Вот два примера морфотактных правил, меняющих фонологический облик глагольной словоформы при темплатическом формообразовании:

а. Агентивные маркеры лица и класса (П8) обязательно сохраняются перед некоторыми порядковыми комбинациями (напр., 8–3–0), а редуцируются перед другими (напр., при любой комбинации с заполненным П2):

- (1) 8 3 0 –1                      8 3 2 0 –1  
*di-b-bet-n*                      *[di]-b-il-bet-n*  
"мы это делаем"              "мы это делали"<sup>3</sup>

б. Появляются специальные порядковые разграничители (*morphotactic separators*)

<sup>3</sup> Все наши примеры взяты из четырех наиболее обстоятельных работ по кетскому глаголу [Дульзон 1968; Крейнович 1968; Решетников, Старостин 1995; Werner 1997], но подаются согласно специальной морфонологической транскрипции: макропорядки (собственно порядки в нашей модели) указаны надстрочными цифрами; морфологический материал в каждом порядке отделяется дефисами; морфемы, занимающие разные микропорядки одного макропорядка, разделяются косой линией (/); порядковые разграничители стоят между порядками в круглых скобках, тогда как обычные морфонологические элементы ставятся в круглые скобки и примыкают к порождающей их появлению морфеме; структурные элементы, утраченные при произношении, ставятся в квадратные скобки; фонологическая транскрипция в косвенных линиях (//) дается в некоторых случаях при утрате значительного структурного материала в поверхностной фонологии.

между морфемами, занимающими дальние позиции, но линейно стоящими рядом друг с другом. Нами выявлена сложная, но четкая система таких разграничителей.

Вот некоторые примеры морфотактных минимальных пар:

(2)	8	4	0		8	1	0	
	<i>du-(γ)-a-tet</i>				<i>du-(j)-a-tet</i>			
	"он бьет его"				"он бьет себя"			
	8	6	1	0	8	6	4	0
	<i>[du]-bo/k-(s)-a-qa(boksaqa)</i>				<i>[di]-bo/k-a-qos(bokaqos)</i>			
	"он продает меня"				"я уведу его"			

Эти порядковые разграничители не тождественны во всех случаях элементам, описанным как "разграничители" в других работах. Например, порядковый разграничитель /s/ автоматически появляется между одной морфемой в П7, П6 или П5 и другой морфемой в П0 или П1 (если П1 начинается с гласного) при незаполненности П4–2. В предыдущих работах появление этого /s/ связывалось с актантной системой [Решетников, Старостин 1995] или объяснялось как показатель времени [Werner 1997], хотя на самом деле он не имеет собственного значения, а только устраняет возможную двусмысленность омонимичных морфем, занимающих разные порядки.

5) Согласно проведенному нами анализу, только морфемы в П7 (инкорпорант), П5 (преверб) и П0 (база) полностью принадлежат лексическому компоненту глагольной словоформы. Остальные семь порядков совмещают как грамматические, так и лексические функции, хотя собственно грамматических категорий в кетском глаголе насчитываются только три: время (претерит/непретерит), наклонение (изъявительное-повелительное) и согласование с логическим субъектом и объектом по лицу, классу и числу. Выражение времени связано с П2 и П4, выражение наклонения с П2, а также с актантными позициями П8 и П3, которые обязательно не заполняются при образовании императивных форм.

Морфемы, связанные с выражением сопоставления претерит/непретерит (почти всегда какой-либо гласный /a/ в П4), на самом деле совсем не являются показателями времени (в одном случае это тематический, словообразовательный /a/<sup>4</sup>, в другом – актантные показатели 3 л. инактивной серии). Но в тех случаях, когда они случайно присутствуют в глагольной словоформе, все эти морфемы обязательно подвергаются лабиализации (переход /a/ в /o/ в претерите), что является настоящим парадигматическим маркером времени. Вид не является подлинной грамматической категорией, хотя маркеры наклонения-времени /il/ и /in/ в П2 обязательно отражают некоторые лексические оттенки, связанные с видовыми различиями (см. [Гайер 1980]). Наконец, собственно актантная система так или иначе охватывает П8, П6, П4, П3, П1, П-1. Итак, целых семь порядков – П8, П6, П4, П3, П2, П1, П-1 – связаны с выражением только трех грамматических категорий. Это происходит потому, что выбор способа формального выражения этих категорий в каждом глаголе определяется не по единому грамматическому принципу, как это бывает в языках, где отдельные флексии прибавляются к готовой лексической основе, а согласно той разновидности порядковой модели, которая присуща данной лексеме этимологически. Получившееся сложное переплетение деривационных и флективных элементов и создает ту удивительную пестроту при формальном выражении грамматических категорий в глаголе к.я. В кетском глаголе это своеобразное смешивание тематических и парадигматических аспектов ярче всего выступает при выборе актантных серий. Именно этой стороне кетского языка и посвящается настоящая статья.

<sup>4</sup> В работе [Решетников, Старостин 1995] подразумевается наличие в к.я. двух тематических гласных /a/ и /i/, хотя все случаи появления /i/ на самом деле можно объяснить действием морфонологических (в том числе морфотактных) правил или исконным присутствием гласного /i/ в показателях /il/ и /in/ в П2.

## 2. ТИПОЛОГИЯ КЕТСКОЙ АКТАНТНОЙ СИСТЕМЫ

Наиболее необычной типологической чертой к.я. является его система внутриглагольных актантных показателей. Морфемы, связанные с выражением актантности, занимают целых шесть из десяти – больше половины! – макропорядков в нашей максимальной модели:

Таблица 2

Актантные порядки в глагольном "темплейте"

лицо класс число	8 агентив (лицо, класс)	6 абсолютив	4 (3 л. некорэф.)	3 неодуш. инактив	1	-1 мн.ч.
					одуш. инактив (корэф. или 1/2 л.)	агентив (число)
Я	di- d- Ø-	ba/t ba/k bo/k	-	-	di- d- Ø-	-
Ты	ku- k- Ø-	ku/t ku/k ku/k	-	-	ku- k- Ø-	-
Он	du- d- Ø-	a/t a/k o/k	(d)a~(d)o	-	a	-
Она	də- (da) <sup>5</sup>	i/t i/k u/k	(d)i(d)	-	a	-
Оно	də- (da)	Ø/t Ø/k u/k	-	b, Ø	a	-
Мы	di- d- Ø-	da/ŋ/t da/ŋ/k	-	-	da/ŋ	-n-Ø
		da/ŋ/k (də/ŋ/t и т.д.) <sup>5</sup>				
Вы	ku- k- Ø-	ka/ŋ/t ka/ŋ/k	-	-	ka/ŋ	-n-Ø
		ka/ŋ/k (kə/ŋ/t и т.д.)				
Они/неодуш.	du- d- Ø-	a/ŋ/t a/ŋ/k o/ŋ/k	(d)a/ŋ~(d)o/ŋ	-	a/ŋ	-n-Ø
Они/одуш.	-	Ø/t Ø/k u/k	-	b, Ø	a	-

Употребление разных вариантов маркеров в П8, П4 и П1 объясняются морфологическими (в том числе порядковыми) правилами [Vajda, в печати]. Нулевой маркер в П3 (вместо /b/) и П-1 (вместо /n/) характеризуют две непродуктивные группы глаголов. Появление трех разных подсерий абсолютивных маркеров с характерным для каждой послелогом регулируется лексическим значением глагола (см. [Шабаев 1984; Решетников, Старостин 1995; Werner 1997]). Функциональная разница между самими сериями (П8/-1, П6 и П4-3-1), однако, до сих пор не получила однозначного истолкования. Одни кетологи описывают эту систему как эргативную [Успенский 1964], другие – как смешанный тип с преобладанием номинативного строя [Werner 1995; 1997; 1998], или как активную, или ролевою, систему [Comrie 1981; Валл, Канакин 1988; 1991; Белимов 1991; Буторин 1995; Решетников, Старостин 1995], предлагая разные семантические роли и разные названия для каждой актантной серии. Но можно легко найти массу исключений из общих правил каждой из этих концепций. Не найдя четкой грамматической системности в употреблении актантных показателей в к.я.,

<sup>5</sup> Вопреки нашему общему морфоногическому принципу транскрипции, фонетическое колебание /da/ и /də/ (агентив ж.р. в П8), а также в П6 между абсолютивными маркерами /daŋ/~/dəŋ/ и /kaŋ/~/kəŋ/ отражено в записях, поскольку оно носит определенный морфотактный характер, т.е. указывает на макропорядковую структуру глагольных словоформ (см. [Vajda, в печати]).



некоторые кетологи наоборот предпочли описать каждую глагольную парадигму отдельно, не предложив общего истолкования функционального распределения актантных показателей [Дульзон 1968; Крайнович 1968].

В данной статье выдвигается идея: выбор актантных серий (то есть выбор грамматического способа согласования глагольной формы именными аргументами глагола) производится л е к с и ч е с к и, являясь деривационным компонентом каждого глагола, хотя согласование по лицу, классу и числу с глагольными аргументами внутри каждой лексически выбранной серии производится парадигматически, согласно общим синтаксическим правилам. Но это не значит, что каждую глагольную парадигму нужно рассматривать в виде исключения, потому что глагольный словарный запас к.я. разбивается на два главных, продуктивных актантных спряжения и несколько мелких типов. В одних спряжениях способ согласования соответствует активному строю, в других – эргативному или номинативному. На синхронном уровне объяснить выбор актантного спряжения у того или иного глагола не представляется возможным ни по каким общим морфологическим или семантическим правилам. Итак, современный кетский язык обладает уникальной тематической актантной системой, фундаментально отличающейся от грамматических систем согласования глагола с аргументами во всех других известных языках. Типологические описания актантных систем в языках мира, как правило, подчеркивают разницу между номинативным, эргативным и активным строями [Lazard 1998], хотя все эти системы абсолютно одинаковы в том смысле, что в них выбор способа согласования исходит из общего правила синтаксической типологии языка. Даже в языке с так называемой смешанной, или расщепленной (split), актантной системой, например в грузинском языке, где для одних видо-временных форм используется номинативное согласование, а для других – активное, выбор способа согласования полностью принадлежит грамматике. В кетском же языке, хотя само согласование принадлежит грамматике, тип согласования (активный, номинативный и т.д.) является деривационной чертой каждой глагольной лексемы. Таким образом, выбор способа согласования в к.я. чем-то напоминает лексический выбор типа глагольного управления в таких языках, как русский:

(3) Тематическое глагольное управление в русском языке:

- а. Логический субъект: *Я* (имен.) *мерзну*; *Мне* (дат.) *холодно*;  
*Меня* (род.) *нет*; *Меня* (вин.) *знобит*.
- б. Логический объект: *Уважаю вас* (вин.); *Боюсь вас* (род.);  
*Помогаю вам* (дат.); *Любуюсь вами* (твор.).

Система внеглагольного управления логическими субъектом и объектом в русском языке легко поддается описанию, а лексический выбор актантной типологии в к.я. также соответствует четкой системе.

### 3. АКТАНТНЫЕ СЕРИИ В СТРУКТУРЕ ГЛАГОЛЬНОЙ СЛОВОФОРМЫ

Прежде чем приступить к описанию самих актантных спряжений, необходимо оговорить еще несколько общих черт актантной системы кетского языка.

**3.1. Роль синтаксических категорий "субъект" и "объект".** Это чисто синтаксическое различие, обладающее столь важной функцией в согласовательных типах индоевропейских и многих других языков, не играет однозначной роли в морфологической системе кетского глагола. Тем не менее, полностью отрицать его, как делал Э.И. Белимов [Белимов 1991], не оправдано фактами к.я. Во-первых, различие между подлежащим и прямым дополнением играет ведущую роль в одном из главных актантных спряжений (см. раздел 4.2). Во-вторых, глагольные аргументы, соответствующие этим двум синтаксическим ролям, ставятся в абсолютивном (нулевом) падеже и требуют аффиксального согласования по лицу, классу и числу в той или иной актантной серии внутри глагола, тогда как другие аргументы глагольной фразы, как

правило, стоят в каком-либо косвенном падеже и не вызывают подлинное парадигматическое согласование внутри глагола. В данном анализе под терминами "субъект" и "объект" подразумевается только логический субъект или объект.

**3.2. Грамматический род (или класс) глагольных аргументов.** Каждое существительное в к.я. принадлежит одному из трех грамматических классов, условно именуемых "мужской, женский и средний род" [Werner 1997: 88–96]. Маркеры в каждой из трех актантных серий вызывают грамматическое согласование по классу с аргументами 3 л. ед. ч. Однако класс существительных играет неоднозначную роль во всех актантных спряжениях, так как в некоторых спряжениях класс влияет не только на выбор соответствующей морфемы внутри данной лексической серии, но также и на выбор самой серии.

**3.3. Актантные серии и глубинные семантические роли.** Известно, что кетская глагольная словоформа не может содержать более трех актантных показателей<sup>6</sup>. Эта общая закономерность отчасти исходит из того, что система актантных порядков соответствует только трем функциональным сериям, поскольку порядки 4, 3 и 1 в современном к.я. образуют одну серию<sup>7</sup>. Внутри инактивной серии П4 соотносится с одушевленным аргументом 3 л., не соотношенным с другим актантным показателем в данной словоформе; П3 соотносится с неодушевленным аргументом 3 л., не соотношенным с другим актантным показателем; и П1 соотносится или с другим маркером 3 л. в той же самой словоформе (как это имеет место в некоторых рефлексивных реципрокных формах или в одном непродуктивном актантном спряжении), или маркирует первое или второе лицо инактивного аргумента в любом случае, несмотря на вопрос о его соотношенности с другим маркером в словоформе.

Наличие трех актантных серий было впервые описано в кандидатской диссертации С.С. Буторина [Буторин 1995], но вопрос об общей функции каждой серии остается спорным. Э.И. Белимов [Белимов 1991], С.С. Буторин [Буторин 1995], а также К.Ю. Решетников и Г.С. Старостин [Решетников, Старостин 1995] описывают актантную систему к.я. как ролевую, но предлагают несколько разные истолкования соотношения между сериями и ролями (Белимов предполагает пять ролей). В противовес этим кетологам, Г.К. Вернер предполагает преобладание синтаксического согласования в современном к.я. (исторического становления номинативного строя на базе прежнего активного строя) [Werner 1997; 1998]. Мы же считаем, что ни одну из актантных серий к.я. нельзя отождествлять с какой-либо семантической или синтаксической функцией во всех глаголах, поскольку выбор типологического согласования является деривационной чертой каждого глагола и не производится по одному общему грамматическому принципу. Для одних актантных спряжений ключевыми оказываются семантические категории агенса-пациенса, активный/неактивный, одуш./неодуш. и т.д.; для других – синтаксическое противостояние между субъектом и объектом (номинативный тип) или между субъектами переходного и непереходного глагола (эргативный тип). Деривационный выбор этой сугубо синтаксической черты (способа согласования глагола с его аргументами) создает несколько лексических классов, для которых мы предлагаем название **актантные спряжения**. Подавляющее большинство глагольных лексем в к.я. принадлежат одному из двух главных продуктивных актантных спряжений – Активное Спряжение и Эргативное Спряжение. Остальные глаголы разбиваются на несколько непродуктивных или малопродуктивных спряжений. Разделение глагольного словарного фонда к.я. на несколько актантных спряжений основано на парадигматических функциях реальных актантных показателей при образовании глаголь-

<sup>6</sup> При этом подсчете подразумевается, что в формах изъявительного наклонения агентивные порядки П8 (лицо/класс) и П-1 (число) структурно зависят друг от друга, составляя как бы единый макропорядок, хотя их нужно считать разными макропорядками в глаголе в целом, так как в формах императива мн. ч. П-1 выступает самостоятельно (без маркера в П8).

<sup>7</sup> Как правило, каждая серия представлена не более чем одним маркером в словоформе. Однако в одном подтипе инактивных маркеры стоят и в П3, и П1, хотя в данных глаголах маркер П1 является псевдоактантным (см. 4.3 ниже).

ной фразы. Под реальным актантным показателем подразумевается маркер, соотносящийся по лицу, классу или числу с реальным аргументом данной глагольной фразы. Реальные актантные показатели в глаголах, принадлежащих Активному Спряжению, соотносятся с номинативными аргументами согласно их семантической роли, тогда как соотношение актантных показателей с аргументами у глаголов Эргативного Спряжения основано на чисто синтаксических, а не на семантических чертах глагольной фразы. Кроме того, каждое актантное спряжение содержит несколько деривационных подтипов, отличающихся обязательным присутствием псевдоактантных показателей, которые не меняются по лицу, классу или числу согласно реальным аргументам в глагольной фразе, а являются чисто деривационной чертой данных глаголов. Серии реальных же актантных показателей тоже выбираются лексически, но в отличие от псевдоактантных показателей они еще и модифицируются в синтаксисе при образовании глагольной фразы в соответствии с реально присутствующими в ней именными аргументами. Итак, в нашем анализе, актантные спряжения основываются на синтаксических функциях реальных актантных показателей, а деривационные подтипы спряжений – на обязательном наличии какого-либо псевдоактантного показателя в словоформе независимо от аргументов, действительно присутствующих в глагольной фразе.

Грамматическая многозначность каждой актантной серии в зависимости от актантных спряжений весьма усложняет любую попытку подобрать для них подходящие метаграмматические названия. Если учесть функции серий в к.я. в целом, то инвариантную функцию каждой серии легче всего описать отрицательно. Актантные маркеры П8/-1 никогда не соотносятся с синтаксическим объектом, маркеры П6 не способны самостоятельно соотноситься с субъектом переходного глагола, а маркеры в порядках 4–3–1 никогда не соотносятся самостоятельно с ролью активного агенса. Согласно этим общим закономерностям, мы предлагаем следующие названия для трех актантных серий: агентив (П8/-1), абсолютив (П6) и инактив (П4-3-1). Каждая серия обладает целой гаммой функций в зависимости от того актантного спряжения, в котором она используется. Но поскольку ни одна из этих серий не отождествляется с одной и той же семантической или синтаксической функцией во всех своих употреблениях, наши (или любые другие) названия для них в лучшем случае условны.

#### 4. АКТАНТНЫЕ СПРЯЖЕНИЯ

Отличив лексическую систему актантной типологии, характерную для к.я., от чисто грамматических систем (номинативной, эргативной, активной), можно приступить к описанию каждого отдельного деривационного способа актантных соотношений, бытующих в кетских глаголах. В разделе 4.1 рассматривается Активное Спряжение, в 4.2 – Эргативное Спряжение вместе с его псевдоактантными подтипами. Раздел 4.3 описывает глагольные лексемы, не входящие в два главных спряжения и в сущности представляющие собой реликтовые, или во всяком случае намного менее продуктивные, актантные спряжения.

**4.1. Активное Спряжение.** Функции актантных серий у половины всех глагольных лексем в к.я. зависят от семантических ролей, выполняемых логическим субъектом и объектом. В данном спряжении одушевленные аргументы, как правило, маркируются по-другому, чем неодушевленные. Таким образом, Активное Спряжение представляет собой пример агентивных систем, описываемых М. Митун [Mithun 1991] как "agentive/active". Соответствия между семантическими ролями, порядковыми сериями и синтаксическими аргументами в Активном Спряжении указаны в таблице 3.

Как это бывает со всеми агентивными системами, точная грань между ролями "активность" и "инактивность" довольно условна. В данном спряжении к.я. это различие во многом совпадает с грамматическим противопоставлением между одуш. и неодуш. именными аргументами. Большинство одушевленных логических субъектов соотносится с агентивными показателями (П8/-1), тогда как большинство неодушевленных аргументов (как логические субъекты, так и объекты) кодируется неодушевлен-

## Актантные отношения Активного Спряжения

Роль:	активность	инактивность
Серия:	8/(-1)	4/3/1
Аргумент:	(не имеет самостоятельного значения)	

ленным порядком инактивной серии (П3). Все одушевленные объекты в переходных глаголах этого спряжения также требуют инактивного маркера (П4 или П1):

## (4) а. Непереходные активные глаголы с одуш. субъектом (П8)

8 4 0	8 0	8 7 0 -1	8 0
<i>dī-(γ)-a-daq</i>	<i>du-(j)-qo</i>	<i>d[i]-aŋ(i)-(s)-ta-n</i>	<i>dī-loŋŋ</i>
"я живу"	"он умрет"	"мы висим"	"я трясусь"

## б. Непереходные глаголы Акт. Спр. с неодуш. субъектом (П3)

3 0	7 3 0
<i>(i)b-qo</i>	<i>aŋ(i)-b-ta</i>
"оно/они(неодуш.) умрет"	"оно/они(неодуш.) висит"

## в. Переходные глаголы Акт. Спр. (субъект – П8/-1, объект – П4-3-1)

8 1 0 -1	8 3 0	8 7 3 0 -1	8 4 0
<i>du-dī-bək-n</i>	<i>dī-b-bək</i>	<i>d[i]-aŋ(i)-b-to-n</i>	<i>k[u]-a/ŋ-(s)-ij</i>
"они меня находят"	"нахожу это"	"вешаем это"	"ты убьешь их"

Однако некоторые глаголы требуют агентивной маркировки неодуш. субъекта, так что полностью отождествить агентивность с одушевленностью логического субъекта не представляется возможным:

## (5) Глаголы с агентивным неодушевленным субъектом (П8)

8 1 0	8 7 4 2 0
<i>də-Ø-dog<sup>8</sup></i>	<i>da-kas-o-[i]n-am</i>
"оно/они(неодуш.) летит"	"оно (стрела) попало в него" (букв. "оно/они взяло")

В отличие от одушевленных аргументов, неодушевленные субъекты глаголов Активного Спряжения, соотнесенные с агентивной серией (П8), никогда не вызывают соответствующего маркера множественного числа в П-1.

Только чрезмерно активные неодуш. субъекты могут соотноситься с маркером в П8, тогда как одуш. субъекты – даже те, которые довольно инактивны, – как правило получают агентивную маркировку в данном спряжении, напр.: *diləŋ* "он опух", *dintəəl* "он замерз" и т.д., но *hiləŋ* "оно опухло", *hintəəl* "оно замерзло". Тем не менее значительное количество глаголов Активного Спряжения требуют инактивной маркировки одушевленного субъекта. В основном это глаголы, обозначающие обладание или другое состояние, многие из них являются деагентивными формами:

<sup>8</sup> Этот глагол на самом деле относится к Квазипациенсному Спряжению (см. раздел 4.3), для которого также характерна ролевая маркировка логического субъекта.

## (6) Примеры Активного Спряжения

а. двухвалентные агентивные

8 4 0

*d[i]-a-(j)-s*

"я одеваю его"

8 4 3 0

*d[i]-a-b-do*

"я стригу это"

б. одновалентные деагентивные

4 0

*a-(j)-s*

"он одет"

4 3 1 0

*a-b-a-do*

"это пострижено"

Тот факт, что роль пациенса при снятии агенса-субъекта оставляет у себя инактивную маркировку, доказывает семантическую (в отличие от синтаксической) базу актантных отношений в данном спряжении.

Не все одновалентные глаголы, допускающие инактивную маркировку одушевленного субъекта, формально являются деагентивными. Некоторые одновалентные глаголы, обозначающие события, происходящие без явного внешнего каузатора, также маркируют логический одуш. субъект при помощи инактивной серии:

(7)	7 1 0 <i>sit-di-[a]</i> "я просыпаюсь"	7 1 0 <i>i-di-bet</i> "я днюю"	7 4 1 0 <i>us-a-di-[a]n</i> "мне хочется спать"
	7 1 0 <i>sit-ku-[a]</i> "ты просыпаешься"	7 1 0 <i>i-ku-bet</i> "ты днюешь"	7 4 1 0 <i>us-a-ku-[a]n</i> "тебе хочется спать"
	7 4 0 <i>sit-a-(j)-a</i> "он просыпается"	7 4 0 <i>iγ-a-(j)-bet</i> "он днюет"	7 4 0 <i>us-a-(j)-an</i> "ему хочется спать"
	7 4 0 <i>sit-[i]-a</i> "она просыпается"	7 4 0 <i>iγ-i(j)-bet</i> "она днюет"	7 4 0 <i>us-[i]-a</i> "ей хочется спать"
	7 1 0 <i>sit-da/η-a</i> "мы просыпаемся"	7 1 0 <i>i-da/η-bet</i> "мы днюем"	7 1 0 <i>us-da/η-atn</i> "нам хочется спать"
	7 1 0 <i>sit-ka/η-a</i> "вы просыпаетесь"	7 1 0 <i>i-ka/η-bet</i> "вы днюете"	7 4 0 <i>us-ka/η-atn</i> "вам хочется спать"
	7 1 0 <i>sit-a/η-a</i> "они просыпаются"	7 1 0 <i>iγ-a/η-bet</i> "они днюют"	7 4 0 <i>us-a/g-atn</i> "им хочется спать"

Рассмотренные в этом разделе примеры доказывают, что употребление агентивных (П8/-1) и инактивных (П4-3-1) маркеров в Активном Спряжении соответствует описанию ролевой системы, а не номинативному строю.

**4.1.1. Выражение рефлексивного и реципрокного значений в Активном Спряжении.**

Любой двухвалентный глагол этого спряжения может выражать кореферентность агенса и пациенса, заменив инактивный порядок 4 на 1 для аргументов 3 л. (1 и 2 л. пациенса маркируются в П1 в любом случае). Формы мн.ч. могут передать или рефлексивное, или реципрокное значение в зависимости от контекста. Вот пример рефлексивного и нерефлексивного глагола Активного Спряжения:

(8) Двухвалентные глагола Активного Спряжения:

а. два участника

8 1 0

*du-di-s*

"он одевает меня"

8 1 0

*du-ku-s*

"он одевает тебя"

8 4 0

*d[ul]-a-(j)-s*

"он одевает его"

б. один участник

8 1 0

*di-di-s*

"я одеваюсь"

8 1 0

*ku-ku-s*

"ты одеваешься"

8 1 0

*du-(j)-a-s*

"он одевается"

8 4 0	8 1 0
<i>d[u]-i-(j)-s</i>	<i>da-(j)-a-s</i>
"он одевает ее"	"она одевается"
8 1 0	8 1 0-1
<i>du-da/ŋ-s</i>	<i>di-da/ŋ-s-in</i>
"он одевает нас"	"мы одеваемся/одеваем друг друга"
8 1 0	8 1 0-1
<i>du-ka/ŋ-s</i>	<i>ku-ka/ŋ-s-in</i>
"он одевает вас"	"вы одеваетесь/одеваете друг друга"
8 4 0	8 1 0-1
<i>d[u]-a/ŋ-s</i>	<i>du-(j)-a/ŋ-s-in</i>
"он одевает их (одуш.)"	"они одеваются/одевают друг друга"

Рефлексивность и реципрокность – регулярные лексико-грамматические явления в к.я. Маркеры 3 л. в П1 заменяют соответствующие маркеры П4, чтобы подчеркнуть кореферентность агенса с пациенсом. Однако кореферентные маркеры П1 также используются, в одной (непродуктивной) группе глаголов, как обязательный плеонастический маркер субъекта (см. раздел 4.3.2). Сейчас рассмотрим два деривационных подтипа Активного Спряжения.

**4.1.2. Каузативный подтип Активного Спряжения.** В одном очень продуктивном подтипе данного спряжения инактивные маркеры (П4-3-1) передают роль каузированного агенса, а не просто инактивного пациенса. В таких глаголах, которые будем называть морфологическими каузативами, специальный преверб /q/ обязательно следует за инкорпорантом. Наличие инкорпоранта с каузативным превербом /q/ исключает другие маркеры, потому что морфологические каузативы построены по темплейту, в котором один сращенный порядок (П7/5) соответствует трем свободным порядкам в темплейте других глаголов. В плане семантических ролей занимающий сращенный порядок 7/5 инкорпорант с превербом /q/ соотносится с идеей пациенса. Но поскольку такой аргумент в самой глагольной фразе отсутствует, то порядок 7/5 представляет собой своего рода псевдоактантный показатель. Вот пример типичного каузативного глагола:

(9) 8 7/5 1 0	8 7/5 1 0
<i>d[u]-nan/bet/q(i)-di-t</i>	<i>d[u]-nan/bet/q(i)-da/ŋ-(i)t</i>
"он заставляет меня печь хлеб"	"он заставляет нас печь хлеб"
8 7/5 1 0	8 7/5 1 0
<i>d[u]-nan/bet/q(i)-ku-t</i>	<i>d[u]-nan/bet/q(i)-ka/ŋ-(i)t</i>
"он заставляет тебя печь хлеб"	"он заставляет вас печь хлеб"
8 7/5 4 0	
<i>d[u]-nan/bet/q-a-(j)-(i)t</i>	
"он заставляет его печь хлеб"	
8 7/5 4 0	8 7/5 4 0
<i>d[u]-nan/bet/q-i-(j)-(i)t</i>	<i>d[u]-nan/bet/q-a/ŋ-(i)t</i>
"он заставляет ее печь хлеб"	"он заставляет их (одуш.) печь хлеб"
8 7/5 3 0	8 7/5 4 0
<i>d[u]-nan/bet/q(i)-b/(i)t</i>	<i>d[u]-nan/bet/q-a/ŋ-(i)t</i>
"он будет печь хлеб"	"он заставляет их (неодуш.) печь хлеб"
(букв. "он заставляет это печь хлеб") <sup>9</sup>	

<sup>9</sup> Здесь маркер /b/ в П3 фактически выступает как псевдоактантный. О "декаузативной" семантической трансформации в каузативных глаголах, обусловленной неодошвенностью объекта, см. [Решетников, Старостин 1995: 95].

Каузативы пользуются той же формальной актантной системой, что и остальные глаголы Активного Спряжения, так как во всех двухвалентных глаголах этого спряжения аргумент, обладающий наивысшим рангом активности, маркируется агентивной серией (П8/–1), а другой аргумент – инактивной (П4–3–1).

**4.1.3. Псевдоагентивный подтип Активного Спряжения.** Некоторые глаголы активного Спряжения (чаще всего морфологические каузативы) допускают псевдоактантный /da/ в П8 при выражении непроизвольного изменения состояния в логическом субъекте. В данном подтипе агентивный маркер /da/ не соотносится с реальным аргументом (ср. использование среднего рода ед. ч. в русских глаголах типа *меня тошнило*), и поэтому этот маркер является чисто словообразовательным аффиксом. Логический субъект таких глаголов маркируется лишь инактивной серией П4–3–1:

(10)	8	7/5	1 0	8	7/5	1 0	8	7/5	4 0
	<i>da-sullej/a/q(i)-di-t</i>			<i>da-sullej/a/q(i)-ku-t</i>			<i>da-sullej/a/q-a/ŋ-(i)t</i>		
	"я краснею"			"ты краснеешь"			"они краснеют"		

Выбор актантных серий в этих глаголах явно соответствует характерному для Активного Спряжения семантическому распределению. Однако контрастное употребление агентивных и инактивных серий у всех двухвалентных глаголов этого спряжения можно было бы также описать как пример номинативного строя. Исключительная продуктивность каузативного подтипа, а также употребление агентивных (П8/–1) показателей для кодирования логического субъекта в большинстве глаголов других актантных типов привела Г.К. Вернера [Werner 1995; 1997; 1998] к заключению, что в актантной системе к.я. происходит общий исторический сдвиг от активного к номинативному строю. Существуют две причины, на наш взгляд, почему нужно отказаться от этого предположения. Во-первых, имеется продуктивное употребление инактивной серии (П4–3–1) для кодирования субъекта в деагентивных глаголах. Во-вторых, как будет показано в следующем разделе, более чем половина глагольных лексем в совр. к.я. пользуется эргативным строем, где субъект непереходных глаголов регулярно маркируется абсолютивной серией (П6). Итак, в совр. к.я. существует несколько продуктивных актантных типов, и субъект одновалентного глагола кодируется в том или ином типе всеми тремя сериями – агентивом (П8/–1), абсолютивом (П6) или инактивом (П4–3–1). Совокупность этих актантных типов, по-видимому, представляет собой стабильную систему, так как ни один из продуктивных типов не вытесняет остальных. Нет доказательства, что в к.я. происходит становление общеноминативной или любой другой чисто грамматической актантной системы.

**4.2. Эргативное Спряжение.** В предыдущем разделе мы показали, что актантные отношения в Активном Спряжении основаны целиком на семантических ролях партиципантов и что чисто синтаксические понятия, такие, как "субъект" и "объект", не играют независимой роли при выборе актантных серий (хотя если рассмотреть двухвалентные глаголы этого спряжения отдельно от одновалентных, то первые можно также адекватно описать как пример номинативного строя). Во втором из двух продуктивных спряжений к.я., которое назовем Эргативным Спряжением за характерное для него выделение переходного субъекта, главную роль при выборе актантных серий играет синтаксис, а семантические различия не имеют независимого значения. Таблица 4 указывает на актантные отношения, характерные для глаголов Эргативного Спряжения.

Таблица 4

**Актантные отношения Эргативного Спряжения**

Роль:	(не имеет самостоятельного значения)	
Серия:	8/–1	6
Аргумент:	субъект переходного глагола	субъект непереходного гл. или объект переходного гл.

В Эргативном Спряжении кодирование грамматического субъекта целиком зависит от того, имеется ли синтаксическое прямое дополнение в глагольной фразе или нет: субъект переходных глаголов кодируется в глаголе соответствующим маркером агентивной серии (П8), который в данном спряжении можно было бы справедливо назвать "эргативным", а субъект непереходных глаголов – маркером абсолютивной серии (П6):

(11) Примеры Эргативного Спряжения

а. переходные глаголы	б. непереходные	
8 6 4 0 8 6 4 0	6 4 0	6 4 0
<i>da-balk-a-do da-də/ŋ/[k]-a-do</i>	<i>bolk-a-tŋ</i>	<i>də/ŋ/[k]-a-tŋ</i>
"она смотрит на меня / на нас"	"я иду"	"мы идем"
8 6 4 0 8 6 4 0	6 4 0	6 4 0
<i>da-kul-k-a-do da-kə/ŋ/[k]-a-do</i>	<i>kul-k-a-tŋ</i>	<i>kə/ŋ/[k]-a-tŋ</i>
"она смотрит на тебя / на вас"	"ты идешь"	"вы идете"
8 6 4 0	6 4 0	
<i>da-a/ŋ/[k]-a-do</i>	<i>o/ŋ/[k]-a-tŋ</i>	
"она смотрит на них (одуш.)"	"они (одуш.) идут"	

Грамматический класс субъекта и объекта 3 л. парадигматически маркируется соответствующими сериями, но сам фактор одушевленности абсолютно не влияет на выбор серий, как это имеет место у глаголов Активного Спряжения:

(12) Классные показатели абсолютивной серии

6 4 0	6 4 0	6 4 0
<i>o/k-a-tŋ</i>	<i>u/k-a-tŋ</i>	<i>u/k-a-tŋ</i>
"он идет"	"она идет"	"это идет, они (неодуш.) идут"
6 0	6 0	6 0
<i>a/k(i)-(s)-sal</i>	<i>i/k(i)-(s)-sal</i>	<i>Ø/k(i)-(s)-sal</i>
"он ночует"	"она ночует"	"это они (неодуш.) ночуют"

Последний пример показывает, как абсолютивная подсерия /ba-k/ (также как и подсерия /ba-t/) регулярно кодирует неодушевленный аргумент при помощи нулевого маркера. Обязательным для Эргативного Спряжения тогда является не видимый абсолютивный маркер, а наличие абсолютивного послелога в П6 (почти во всех случаях /k/ или /t/)<sup>10</sup>:

(13)	8 7 6 4 0	8 7 6 4 0
	<i>[di]-tə-Ø/t-a-kit [tətakit] ср.:</i>	<i>[di]-təγ-a/ŋ/t-a-kit [təγaŋtakit]</i>
	"я солью это"	"я солью их (одуш.)"

<sup>10</sup> Обязательная связь послелогов /k/ или /t/ с предыдущими маркерами /ba-a/ или /bo-o/ была впервые описана в работах [Буторин 1995; Решетников, Старостин 1995], где также предлагалась, наряду с идеями Г.К. Вернера [Werner 1997], предварительная концепция лексического распределения трех главных подсерий – /ba-t/, /ba-k/ и /bo-k/. Все идеи этих исследователей находят дополнительное подтверждение, если также рассмотреть выбор самих актантных серий как лексическое явление. Здесь следует добавить лишь то, что в некоторых просодически сложных глаголах (то есть, состоящих из двух фонологических слов), маркеры неактивной серии заменяются маркерами абсолютивной серии по морфологическим причинам, так как маркеры 1 и 2 л. неактивной серии в П1 не могут занимать первое место в фонологическом слове. Это морфотактное явление объясняет как колебание актантных серий в примерах типа *enhasuk – endisuk* "я забываю", так и выбор серии для кодирования логического субъекта в одновалентных посессивных глаголах типа *dondibet* "я имею нож" и *bokdombajabet* "я имею ружье". Можно истолковать такие случаи как смешение актантных спряжений, мотивированное правилами порядковой морфонологии.



В этой связи, интересно сопоставить некоторые глаголы обоих спряжений:

(14)	а. Непереходные глаголы Активного Спряжения	б. Переходные глаголы Эргативного Спряжения
	8 5 4 0	8 6 4 0
	<i>du-(k)-a-do</i>	<i>[du]-ba/k-a-do</i>
	"он смотрит"	"он смотрит на меня"
	8 7 5 0	8 7 6 0
	<i>d[ʉ]-i-k-(s)-(i)bes</i>	<i>d[ʉ]-i-bo/k-(s)-(i)bes</i>
	"он придет"	"он меня приведет"

Эти примеры наводят на мысль об этимологическом тождестве преверба /k/ в П5 с абсолютивным послелогом /k/ в П6, хотя эти элементы теперь играют разные роли в глаголе. Данные примеры также показывают, как переход из одного спряжения в другое является деривационным способом формообразования, а не грамматическим процессом. Несмотря на наличие в совр. к.я. таких этимологических соответствий, предсказать, к какому спряжению будет принадлежать глагол с тем или иным значением, удастся далеко не всегда, как вполне можно ожидать при общей словообразовательной функции выбора актантных серий.

Эргативное Спряжение – весьма продуктивный способ образования как переходных, так и непереходных глагольных лексем. Все продуктивные процессы создания глагольных лексем в совр. к.я. заполняют и П7, и П0, то есть представляют собой сложные глаголы по терминологии Е.А. Крейновича [Крейнович 1968]:

(15)	а. Переходные эргативные глаголы		
	8 7 6 4 0	8 7 6 4 0	8 7 6 2 0
	<i>da-lubed-bo/k-a-bet</i>	<i>da-tukun-ba/t-a-kit</i>	<i>da-don-ba/k-il-tet</i>
	"она любит меня"	"она расчесывает меня"	"она пырнула меня ножом"
	б. Непереходные эргативные глаголы		
	7 6 4 0	7 6 4 0	7 6 0
	<i>ob-ba/t-[a]-ak</i>	<i>hus-Ø/k-a-tij</i>	<i>e-bo/k-(s)-daq</i>
	"я стану отцом"	"это заплесневевает"	"я протрезвею"

**4.2.1. Выражение рефлексивного (или реципрокного) значения у глаголов Эргативного Спряжения.** Специальное выражение этих значений присуще лишь формам 3 л. абсолютивной серии, где появляется кореферентный маркер /bu/ во всех классах и числах. Маркер множественного числа в П-1 регулярно выражает согласование по числу с синтаксическим субъектом переходного глагола:

(16)	Двухвалентные глаголы Эргативного Спряжения	
	а. два партиципанта	б. один партиципанта
	8 7 6 4 0	8 7 6 4 0
	<i>[du]-tukun-alk-a-kit</i>	<i>[du]-tukun-bu/k-a-kit</i>
	"он расчесывает его"	"он расчесывается"
	8 7 6 4 0	8 7 6 4 0
	<i>da-tukun-ik-a-kit</i>	<i>da-tukun-bu/k-a-kit</i>
	"она расчесывает ее"	"она расчесывается"
	8 7 6 4 0 -1	8 7 6 4 0 -1
	<i>[du]-tukun-ah/ʉ/k-a-kit-n</i>	<i>[du]-tukun-bu/k-a-kit-n</i>
	"они расчесывают их"	"они расчесывают себя/друг друга"

Кореферентные абсолютивные маркеры также используются для обязательной двойной маркировки субъекта в одном непродуктивном спряжении (см. раздел 4.3).

**4.2.2. Псевдоактантные подтипы Эргативного Спряжения.** Эргативное Спряжение имеет несколько непродуктивных (или малопродуктивных) псевдоактантных подтипов. Большинство из них строится при помощи псевдоактантного /b/ в П3, как бы указы-

вающего на неодоушевленного партиципанта и обязательно присутствующего независимо от того, стоит ли соответствующий ему аргумент в глагольной фразе или нет. В таких случаях нужно признать /b/ в ПЗ чисто деривационным элементом, а не частью реальной актантной системы. Здесь остановимся лишь на нескольких характерных примерах, где /b/ похоже на реальный актантный маркер, но не является им на самом деле.

От значительного количества двухвалентных глаголов Активного Спряжения можно образовать глаголы Эргативного Спряжения при включении псевдоактантного /b/ в ПЗ.

(17)	Активное Спряжение	Инструментальный подтип Эрг. Спр.
	8 4 0	8 6 5 4 3 0
	<i>dʃil-i-(j)-taŋ</i>	<i>dʃil-uʔk-d-a-b-taŋ (su:l-as)</i>
	"я тащу ее"	"я тащу ее (на чем-то, напр. на нарте)"
	8 4 0	8 6 5 4 3 0
	<i>di-b-taŋ</i>	<i>dʃil-ulk-d-a-b-taŋ (su:l-as)</i>
	"я тащу это"	"я тащу это (на чем-то, напр. на нарте)"
	8 1 0 -1	8 7 6 4 3 0 -1
	<i>du-dʃil-tiŋ-in</i>	<i>dʃu-usʔn-balk-a-b-tiŋ-in</i>
	"они бьют меня"	"они бьют меня (каким-то предметом)"

Маркер /b/ в ПЗ иногда соотносится с аргументом в совместно-орудийном падеже, но его присутствие обязательно и не зависит от наличия такого слова в глагольной фразе. Поэтому это /b/ не может считаться подлинным актантным показателем. В Эргативном Спряжении имеется несколько подтипов, характеризующих присутствие псевдоактантного /b/ в ПЗ. В одном таком подтипе (который можно назвать псевдоинструментальным) присутствие /b/ в ПЗ нельзя отождествлять на синхронном уровне ни с какой семантической ролью или случайным синтаксическим аргументом:

(18)	8 6 3 0	8 6 3 0
	<i>[du]-boʔk-b(i)-taŋ</i>	<i>[du]-balt-b-es</i>
	"он обвенчает меня"	"он рисует меня"
	8 7 6 4 3 0	8 7 6 4 3 0 -1
	<i>dʃu-ej-balk-a-b-daŋ</i>	<i>dʃu-ej-balt-a-b-it-n</i>
	"он бросит меня"	"они меня не тронут"

Во всех этих глаголах морфема /b/ явно связана этимологически с идеей неактивного участника в ситуации ("обвенчать чем-то", "рисовать чем-то"), но в совр. к.я. он уже стал обязательным деривационным элементом в некоторых глаголах, тогда как в других, для которых также логически приемлема мысль об инструменте, он никогда не появляется. Это псевдоактантное /b/ чем-то напоминает деривационный элемент *ся* в таких русских глаголах как *смеяться*, *бояться* в сравнении с *хохотать*, *нервничать* и т.п.

В одной подгруппе Эргативного Спряжения псевдоактантное /b/ появляется в структуре непереходных глаголов, которые обозначают разные произвольные действия или состояния:

(19)	6 3 0	6 4 3 0	6 3 0	6 3 0
	<i>balt(i)-b-git</i>	<i>balk-a-b-de</i>	<i>boʔk-b(i)-qut</i>	<i>boʔk-b-un</i>
	"я чую"	"я слышу"	"падаю"	"я поскользнусь"
			обморок"	

В таких глаголах, которые можно назвать "квазиинверсивным" подтипом Эргативного Спряжения, морфема /b/ явно связана в диахронном плане с идеей инактивного каузатора действия. Однако в современном к.я. /b/ присутствует обязательно во всех словоформах данных глаголов, вне зависимости от того, согласуется ли эта морфема с

реальным именованным аргументом или нет. В случаях, где логический объект представлен одушевленным существительным, маркер /b/ остается неизменным, что указывает как на псевдоактантность /b/, так и на синтаксическую непереходность данных глаголов: *ukdaŋal bakabde* "я слышу тебя" (букв. 'мне слышно от тебя'), *buŋnaŋal akabde* "он слышит их" (букв. 'ему слышно от них') и т.д.

Интересно, что в одном переходном глаголе с эргативным актантным распределением, аргумент, соответствующий логическому объекту, стоит в дательном, а не в абсолютивном падеже:

- (20) 8 6 3 0  
*Ad budaŋa d[i]-al-n-b-o*  
 "я(абс.) ему (дат.) даю (часто)"

Поскольку этот глагол также содержит /b/ в П3, представляется возможным приписать абсолютивной серии в П6 семантическую роль реципиента и маркеру /b/ в П3 роль пациенса. Так делается в работе [Решетников, Старостин 1995], где данная серия названа "датель". Однако маркер /b/ в таких глаголах – псевдоактантный, поскольку он не может заменяться другими маркерами инактивной серии. Такую "дательную" функцию серия П6 выполняет довольно редко, да и далеко не во всех случаях, где логически можно было бы этого ожидать. В этой связи весьма примечателен следующий глагол, в котором реципиент (семантическое косвенное дополнение) оформляется инактивной, а не абсолютивной ("дательной" по Решетникову и Старостину) серией:

- (21) 8 3 1 0                      8 4 3 0                      8 3 1 0  
*[du]-b(i)-d[i]-aq /bidaŋ/*      *d[i]-a-b-aq /dabaŋ/*                      *[ku]-b(i)-da/ŋ-aq /bidaŋaq/*  
 "он мне даст"                      "я ему дам"                      "ты нам дашь"

Этот глагол скорее всего следует интерпретировать как единичный пример инструментального подтипа Активного Спряжения, так как маркер /b/ в нем выступает как псевдоактантный и не может кодировать всю гамму логически возможных партиципатов в роли "даваемого объекта" (т.е. его морфемной структуре лучше бы подходил русский перевод типа: "он снабжает меня (чем-то)" и т.д.).

Несмотря на наличие псевдоактантного /b/ в значительном количестве глаголов с участием серии П6, все рассмотренные выше примеры с этой серией принадлежат Эргативному Спряжению. Что касается актантной системы к.я. в целом, маркеры серий П6 намного целесообразнее интерпретировать как выполняющие абсолютивную функцию при Эргативном Спряжении, поскольку они всегда соотносятся или с логическим объектом, или непереходным субъектом, и только иногда логически соотносимы с идеей косвенного дополнения или логического реципиента.

Наконец, интересно сравнить псевдоагентивный подтип Эргативного Спряжения с идентичным подтипом Активного Спряжения, рассмотренным выше в разделе 4.1.3:

- (22) Эргативное Спряжение                      Активное Спряжение  
 8 7 6 0                      8 7/5 1 0  
*da-sullej-holk-(s)-a*                      *da-sullej/a/q(i)-di-t*  
 "я краснею"                      "я краснею"

Образование псевдоагентивных глаголов в обоих спряжениях является продуктивным в совр. к.я. Невозможность семантического истолкования функционального различия между сериями П6 и П4-3-1 в таких глаголах лишний раз доказывает общую словообразовательную функцию выбора актантных серий в кетской глагольной системе.

**4.3. Непродуктивные актантные спряжения.** Не все глаголы к.я. входят в два вышеописанных спряжения, даже если не брать во внимание присутствующие в них

псевдоактантные показатели. Существуют еще три, менее продуктивных актантных спряжения, для которых реальные актантные отношения не передаются ни ролевой системой (как в Активном Спряжении), ни эргативно-абсолютивным распределением (как при Эргативном Спряжении), а регулируются иными отношениями между реальными аргументами глагольной фразы и их соответствующими актантными показателями. Эти спряжения назовем: Квазиэргативное, Квазипациенсное и Посессивное. Первые два спряжения отличаются обязательной двойной маркировкой синтаксического субъекта; в третьем – субъект маркируется именными (субстантивными) притяжательными приставками, а не глагольными актантными сериями.

**4.3.1. Квазиэргативное Спряжение.** В довольно большой, но в основном непродуктивной группе глаголов грамматический субъект обязательно вызывает двойную маркировку как агентивными (П8), так и абсолютивными (П6) сериями, причем маркеры абсолютивной серии выступают в кореферентной форме. Грамматический объект, когда он имеется, маркируется серией П4-3-1. Поскольку данное спряжение обязательно пользуется обеими характерными для Эргативного Спряжения сериями (П8 и П6) в рефлексивном распределении, мы назвали его Квазиэргативным, хотя реальные актантные соотношения в нем ближе всего соответствуют номинативному строю:

Таблица 5

**Актантные отношения Квазиэргативного Спряжения**

Роль:	(не имеет самостоятельного значения)	
Серия:	8/-1 + 6	4/3/1
Аргумент:	субъект	объект (редко)

Большинство квазиэргативных глаголов одновалентные (непереходные). Присутствие в них лишнего абсолютивного маркера этимологически связано, по-видимому, с устранением роли пациенса (то есть, соответствует образованию так называемого "среднего залога"). Но поскольку далеко не все глаголы, которым можно логически приписать "среднезалоговое" значение, требуют двойной маркировки субъекта, то представляется более целесообразным говорить о деривационном актантном спряжении, нежели о каком-либо подлинном противопоставлении грамматических залогов, которые на самом деле совершенно отсутствуют в к.я. Вот примеры этого спряжения:

(23) Неperеходные глаголы Квазиэргативного Спряжения

8	6	5	4	0	8	6	4	0	8	6	0	
[du]-bu/n-t-a(j)-tiŋ					da-bu/t-[a]-ok				[di]-ba/n-(s)-(i)kil			
"он сделает что-то ему" <sup>11</sup>					"она вздрогнет"				"я вздрогну"			

Квазиэргативное Спряжение имеет псевдоинструментальный подтип с обязательным наличием псевдоактантного /b/ в П3:

(24)

8	6	4	3	0	8	6	4	3	2	0
[du]-bu/k-a-b-a					[du]-bu/k-o-b-[i]l-a					
"он хромает"					"он хромал"					

<sup>11</sup> Примечательно, что в глаголах этого спряжения логический реципиент действия чаще всего кодируется серией П4-3-1, а не так называемой "дативной" (по-нашему, абсолютивной) серией в П6.

Единственным продуктивным словообразовательным процессом, связанным с двойной маркировкой субъекта в П8 и П6, является деривация некоторых глаголов звучания:

- (25)            8     7     6     0            8     7     6     0  
                   *[di]-sibed/lej-bolk-(s)-a*        *[ku]-sibed/lej-kulk-(s)-a*  
                   "я шепчу"                            "ты шепчешь"

В отличие от непереходных глаголов Квазиэргативного Спряжения, переходные глаголы с двойной маркировкой субъекта в П8 и П6 встречаются крайне редко:

- (26)            Переходные глаголы Квазиэргативного Спряжения  
                   8   6 3 0                    8   6 1 0                    8   6 1 0  
                   *da-bu/k-b-it*                    *da-bu/k-di-qos*                    *[di]-balt-ku-daq*  
                   "она тащит это"                    "она уведет меня"                    "я вытащу тебя"

Все известные примеры переходных квазиэргативных глаголов – глаголы движения, что дает повод приписать абсолютной серии здесь комитативное или рефлексивно-инструментальное значения типа 'я тащу тебя с собой / на себе/ своими усилиями' и т.п. В диахронном плане этот вывод вполне может соответствовать действительности, но в совр. к.я. большинство переходных глаголов движения выявляют иные актантные отношения, что говорит в пользу чисто деривационной интерпретации использования плеонастического субъектного маркера в данной группе глаголов.

**4.3.2. Квазипациенсное Спряжение.** В другом спряжении с обязательной плеонастической маркировкой грамматического субъекта актантные отношения выявляют своеобразное смешение номинативного строя с активным. Кодирование субъекта повторяет Активное Спряжение (П8 для активных, П3 для неактивных субъектов), но с той разницей, что соответствующий кореферентный маркер обязательно присутствует в П1. Поскольку этот маркер как бы кодирует нулевой пациенс, устранив кодирование настоящего пациенса в неактивной серии, мы назвали данный тип "квазипациенсным":

Таблица 6

**Актантные отношения Квазипациенсного Спряжения**

Роль:	активность/инактивность (не имеет значения)	
Серия:	8+1 3+1	6
Аргумент:	субъект	объект (редко)

Во всех квазипациенсных глаголах исключается согласование по числу в П-1, что отличает данный тип от всех остальных спряжений, так как даже в обычных рефлексивных формах Активного Спряжения, также как при двойной маркировке субъекта у Псевдоэргативного Спряжения, П-1 регулярно выражает согласование с мн.ч. активного одуш. субъекта:

- |      |   |                             |
|------|---|-----------------------------|
| (27) | а. Рефлексивные формы Активного Спряжения | б. Квазипациенсные глаголы  |
|      | 8 7-5 4 1 0-1                             | 8 7-5 4 1 0                 |
|      | <i>d[i]-us/q-a-da/η-da-n</i>              | <i>d[i]-us/q-a-da/η-dij</i> |
|      | "мы согреваем себя/друг друга"            | "мы греемся"                |
|      | 8 7 4 1 0 -1                              | 8 7 5 4 1 0                 |
|      | <i>d[i]-ul-a-da/η-kaη-in</i>              | <i>d[i]-ul-d-a-da/η-kaη</i> |
|      | "мы моем себя/друг друга"                 | "мы умываемся"              |

Г.К. Вернер [Werner 1997: 196–203] правильно называет глаголы во второй колонке "бенефактивными", или "выражающими субъектную версию". Однако противопоставление "бенефактивных" и "небенефактивных" глаголов в совр. к.я. является условной и словообразовательной чертой глагольной системы к.я., и такие пары, как указанные выше, на самом деле довольно малочисленны. Двойную маркировку субъекта при помощи П8 (или П3) и П1 нельзя описать как грамматическое явление. Вот несколько примеров переходных и непереходных глаголов Квазипациенсного Спряжения, в которых присутствие второго маркера субъекта является обязательным (как частица *ся* в глаголах типа *бояться*) и не составляет никакого контраста с "небенефактивными" формами:

- (28) Глаголы Квазипациенсного Спряжения
- а. Непереходные с агентивным субъектом (П8+1)
- |                             |                                |                        |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 8 7 5 4 1 0                 | 8 7 1 0                        | 8 4 1 0                |
| <i>d[i]-ik-d-a-d[i]-daq</i> | <i>d[i]-ellin-(i)-d[i]-bet</i> | <i>d[i]-a-d[i]-dun</i> |
| "я схожу на берег"          | "я дышу"                       | "я крикну"             |
- б. Непереходные с неодушевленным субъектом (П3 + 1 или 0+1)
- |                     |                         |                          |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| 5 1 0               | 7 3 1 0                 | 4 3 1 0                  |
| <i>(bin)-b-a-ta</i> | <i>un-ø-[a]-i /unil</i> | <i>a-b-[a]-un /abun/</i> |
| "это слышится"      | "это погашено"          | "это (сеть) поставлено"  |
- с. Переходные (П8+6+1)
- |                         |                           |                                    |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 8 6 1 0                 | 8 6 1 0                   | 8 6 5 4 1 0                        |
| <i>d[u]-uk-(s)-a-qa</i> | <i>d[u]-uk-(s)-a/η-qa</i> | <i>[du]-bol-k-t-a-(j)-a/η-quit</i> |
| "он продает это"        | "они продают это"         | "они уносят меня"                  |

Интересно, что в последнем примере, мы имеем дело с переходным глаголом движения, в котором логический объект выражен абсолютивной серией. Если настаивать на этимологической интерпретации актантных отношений в глаголах с плеонастической маркировкой субъекта, то нужно было бы перевести форму /*dboktajanquit*/ "они уносят меня" дословно как "они уносят себя со мной", тогда как транзитивные глаголы движения Квазиэргативного Спряжения пользуются совершенно противоположным распределением актантных серий: /*dbokaqos*/ "уведу его с собой", а не "уведу себя с ним". Все это лишний раз доказывает чисто словообразовательный (а не словоизменительный) характер выбора актантных серий в глагольной системе совр. к.я.

Переходные глаголы с квазипациенсным типом двойной маркировки субъекта (как и с квазиэргативным) очень малочисленны, а непереходные глаголы встречаются довольно часто ввиду использования кореферентного маркера П1 во многих случаях образования деагентивных лексем от глаголов Активного Спряжения с неодушевленным пациенсом:

- (29) а. Двухвалентные формы с неодуш. пациенсом (Активное Спряжение)
- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 8 5 4 3 0              | 8 4 3 0            |
| <i>[di]-k-a-b-(i)t</i> | <i>d[i]-a-b-do</i> |
| "я разорву это"        | "стригу это"       |
- б. Деагентивные глаголы с неодуш. логич. субъектом (Квазипациенсное Спряжение)
- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 5 4 3 1 0          | 4 3 1 0          |
| <i>k-a-b-a-tij</i> | <i>a-b-a-do</i>  |
| "это разорвано"    | "это построжено" |

В этой связи важно подчеркнуть, что образование деагентивных форм в к.я. носит явно словообразовательный характер, и смену актантных серий часто сопровождает изменение базисной морфемы в П0 (см. [Werner 1997: 214–216]). Это отличает к.я. коренным образом от языков с чисто грамматическим выбором актантных пока-

зателей, в которых пассивные, антипассивные (деэргативные) или деагентивные трансформации являются чисто синтаксическими процессами.

**4.3.3. Посессивное Спряжение.** В небольшой, но продуктивной группе непереходных глаголов грамматический субъект кодируется не морфемами глагольного темплейта, а притяжательными приставками именных парадигм.

Таблица 7

**Актантные отношения Посессивного Спряжения**

Роль:	(не имеет самостоятельного значения)
Серия:	(именные (субстантивные) притяжательные приставки)
Аргумент:	субъект

Известно, что ни один глагол этого спряжения не передает подлинного посессивного значения. Вот несколько примеров:

(30)	POSS 7 0	POSS 7 0
	<i>[ab]-lak/lej-ges</i>	<i>na-lak/lej-ges</i>
	"я хлопаю в ладоши"	"мы/вы/они хлопают в ладоши"

В одном подтипе Посессивного Спряжения обязательно присутствует псевдоактантное /b/ в ПЗ вместе с кореферентным /a/ в П1. Все глаголы данной группы обозначают производство звуков и этимологически соответствуют образцу "чей-то звук издается" (см. [Werner 1997: 278]):

(31)	POSS 7 3 1 0	POSS 7 3 1 0
	<i>[ab]-kutol/lej-b-a-ta</i>	<i>na-kutol/lej-b-a-ta</i>
	"я свистну (мой свист слышится)"	"мы/вы/они свистнут"

Хотя наличие морфем /b/ в ПЗ и /a/ в П1 явно связано этимологически с инактивным актантом (ср. глагол Квазипациенсного Спряжения *binbata* "это слышится"), в совр. к.я. эти маркеры являются пустыми деривационными элементами, неспособными выражать согласование с подлинными аргументами в глагольной фразе.

**4.3.4. Аномальные актантные комбинации.** Помимо пяти рассмотренных выше актантных спряжений, в к.я. имеются еще некоторые глаголы, которые выявляют редкие или даже уникальные актантные соотношения. Каждый из этих случаев в сущности представляет собой отдельное актантное спряжение. Здесь мы рассмотрим только некоторых из них.

В нескольких глаголах, обозначающих стихийные события, актантные показатели вообще отсутствуют, так как логический субъект инкорпорирован в П0 или П7:

(32)	5 0	5 0	7 4 0	7 4 0
	<i>(bin)-[k]-(s)-(i)bej</i>	<i>(bin)-[k]-(s)-(i)qan</i>	<i>ul-a-ta</i>	<i>bed-a-ta</i>
	"дует (о ветре)"	"течет (о воде)"	"идет дождь"	"идет снег"

Существование безактантных глаголов наводит на мысль, что сложной актантной системе к.я. предшествовало состояние языка, где вообще отсутствовали внутриглагольные актантные показатели, и что наблюдающиеся в совр. к.я. разные деривационные способы включения актантных серий в глагол постепенно устанавливались позднее под влиянием общего (и возможно исконного) темплатического характера глагольного формообразования.

Наконец, приведем один единичный глагол, который кодирует логический субъект дважды в П6 и П1, но не в П8, при появлении псевдоактантного /b/ в ПЗ. Причем эта

аномальная комбинация актантных серий появляется только в претерите, а в настоящее-будущем времени данный глагол принадлежит Эргативному Спряжению.

(33)	а. Аномальный актантный тип	б. Инверсивный подтип Эргативного Спряжения
	7 6 3 2 1 0	7 6 3 0
	<i>ej-balk-b-in-dī-qus</i>	<i>ej-balk-b-(i)qus</i>
	"я вскочил"	"я вскочу"

В к.я. имеются и другие глагольные лексемы с аномальными актантными комбинациями или с одним спряжением в претерите, а другим в настоящее-будущем (см. [Werner 1997: 277–287]). Однако отдельно рассматривать каждый из них здесь не требуется, чтобы доказать деривационную мотивацию выбора актантных серий в глагольной системе современного кетского языка.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные нами актантные спряжения ярко иллюстрируют общий темплатический характер образования финитных форм глагола в к.я. Подлинно парадигматические элементы глагола – время, наклонение и согласование с логическим субъектом и объектом по лицу, классу и числу – не имеют своей самостоятельной морфологической зоны в словоформе и поэтому паразитируют почти по всей деривационной зоне. Весьма показательно в этой связи сравнить актантные спряжения в к.я. с тематическими спряжениями или склонениями в индоевропейских языках. Во всех этих случаях мы имеем дело с лексическими подгруппами парадигматических категорий. В русском языке, например, принадлежность того или иного глагола к 1 или 2 спряжению, также как и в случае с кетскими актантными спряжениями, является словообразовательной идиосинক্রазией, объяснимой лишь в диахронном плане, хотя в современном русском языке тематические гласные *-и-* или *-е-* продуктивно участвуют при выражении грамматических значений. То же самое можно сказать относительно принадлежности того или иного существительного к одному из пяти склонений в латинском языке. Однако во всех спряжениях русского глагола и во всех склонениях латинского существительного грамматические значения у всех словоформ данной части речи выражаются морфемами, стоящими в одной определенной морфологической зоне (окончание в отличие от основы). Смешивание тематических и парадигматических элементов характеризует лексику индоевропейских языков лишь парадигматически и не влияет существенно на линейную (синтагматическую) структуру словоформы. Поэтому в индоевропейских, как и в большинстве синтетических языков мира, отсутствует то сложное синтагматическое переплетение лексических и грамматических элементов, какое наблюдается в финитных формах кетского глагола. В кетском же языке темплатический характер формообразования скрывает наличие парадигматических подклассов в глагольной лексике, поскольку чуть ли не вся глагольная словоформа служит одновременно и словообразовательной, и словоизменяющей морфологической зоной. Наконец, лексическое участие при выборе формальных способов выражения грамматических значений является продуктивной и стабильной чертой кетской глагольной системы, и нет оснований утверждать, что происходит какой-нибудь фундаментальный переход от одного грамматического строя к другому. Отсутствие единой грамматической типологии и есть главная типологическая черта уникальной глагольной системы кетского языка\*.

\* Автор признателен Т.И. Поротовой и другим сотрудникам Лаборатории языков народов Сибири Томского государственного педагогического университета. Автор особенно признателен Г.К. Вернеру и рецензенту статьи за ряд полезных замечаний и советов, большинство из которых было учтено. За оставшиеся недочеты ответственность несет только автор.



## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Белимов Э.И. 1991 – Кетский синтаксис. Новосибирск, 1991.
- Буторин С.С. 1995 – Описание морфологической структуры финитной глагольной словоформы кетского языка с использованием методики порядкового членения. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Новосибирск, 1995.
- Валл М.Н., Канакин И.А. 1988 – Категории глагола в кетском языке. Новосибирск, 1988.
- Валл М.Н., Канакин И.А. 1991 – Очерк фонологии и грамматики кетского языка. Новосибирск, 1991.
- Дульзон А.П. 1968 – Кетский язык. Томск, 1968.
- Гайер Р.С. 1980 – О значении видовременных показателей -л и -н в глаголе кетского языка // Языки и топонимия 7. Томск, 1980.
- Крейнович Е.А. 1968 – Глагол кетского языка. Л., 1968.
- Решетников К.Ю., Старостин Г.С. 1995 – Структура кетской глагольной словоформы // Кетский сборник: Лингвистика. М., 1995.
- Успенский Б.А. 1964 – Замечания по типологии кетского языка // Вопросы структуры языка. Москва, 1964.
- Шаблаев В.Г. 1984 – Функциональный анализ системы субъектно-объектных показателей кетского глагола (основные принципы дифференциации на базе простых глаголов с основой на конце слова). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1984.
- Comrie B. 1982 – Verb agreement in Ket // Folia Slavica, 5/1–3. Papers from the second conference on the non-Slavic languages of the USSR. Columbus, 1982.
- Kari J. 1990 – Ahtna Athabaskan dictionary. Fairbanks, 1990.
- Lazard G. 1998 – Actancy. Berlin; New York, 1998.
- Mithun M. 1991 – Agentive/active case marking and its motivation // Language. 1991. V. 67.
- Story G.L., Naish C.M. 1973 – Tlingit verb dictionary. Fairbanks, 1973.
- Stump G.T. 1997 – Template morphology and inflectional morphology // Yearbook of morphology 1996. Amsterdam, 1997.
- Vajda E.J. [в печати] – Morphotactic rules in Ket finite verb form creation // Вестник ТГПУ, Томск.
- Vajda E.J. [рук.] – Derivational classes of inflections in the Ket verb.
- Werner H. 1995 – Zur Typologie der Jenissej-Sprachen. Wiesbaden, 1995.
- Werner H. 1997 – Die ketische Sprache. Wiesbaden, 1997.
- Werner H. 1998 – Probleme der Wortbildung in den Jenissej-Sprachen. Munich, 1998.
- Young R.W., Morgan Sr.W. 1987 – The Navajo language: A grammar and colloquial dictionary. Albuquerque, 1987.

© 2000 г. Г.К. ВЕРНЕР

**СЛОЖНЫЕ АТРИБУТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
В ЕНИСЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ**

Как в свое время отметил А.П. Дульзон со ссылкой на работу М.А. Кастрена [Castrén 1858], в кетском языке в роли прилагательного может выступить любое существительное в основном или лишительном падеже, если оно поставлено перед другим существительным (сур. <sup>1</sup> *i's' a:je* "рыбный мешок", кур. *ta<sup>2</sup> u'l'* "соленая вода", кур. *tu'l'a s'ajnik* "медный чайник", сур. *ta<sup>2</sup>j kə'te* "холодная, морозная зима", югск. *χəgdı bej* "осенний ветер", бак. *s'i'l' ekη* "летние дни" и т.д.), равно как и всевозможные глагольные формы в позиции непосредственно перед существительным (кур. *kas'enimin kε<sup>2</sup>t* "приемыш" < *kas'enimin* "они его взяли" + *kε<sup>2</sup>t* "человек"; *bil əη bu'l' ärat* "распухшая нога болит" < *bu'l' bil'əη* "нога распухла" + *ärat* "болит" и т.д.) [Дульзон 1964: 89–90]. Если в первом случае можно говорить об обычных атрибутивных композитах (*i's' a:je* "рыбный мешок" < *i's'* "рыба" + *a:je* "мешок"; кур. *ta<sup>2</sup>ul' / ta<sup>2</sup>ul'* "соленая вода" < *ta<sup>2</sup>* "соль" + *u'l'* "вода" и т.д.), широко распространенных в енисейских языках, то в последнем представлены конструкции со сложными атрибутами, типологически сходными с так называемыми *komplexe Attribute*, по Й. Дени [Deny 1921: § 354] и Г. Дейтерсу [Deeters 1952: 47–62], в других языках, ср. турецк. *ol oturur jer* "место, где он сидит" (досл. "он-сидеть-место"); япон. *ashi no nagai hito* "длинноногий человек" (досл. "ноги-длинный-человек"). В енисейских языках встречаются самые разнообразные конструкции подобного типа, содержащие в большинстве случаев сложные прилагательные, причастия или финитные глагольные формы в атрибутивной функции. Из наиболее часто встречающихся образцов таких конструкций в кетском и югском языках можно привести следующие:

(1) прилагательное + существительное + существительное:

кет. *həl' -hut-ti'p*, югск. *fəl-fut-čip* "короткохвостая собака", досл. "короткий-хвост-собака" (ср. кет. *tu'r' ti'p həl' -hut-s'i*, югск. *tuda čip fəl-fut-si* "эта собака короткохвостая"); кет. *həl'aη-bul'aη-kε<sup>2</sup>t*, югск. *fəl'iη-bul'iη-kε<sup>2</sup>t* "коротконогий человек", досл. "короткие-ноги-человек" (ср. кет. *tu'r' kε<sup>2</sup>t həl'aη-bul'aη-s'i*, югск. *tu't kε<sup>2</sup>t fəl'iη-bul'iη-si* "этот человек коротконогий"); кет. *qä-kajga-ollas*, югск. *χε<sup>2</sup>-čič-ollas* "большеголовый олененок", досл. "большая-голова-олененок"; кет. *qεη-kajgen'-ollasn*, югск. *χεη-čl'η-ollasin* "большеголовые оленията", досл. "большие-голова-оленията" (ср. кет. *ollas qä-kajga-s'*, югск. *ollas χε<sup>2</sup>-čič-si* "олененок большеголовый"; кет. *ollasn qεη-kajgen'-s'in*, югск. *ollasin χεη-čl'η-sin* "оленията большеголовые");

<sup>1</sup> Сокращения: бак. – говор Бакланихи, кел. – говор Келлога, кет. – кетский язык, кур. – говор Курейки, скет. – севернокетский, сур. – говор Сургутихи, чук. – чукотский язык, югск. – югский (сымский), юкет. – южнокетский.

(2) числительное + существительное + существительное:

кет. *qus'-s'i'l'-da:n'*, югск. *χus-sir-daxin* "однолетняя трава", досл. "одно-лето-трава" (ср. кет. *tu're da:n' qus'-s'il'-s'i*, югск. *tuda daxin χus-sir-si* "эта трава одно-летняя"); кет. *in-qon-bəgdəm*, югск. *in-χon-bəgdəm* "двухствольное ружье", досл. "два-рта-ружье" (ср. кет. *tu're bəgdəm in-qon-s'*, югск. *tuda bəgdəm in-χon-si* "это ружье двухствольное", досл. "с двумя ртами"); кет. *də<sup>3</sup>η-s'ikη-ti'p*, югск. *də<sup>3</sup>η-sikη-čip* "трехгодовалая собака", досл. "три-года-собака" (ср. кет. *tu'r' ti'p də<sup>3</sup>η-s'ikη-s'i*, югск. *tuda čip də<sup>3</sup>η-sikη-si* "эта собака трехгодовалая"); кет. *ki-kilogram-ti's'*, югск. *ki<sup>2</sup>-kilogram-čis'* "камень весом сто килограмм", досл. "сто-килограмм-камень" (ср. кет. *tu're ti's' ki-kilo-gram-s'*, югск. *tuda čis' ki<sup>2</sup>-kilogram-si* "этот камень стокилограммовый");

(3) наречие + причастие + существительное:

кет. *aqta-dēs'tij-kljket*, югск. *aχta-destə-kljket* "хорошо стреляющий охотник" (ср. кет. *tu'r' kljket aqta-dēs'tij-s'*, югск. *tu't kljket aχta-destə-si* "этот охотник хорошо стреляющий"); кет. *dlqte-l'əvet-kē<sup>3</sup>t*, югск. *dlχti-rəbət-kē<sup>3</sup>t* "быстро работающий человек" (ср. кет. *tu'r' kē<sup>3</sup>t dlqte-l'əvet-s'*, югск. *tu't kē<sup>3</sup>t dlχti-rəbət-si* "этот человек быстро работающий");

(4) существительное + послелог + существительное:

кет. *qo-t-hitiγa-kē<sup>3</sup>t* "подо льдом (находящийся) человек", досл. "льда-под-человек" (ср. кет. *tu'r' kē<sup>3</sup>t qo-t-hitiγa-s'* "этот человек подо льдом"; *qo* "лед", род. пад. *qo-t*); кет. *l'am-d-hitka-i:t* "под столом (находящийся) чуман (емкость из бересты)", досл. "стола-под-чуман" (ср. кет. *tu're i:t l'am-d-hitka-s'* "этот чуман под столом"); кет. *aj-t-hijga-na<sup>3</sup>n'* "в мешке (находящийся) хлеб", досл. "мешка-нутре-хлеб" (ср. кет. *tu're na<sup>3</sup>n' aj-t-hijga-s'* "этот хлеб в мешке"); юкет. *haj-da-iti'l'ga-iηGus'* "возле кедр (находящийся) дом", досл. "кедра-возле-дом" (ср. юкет. *tu're iηGus' haj-da-iti'l'ga-s'* "этот дом возле кедр");

(5) существительное + существительное + существительное:

кет. *qəl'ep-hlηn-kē<sup>3</sup>t* "однорукий человек", досл. "половина-рука-человек" (ср. кет. *tu'r' kē<sup>3</sup>t qəl'ep-hlηn-s'* "этот человек однорукий"); югск. *χəlap-des-kē<sup>3</sup>t* "одноглазый человек", досл. "половина-глаз-человек" (ср. югск. *tu't kē<sup>3</sup>t χəlap-des-si* "этот человек одноглазый"); югск. *ur-baη-ba<sup>3</sup>η* "болотистое место", досл. "вода-земля-земля" (ср. югск. *tuda ba<sup>3</sup>η ur-baη-si* "это место болотистое");

(6) существительное + причастие + существительное:

кет. *bək-l'aη-a<sup>3</sup>q < bək-il'aη-a<sup>3</sup>q* "горелые дрова", досл. "огонь-поеденный-дрова"; югск. *bəg-d-iriη-a<sup>3</sup>χ* "горелые дрова", досл. "огня-поеденный-дрова" (ср. кет. *tu're a<sup>3</sup>q bək-l'aη-s'*, югск. *tuda a<sup>3</sup>χ bək-d-iriη-si* "эти дрова горелые");

(7) финитный глагол + существительное:

югск. *tu't itare-kē<sup>3</sup>t*, кет. *tu'r' ital'am-kē<sup>3</sup>t* "этот человек, (который) знает" / "этот знающий человек", досл. "этот он-знает-человек" (ср. югск. *bu itare-si*, кет. *bu ital'am-s'i* "он – знающий"); скет. *bən'-des'ə-γalein-kē<sup>3</sup>t* "человек, (которого) не звали", досл. "они-его-не-позвали-человек" (ср. скет. *bu'η bu bən' des'əγalein* "они его не позвали"); скет. *bən'-tl:l'beravej-dē<sup>3</sup>* "незамерзающее озеро", досл. "оно-незамерзает-озеро" (ср. скет. *ki'e dē<sup>3</sup> bən' tl:l'beravej* "это озеро не замерзает");

(8) наречие + финитный глагол + существительное:

юкет. *aqta-bimbavet-iηGus'* "хорошо построенный (сделанный) дом" / "дом, (кото-

рый) хорошо построен (сделан)", досл. "хорошо-это-сделано-дом" (ср. юкет. *tur'e iṅGus' aqta bimbavet* "этот дом хорошо сделан"); *i'nam-tłtajaγit-i's'* "давно засоленая рыба" / "рыба, (которая) давно засолена", досл. "давно-засолено-рыба" (ср. юкет. *tur'e i's' tłtajaγit* "эта рыба засолена");

(9) существительное + послелог + финитн. глагол + существительное:

юкет. *dil'tij-d-dəγot-bimbavet-ba'γ* "бревно, (которое) сделано как обласок" / "обласком сделанное бревно", досл. "для обласка сделано-это-бревню" (ср. юкет. *tur'e dil'tij qo't bimbavet* "этот обласок уже сделан"); сур. *kərsək(t)-dəγot bimbajevet-ti's'* "наподобие горшка сделанный камень" [Дульзон 1968: 94], досл. "для горшка сделано-это-камень" (ср. сур. *kərsək bimbajevet* "горшок сделан").

Что касается конструкций с финитными глагольными формами в атрибутивной функции, то они, как можно заключить уже по некоторым вышеприведенным переводам, замещают в енисейских языках определительные предложения, напоминающие явления типа япон. *kuru hito* "лицо, которое придет", досл. "придет лицо"; *kita hito* "лицо, которое пришло", досл. "пришло лицо" [Jacobi 1897: 27]. Правда, в отдельных случаях определительные предложения в кетском вводятся с помощью местоименных слов *as' / as'es'* "какой" и *qo'r', qər'e, qən'e* "который, которая, которые": кет. *Bu ker'as' uγn', as'es' qər'es' di'mbes'*. "Она ушла с человеком, который (какой) вчера пришел"; *Ollas diγn'bes'in, as'es' bu'η l'es'ka dən'hλγn*. "Они привели олененка, которого (какого) они в лесу нашли", *Un'andiqta i's' bən's'aṅ, a kλjgan (us'aṅ), qər'e ba:t bən' dbil'*. "В сети не было рыбы, а головы (были), которые старик не ел"; *Bil'de de'η kedda qəṅ itaṅl'am, qo'r' turə di'mbes'*. "Все люди знают человека, вот этого, который пришел"; *Qi'm, qər'e uγaṅa bat dasa:nil'het, tur'e dai'mbes'*. "Женщина эта пришла, о которой я тебе говорил". Но подобные случаи для кетского в целом нетипичны, и язык, как правило, использует атрибутивные конструкции с финитными глагольными формами: *Qər'es' atn (t)l'əverəl'betin baṅdiṅa, ke'it di'mbes'*. "К месту, на котором мы вчера работали, человек пришел" [Гришина 1981: 93], досл. "Вчера мы работали месту, человек пришел"; *Qər'es' daṅGej is'naṅa, dijaq*. "Схожу к рыбе, которую я вчера поймал" [Дульзон 1962: 23], досл. "Вчера я убил рыбам, пойду"; бак. *Qukdiṅ igde tabodaRen' s'a:s'*. "Реки, которые впадают в Енисей", досл. "В Енисей вниз падают реки"; *At ap dutoRət bis'ep ts'itejqajit*. "Я своего брата бужу, который спит", досл. "Я своего он спит брата бужу"; *At tkas'ənem aṅen bən' ital'em qəpt*. "Я поймал быка-оленья, который не приручен" [Дульзон 1968: 93–94; Валл, Канакин 1990: 67], досл. "Я поймал веревоч он не знает бык-оленья" и т.д.

Возможно, определительные предложения с местоименными словами типа вышеприведенных представляют собой позднюю инновацию, возникшую в результате кетско-русского билингвизма под воздействием русских речевых образцов; впрочем, и в предложениях с указанными местоименными словами может быть представлена атрибутивная конструкция с финитной глагольной формой (кет. *dəṅən'hλγn qəgdī qən'e əṅən de'η* "они нашли их, людей, которые осенью ушли", досл. "они нашли их, осенью которые ушли люди"), что тоже подтверждает инновационный характер определительных предложений в кетском языке. В типологическом отношении енисейские языки в целом напоминают в этом отношении языки с порядком слов SOV, в которых определение, даже если оно замещает собой определительное придаточное предложение, всегда предшествует определяемому существительному [Greenberg 1968: 107–109].

К атрибутивным конструкциям с финитными глагольными формами восходит и зависящая часть широко распространенных в кетском языке полипредикативных образо-

ваний со словом *baʔŋ* "место, местность, земля" или его падежными формами *baŋdiŋa* (датив), *baŋdita* (бенефактив), *baŋdiŋal* (аблатив), *baŋdiŋta* (адессив), используемыми в качестве скрепы, независимо от того, сохраняется ли локальное значение этого слова, или оно уже приобрело темпоральное значение [Гришина 1979: 18–21]: юкет. *Hissijdiŋa hiven' dijaq, ajti qəj tajga baʔŋ*. "Я еще не схожу в лес, где страшный медведь ходит" / "Я еще не схожу в лес на место, где страшный медведь ходит", досл. "Я еще не схожу в лес, страшный медведь ходит место"; *Ba:t dəl'daq baʔŋ, e'n aʔq dəl'aŋti:n*. "На месте, на котором старик жил, теперь деревья выросли", досл. "Старик жил место, деревья выросли"; *Bis'eŋ s'εʔn us'aŋbaŋga (baŋdiŋta), s'ɔ:ŋ deʔŋ duʔ davɛr'än'*. "Где олени есть, там люди дымокур (дым) кладут" / "В местности, в которой есть олени, люди дымокуры (дым) кладут", досл. "Где олени есть в местности, люди дымокуры кладут"; кел. *Bu tqaŋjaq iŋGus'diŋa, hu'a beʔj duɣaraq baʔŋ*. "Он вошел в дом, где живет его друг" [Гришина 1979: 19], досл. "Он вошел в дом, его друг живет место"; кел. *Kʌsaŋ dis'qoɣol'bet, i' r'atulɔraq baŋdiŋa*. "Я рыбачил на той стороне, пока солнце не зашло" [Гришина 1979: 21], досл. "Я рыбачил на той стороне, солнце зашло время / место" и т.д.

Как показывают вышеприведенные примеры к образцам №№ 1–6, в предикативном употреблении сложные прилагательные и причастия получают нейтральный в отношении лица и класса предикативный суффикс кет. *-s' / -s'i* (pl. *-s'in*), югск. *-si* (pl. *-sin*), который, впрочем, относится ко всему предшествующему сложному образованию, подчеркивая его монолитность как композита: кет. *taʔm-kljga-s'* "белоголовый" (*taʔm* "белый", *kljga* "голова"), югск. *fəmil'iŋ-ɣat-si* "мягкошерстный" (*fəmil'iŋ* "мягкий", *ɣa't* "шерсть"), кет. *bəl'aŋ-l'əniŋ-s'* "толстогубый" (*bəʔl'*, pl. *bəl'aŋ* "толстый"; *l'o'n*, pl. *l'əniŋ* "губа"), югск. *ugdi-əlɪn-si* "длинноносый" (*ugdi* "длинный", *əlɪn* "нос"), кет. *qä-kl'et-s'i* "крикун" (субстантивированная форма), досл. "с большим горлом" (*qä* "большой", *kl'et* "горло"), югск. *ɣeil'-battat-si* "широколищный" (*ɣeil'* "широкий", *battat* "лицо") и т.д. Правильность данного предположения подкрепляется тем, что в образованиях, в которых крайнюю правую позицию занимает существительное, перед предикативным суффиксом кет. *-s' / -s'i* (pl. *-s'in*), югск. *-si* (pl. *-sin*) может употребляться словообразовательный суффикс прилагательных кет. *-tu*, югск. *-čouŋ*, и в результате возникают параллельные формы, ср.: югск. *imda-iŋsi / imda-iŋčouŋ-si* "мелкозубый" (*imda* "маленький, мелкий", *iʰ:t*, pl. *iŋ* "зуб"), *fɪ:škej-ɣo-si / fɪ:škej-ɣo-čouŋ-si* "криворотый" (*fɪ:škej* "кривой", *ɣo* "рот"), кет. *dlqte-des'-s'i / dlqte-des'-tu-s'* "быстроглазый" (*dlqte* "быстро, быстрый", *de\*s'*, pl. *des'* "глаз"), кет. *ugde-klqte-s' / ugde-klq-te-tu-s'* "длинношей" (*ugde* "длинный", *klqte* "шея"). Любопытно, что такие параллельные формы могут в предикативном употреблении принимать не только вышеуказанный безличный нейтральный предикативный суффикс кет. *-s' / -s'i*, югск. *-si*, но и личные предикативные суффиксы. В качестве примера приведем следующие югские парадигмы со сложным прилагательным "мелкозубый":

1-е л. ед. ч.	<i>imda-iŋdiʔ</i>	<i>imda-iŋčouŋ-diʔ</i>
2-е л. ед. ч.	<i>imda-iŋguʔ</i>	<i>imda-iŋčouŋ-guʔ</i>
3-е л. ед. ч. (m)	<i>imda-iŋduʔ</i>	<i>imda-iŋčouŋ-duʔ</i>
3-е л. ед. ч. (f)	<i>imda-iŋdaʔ</i>	<i>imda-iŋčouŋ-daʔ</i>
1-е л. мн. ч.	<i>imda-iŋ-dʌ:ŋ</i>	<i>imda-iŋčouŋ-dʌ:ŋ</i>
2-е л. мн. ч.	<i>imda-iŋ-gʌ:ŋ</i>	<i>imda-iŋčouŋ-gʌ:ŋ</i>
3-е л. мн. ч.	<i>imda-iŋ-a:ŋ</i>	<i>imda-iŋčouŋ-a:ŋ</i>

Следует заметить, что существительные не могут в предикативном употреблении получать предикативные суффиксы [Werner 1997: 305–306]. Приведенные М.А. Кастреном [Castren 1858: 100–103] формы

<i>uob-di</i>	"я – отец"	<i>uob-daŋ</i>	"мы – отцы"
<i>uob-gu</i>	"ты – отец"	<i>uop-kaŋ</i>	"вы – отцы"
<i>uob-du</i>	"он – отец"	<i>uob-aŋ</i>	"они – отцы"

никто из современных информантов-кетов и информантов-югов не подтвердил, приводя лишь предложения типа *At o'p*. "Я – отец", *Bu o'p*. "Он – отец", *Ǿtn ohaŋ*. "Мы – отцы", *Bu'ŋ ohaŋ*. "Они – отцы" и т.д. В случае образования простых прилагательных от существительных способом транспозиции последние могут употребляться с безличным предикативным суффиксом кет. *-s' / -s'i*, югск. *-si*, напр., кет. *qim-s'* "женский" (ср. *qim* "женщина"), *l'am-s'* "плоский" (ср. *l'am* "доска"), *s'il'-s'* "летний" (ср. *s'il'* "лето"), югск. *si-si* "ночной" (ср. *si* "ночь"), *χəgdī-si* "осенний" (ср. *χəgdī* "осень"), но при их оформлении личными предикативными суффиксами они непременно получают словообразовательный суффикс прилагательных кет. *-tu*, югск. *-čouŋ*: кет. *qim-tu-du* "он женат", *qim-tu-gu* "ты женат", *qim-tu-di* "я женат" и т.д. (*qim* "женщина, жена"). В то же время личные предикативные суффиксы легко присоединяются к некоторым падежным формам существительных и местоимений, например, к формам лишительного падежа, локатива и адессива: кет. *bu qim-an-du* "он не женат" (*qim* "женщина", *qim-an* "без женщины"), *avaŋta-ŋaŋ* "вы у меня" (*at* "я", *avaŋta* форма адессива "у меня"), *qus'-ka-ŋu* "ты в чуме" (*qu's* "чум", *qus'-ka* форма локатива "в чуме"), юкет. *obdaŋte-ru* "он у отца" (*o'p* "отец", *obdaŋta* форма адессива "у отца"), *deŋnaŋt-am* "это у людей" (*de'ŋ* "люди", *deŋnaŋta* форма адессива "у людей").

Рассмотренные выше сложные атрибутивные конструкции в енисейских языках, с другой стороны, типологически напоминают соответствующие образования в чукотско-камчатских языках. В последних, а именно в чукотском языке, П.Я. Скорик, как известно, различал именные и глагольные инкорпорационные комплексы [Скорик 1961: 98–102], и то, что он писал по этому поводу, можно в равной мере отнести и к енисейским языкам. В них, как и в чукотском языке, в зависимости от включающего слова инкорпорационные комплексы могут выражать атрибутивные, обстоятельственные или объектные отношения. Глагольный инкорпорационный комплекс с инкорпорированным наречием всегда выражает обстоятельственные отношения как в чукотском, так и в енисейских языках, ср.:

чук. *t-i-veŋgav-i-rkin* "говорю", но: *t-i-majŋ-i-veŋgav-i-rkin* "громко говорю" (*veŋgav-i-k* "говорить", *ni-meŋ-ʔəv* "громко", "сильно"); *t-i-tejk-i-rkin* "делаю", *t-ʔomv-i-tajk-i-rkin* "крепко делаю" (*tejk-i-k* "делать", "изготавливать", *n-ʔomv-ʔov* "крепко");

кет. *di'-p-taŋ* "тащу это", *d-ʌl'a-p-taŋ* "я это наружу тащу" (*taŋ* "тащить", *ʌl'a* "наружу", *ʌl'ataŋ* "тащить наружу"); *da-bu-g-b-it* "она это несет", но: *da-aŋu-bu-g-b-it* "она это в лес (в сторону леса) несет" (*aŋu* "в сторону леса").

Инкорпорация существительного связана в чукотском с выражением объектных отношений в случае переходного глагола и обстоятельственных отношений в случае непереходного глагола:

чук. *t-i-pkir-i-rkin* "прихожу", *t-i-jara-pker-i-rkin* "домой прихожу" (*pikir-i-k* "приходить", основа *pikir / piker, pkir / pker*; *jara-ŋi* "дом", основа *jara*);

чук. *t-i-peŋ'a-rkin* "оставляю", *t-i-takečg-i-peŋ'a-rkin* "мясо оставляю" (*peŋ'a-k* "оставлять", основа *peŋa*; *tekičg-i-n* "мясо", основа *tekičg / takečg*).

Ситуация в енисейских языках сложнее: здесь инкорпорирована основа суще-

ствительного или местоимения (например, вопросительного местоимения *akus'* "что") в одних случаях вытесняет из переходной глагольной формы объектный показатель, и глагольная форма становится интранзитивной, ср.: кет. *at qu's' di-b-bet* "я чум делаю" (в форме *di-b-bet* аффикс *-b-* – объектный показатель вещного класса), но *at t-qu's'-s'ivet* "я чум делаю" ("я чумоделаю"); *at etn d-aŋ-s'ej* "я соболей добываю (убиваю)", *at etn d-aŋ-Gej* "я соболей добывал" (*-aŋ-* в формах *d-aŋ-s'ej*, *d-aŋ-Gej* – это объектный показатель 3-го лица, множ. числа, одуш. класса), но *at d-etn-Gej* "я добывал соболей" ("соболевал"); в других случаях при инкорпорировании существительного объектный показатель сохраняется, и глагольная форма остается транзитивной, инкорпорированный же компонент меняет семантику глагольного слова, указывая на вещество (материал), из которого что-то изготавливается, или на инструмент: кет. *at dɔ'n di-b-bet* "я нож делаю" – *at (d)-dɔn-s'ivet* "я нож делаю" ("я ножеделаю"), но *at (d)-dɔn-u-ks'ivet* "я нож из этого делаю", *at (d)-dɔn-u-n'bet* "я нож из этого сделал" (с сохранением в словоформе наряду с инкорпорированным компонентом *-dɔn-* также объектного показателя вещного класса *-u-*); кет. *bu at dɔnas' du-t-tet* "он меня ножом бьет", но *bu at (d)-don-ba-tet* "он меня ножом бьет (колет)" (с сохранением в словоформе объектного показателя 1-го лица ед. числа *-ba-*<sup>2</sup>).

В глагольном инкорпорационном комплексе могут при дальнейшем его осложнении наряду с объектными отношениями одновременно выражаться и атрибутивные. Это происходит тогда, когда в глагольный инкорпорационный комплекс помимо обозначающей прямой объект основы имени существительного включена еще какая-либо именная основа (качественная, предметная или нумеративная) [Скорик 1961: 102]: чук. *t-i-pet-i-takeĭg-i-pel'a-rkin* "старое мясо оставляю" (*n-i-pet-i-qen* "старый"); ср. кет. *at t-s'el'-Gej* "я добыл (убил) оленя", но *at t-naŋ-s'el'-Gej* "я важенку (олениху) добыл" (*s'el'* "олень", *haŋs'el'* "важенка", досл. "самка-олень"); *at t-s'ajdɔ-ɣavet* "я чай пью", но *at t-qɔ-nɔks'-s'ajdɔ-ɣavet* "я пью утренний чай" ("я завтракаю").

В енисейских языках все так называемые сложные глаголы представляют собой инкорпорационные комплексы, и, если исходить из максимальной порядковой модели глагольных словоформ [Werner 1997: 154–155], то можно, очевидно, различать лишь между историческими образованиями, которые сегодня воспринимаются как устоявшиеся стабильные сложные глагольные формы, и современными инкорпорационными глагольными комплексами<sup>3</sup>, которые могут быть заменены синонимичными свободными глагольными словосочетаниями (ср. кет. *at t-qu's'-s'ivet* / *at qu's' dibbet* "я чум делаю") и связаны, как полагал Е.А. Крейнович [Крейнович 1968; 1981], с актуальным членением предложения. По его мнению, в примерах типа *at qu's' dibbet* "я чум делаю" логическое ударение приходится на глагол, т.е. в данном примере на *dibbet* "делаю", а в инкорпорационном комплексе – на инкорпорированный объект, в данном примере на

<sup>2</sup> В зависимости от типа глагольного спряжения в кетском и югском в качестве объектного показателя 1-го лица ед. числа может появляться аффикс *-ba-* / *-bɔ-* (личные показатели группы Б) или *-di-* / *-t-* (личные показатели группы Д).

<sup>3</sup> В основе тех и других лежит рамка прерывной глагольной основы, которая состоит из корневых элементов нулевого порядка и порядков 12 и 13 в составе общей порядковой модели глагольных словоформ ( $R_3 + R_2 + \dots + R_1$ ):

$$\begin{array}{cccccccccccccccc}
 14 & 13 & 12 & 11 & 10 & 9 & 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & -1 & -2 & -3 \\
 S & + & R_3 & + & R_2 & + & \text{Der} & + & \text{Kau} & + & \text{Ver} & + & \text{S/O} & + & \text{Det} & + & \text{Per} & + & \text{T} & + & \text{I/O} & + & \text{A} & + & \text{Vcr/S/O} & + & \text{Imp} & + & \text{R}_1 & + & \text{Der} & + & \text{Num} & + & \text{BE}
 \end{array}$$

(S – субъект, Der – деривационный аффикс, Kau – каузативный аффикс, Ver – версионный аффикс, O – объект, Det – детерминатив, Per – аффикс пермансива, T – время, I – инструмент, A – аспект, Imp – императив, Num – число субъекта, BE – скрепа в полипредикативном предложении).

-*qus*'-, что, однако, оспаривается в диссертационной работе З.В. Максуновой [Максунова 1999: 15–18]. По ее мнению, в первом случае логическое ударение приходится не на *dibbet* "делаю", т.к. в таком случае исказился бы смысл всего высказывания ("делаю, а не ломаю чум"), а на прямой объект *qu<sup>2</sup>s*' "чум" как предполагаемый конечный результат совершаемого действия; во втором же случае оно, действительно, приходится на инкорпорированный компонент *-qus*'-, вытеснивший из глагольной формы объектный показатель *-b-*, но он выступает уже не как инкорпорированный прямой объект, а как элемент, уточняющий качественную характеристику действия – "чумоделание", а не "чумоломание".

Что касается именных инкорпорационных комплексов, в которых выражены своеобразные атрибутивные отношения, то, как отметил П.Я. Скорик, чаще всего в форму соответствующего имени существительного включается одна определяющая основа, хотя нередко можно встретить именные инкорпорационные комплексы с двумя, тремя, а в отдельных случаях – и с большим количеством включенных слов [Скорик 1961: 100]. Такая ситуация, впрочем, полностью соответствует и фактам енисейских языков. Сравним следующие примеры в чукотском и кетском языках:

чук. *ga-ŋelg-i-ma* "с ремнем" – *ga-tor-evl-i-ma* "с новым ремнем"; *ga-ri-pa-ma* "с молотом" – *ga-taŋ-majŋ-i-vikv-i-ri-pa-ma* "с хорошим большим каменным молотом" – *ga-ŋeran-tor-majŋ-i-vikv-i-ugde-ri-pa-ma* "с двумя новыми большими каменными молотами" [Скорик 1961: 100];

кет. *qaddoq-həl'aŋ-bul'aŋ-ass'en* "животные с очень короткими ногами" (*tuna ass'en qaddoq-həl'aŋ-bul'aŋ-s'in* "эти животные с очень короткими ногами"); *hлn'a-haj-da-itiil'ga-iŋGus* "дом рядом с маленьким кедром" (*tur'e iŋGus' hлn'a-haj-da-itiil'ga-s'* "этот дом рядом с маленьким кедром"); *s'in'-aj-t-hyjga-na'n* "(находящийся) в старом мешке хлеб" (*tur'e na'n s'in'-aj-t-hyjga-s'* "этот хлеб в старом мешке") и т.д.

Тем не менее, может возникнуть вопрос, действительно ли сложные атрибуты образуют в таких случаях вместе с определяемым именем существительным монолитное целое – именной инкорпорационный комплекс? Истолкование фактов енисейских языков, в частности, кетского и югского, в духе П.Я. Скорика подкрепляется тем, что всему именованному инкорпорационному комплексу может предшествовать possessивный личный префикс, образующий с определяемым именем существительным рамку инкорпорационного комплекса, внутри которой размещается определяющая часть: кет. *da-ugdeŋ-bul'aŋ-s'el* "его длинноногий олень", *na-həl-hut-ti'p* "их короткохвостая собака", *da-sin'-aj-t-hyjga-na'n* "его (находящийся) в старом мешке хлеб", *na-qaddoq-həl'aŋ-bul'aŋ-ass'en* "их очень коротконогие животные", *da-hлn'a-haj-da-itiil'ga-iŋGus* "его возле маленького кедра (находящийся) дом" и т.д. Правда, статус possessивных префиксов порой подвергался сомнению, их рассматривали как усеченные формы соответствующих possessивных местоимений, что в принципе тоже верно, но в отличие от местоимений possessивные префиксы могут выражать принадлежность и в сфере имен вещного класса типа кет. *d-ugde* "длина чего-то" (*ugde* "длинный", "длина"), *d-alla* "половина чего-то" (*alla, al* "половина"), *d-u'l* "черенок чего-то" (*u'l* "черенок") и т.д., тогда как possessивные местоимения кет. *ap* "мой", *uk* "твой", *buda* "его", *bud* "ее", *atna* "наш", *akŋa* "ваш", *buŋa* "их" могут выражать принадлежность только в сфере имен мужского и женского классов (possessивные местоимения представляют собой форму родительного падежа соответствующих личных местоимений, среди которых нет местоимения, замещающего имена вещного класса).



## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Валл М.Н., Канакин И.А. 1990 – Очерк фонологии и грамматики кетского языка. Новосибирск, 1990.
- Гришина Н.М. 1979 – Падежные показатели и служебные слова в структуре сложного предложения кетского языка: Автореф. дис. ... на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1979.
- Гришина Н.М. 1981 – Сложноподчиненные предложения // Сказки народов сибирского Севера. Вып. 4. Томск, 1981.
- Дульзон А.П. 1962 – Аффиксация как метод передачи грамматических значений. Лекция по общему языкознанию. Томск, 1962.
- Дульзон А.П. 1964 – Очерки по грамматике кетского языка. I. Томск, 1964.
- Дульзон А.П. 1968 – Кетский язык. Томск, 1968.
- Крейнович Е.А. 1968 – Глагол кетского языка. Л., 1968.
- Крейнович Е.А. 1981 – Об изучении актуального членения предложения в кетском языке // Лингвистические исследования. Грамматическая и лексическая семантика. М., 1981.
- Максунова З.В. 1999 – Словосложение в кетском языке (на материале среднекетского диалекта): Дис. ... на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Туруханск, 1999.
- Скорик П.Я. 1961 – Грамматика чукотского языка, ч. I. М.; Л., 1961.
- Castrén M.A. 1858 – Versuch einer jenessei-ostjakischen und kottischen Sprachlehre nebst Wörterverzeichnis aus den genannten Sprachen. SPb., 1858.
- Deeters Gerhard. 1952 – Komplexe Attribute und Possessivkomposita // IF. Bd. 60. B., 1952.
- Deny J. 1921 – Grammaire de la language turque. Paris, 1921.
- Greenberg J.H. 1968 – Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements // Universals of language. Cambridge (Mass.), 1968.
- Jacobi H. 1897 – Compositum und Nebensatz. Studien über die indogermanische Sprachentwicklung. Bonn, 1897.
- Werner H. 1997 – Die ketische Sprache // Tunguso-Sibirica. Bd. 3. Wiesbaden, 1997.

© 2000 г. В.Н. ПОПОВА

**АРЕАЛЬНО-РЕТРОГРЕССИВНЫЙ МЕТОД А.П. ДУЛЬЗОНА  
В ИССЛЕДОВАНИИ СУБСТРАТНОЙ ТОПОНИМИИ**

Представители Томской топонимической школы, основателем которой был профессор Андрей Петрович Дульзон, мой незабвенный учитель, широко используют разработанный им комплекс методов исследования (см., например [Дульзон 1959; 1964]). Для выявления субстратных топонимов особое значение приобретает ареально-ретрогрессивный метод, т.е. реконструкция (восстановление) древнего фонетико-морфологического облика топонима путем удаления его более поздних напластований: путь от известного к неизвестному. Например, река *Чусовая* на Урале: *Чу-со-ва-я*. В гидрониме могут быть выделены следующие компоненты:

**я** – манс. ‘река’, ср. названия притоков Северной Сосьвы в Ханты-Мансийском авт. округе *Янья, Усья, Ялбыня, Волья*; по левобережью реки Обь – река *Ворья* и озеро *Турья* [Мурзаев 1984: 645], на Алтае и Юге Сибири реки *Яя, Бия, Зоя, Буря* и др.;

**ва** – коми ‘сырой, мокрый’. В.И. Лыткин и Е.И. Гуляев [1970] приводят параллели с русск. *вода* и с восстанавливаемой индоевропейской формой *wed* ‘вода’; ср. названия рек: *Усьва* ‘падающая вода’, *Койва* ‘пенящаяся вода’, *Кырва* ‘текущая по увалу вода’, *Косьва* ‘река с мелями, перекатами, пересыхающая’, *Кушва, Сосьва, Лосьва, Кедва* [Мурзаев 1984: 109];

**чусо**, на наш взгляд, может делиться на *чу* + *со* (*со* = *су*), т.е. произошла замена одного лабиализованного гласного (*y*) другим (*o*), тюрк. *су* ‘вода, ручей, речка, озерко’ [Попова 1999: 190];

**чу** – самод. ‘река’; в русской адаптации нередко принимает форму *ча*. А.П. Дульзон считал ‘аринским по происхождению также *ю* – старое название Оби у чувлымских селькупов, которое восходит к *ч’у* (ср. тибет. *ч’у* ‘река’) и может быть сопоставлено с названием рек *Чу, Чуя*. Для аринов, очевидно, *Чуя, Катунь, Обь* была одна и та же река” [Дульзон 1962а: 58]. В связи с тибет. *чу* Э.М. Мурзаев [Мурзаев 1984: 619] упоминает тадж. *чуй* ‘ручей, канал’, кит. *чу* ‘канал’, *чуань* ‘проток, река’ и приводит названия рек *Ача, Биранча, Пача, Ича* в Западной Сибири (со ссылкой на И.А. Воробьеву [Воробьева 1973]); *Чуяпча* в Ошской обл., р. *Чу* на Тянь-Шане. Е. Койчубаев связывает подобные гидронимы с этнонимами *чуй, шуй* [Койчубаев 1974: 256]. На наш взгляд, этнонимы вторичны, первичны гидронимы в связи с их широкой представленностью на обширных территориях, ср. также *чул* ‘река’ в чувлымском, шорском, селькупском языках, ‘ручей, речка, горная речка’ у хакасов. Варианты *юл, джул, жул, шул* находим в гидронимах *Талды-Чул* в Туве, *Тулуюл* в Кемеровской обл., *Минжул* в Красноярском крае, *Чулуш, Чулча* на Алтае [Мурзаев 1984: 620]. Слова *ю, юг, юган*, обозначающие реку в финно-угорских языках, А.К. Матвеев [Матвеев 1962: 7] относит к древне-пермским. Г.Е. Корнилов [Корнилов 1964: 190] видит обширный ареал гидронимов с этим компонентом в Евразии и сопоставляет *ю, юг, юк, ёг, ёв, ёки, йогы, ёкка, юган, юшор, юкмес, йо* с гунно-булгаро-чувашским *йахан* ‘река, поток, проточная вода’, ср. [Мурзаев 1984: 640].

Множество фонетических вариантов гидроформанта *чу* свидетельствует об их различной языковой принадлежности, но их семантическая близость наводит на мысль об

отдаленном родстве языков, о чем неоднократно говорил А.П. Дульзон и даже предложил эту тему для очередной конференции, до которой он, к сожалению, не дожил.

По свидетельству Э.Г. Беккер [Беккер 1970: 8–10], селькупы (самодийцы) проживали на Алтае еще в XVIII в., и это нашло отражение в гидронимах с компонентами *кы/гы, би/бу, то/ту* ‘вода, река, озеро’. Следы этих названий обнаруживаются и в соседнем Казахстане, ср. название урочища *Курка* где *кур* ‘влажно, сыро’ в аринском диалекте кетского языка, а *кы/гы* – селькупское ‘река’ (*ка/га* – русская адаптация *кы*). Таким образом, *Курка* – ‘влажное урочище, где много речек’; название урочища и озера *Баркы* (*бар/бал* восходит к одному из языков урало-алтайской семьи III–II вв. до н.э. [Толстов 1943; 1947] и связано с понятием ‘вода’ + *кы*), т.е. ‘многоводное урочище, полноводное озеро’; название урочища *Камба* из *kam/kan* – др.-иран. ‘река’ + *ба* – самодийский гидронимический термин *бу*, который в результате тюркской и русской адаптации перешел в *ба*, – ‘водный источник в ложбине’; название урочища *Моман* – селькупские *ба/би/бу* в результате адаптации превращаются в *ма/мо* [Мурзаев 1984: 62] + *ман* – индоевропейское ‘река’: *Моман* – ‘влажное речное урочище’.

Дообскоугорский субстрат А.П. Дульзон называл палеосибирским. Он же выдвинул гипотезу о южной (южноуральской и североказахстанской) прародине угров. Эту мысль поддержал А.К. Матвеев, при этом оба автора считают, что угры соседствовали с иранцами. Вдоль Иртыша проходили кеты, оставившие многочисленные следы на юге Западной Сибири по пути к своему современному месту пребывания – в низовьях Енисея.

Контакты кетов и угров с индоевропейцами подтверждаются примерами из топонимии Павлодарской области: три озера *Курия/Курья*, бывшие речки, речные старицы из кет. *кур* ‘влажно, сыро’ + манс. *я* ‘река’; оз. *Айтеке* из хант. *ай* ‘маленький’ + авест. *takelteke* ‘бег, течение’, тох. В *takel/cake* ‘река’, т.е. ‘маленькая речка’; оз. *Сакисор* ‘водный речной сор’. В одной только Павлодарской области насчитывается 155 названий озер с термином-индикатором *сор*, идентичным по семантике и звучанию хантыйскому *сор/тор* ‘озеро’; *Тахтор* – из тохар. В *take* ‘река’ + хант., манс. *тор/тур* ‘озеро’ (в среднеобском диалекте *тор* ‘озеро, возникшее на месте бывшего рукава, старицы’ [Мурзаев 1984: 553–554], ср. селькуп. *то/ту* ‘озеро’ в бассейне р. Кеть и в верхнем и среднем течении Оби [Матвеев 1962: 8]).

Рассматривая гидронимы с компонентами *бал/балд/балык/бар/ бор/бур* (*Балкэзи, Балдыкол, Балыкты, Бурла*), *та/таке/теке/саки/сак/сага* (*Айтеке, Сакисор*), *кам/ком/кан* (*ганг*) (*Камсак, Канай*), *дария/дарья* (*Сырдарья*), *дан/дон/тун* (*Карадан, Каратун*), *шубар* (из иран. *чубор* ‘ручей’) (*Шубарозек, Шубараир*), *ар/ир, ас/яз/аз/ес, аб/ан/об, ман/мен/бан/пан*, необходимо иметь в виду, что указанные компоненты были когда-то вполне самостоятельными нарицательными именами со значением ‘вода, река, поток’, которые позднее, войдя в состав сложных наименований, стали восприниматься как гидронимические форманты [Попова, Байтанаев 1992: 107–116].

Остановимся на одном из гидронимов с компонентом из данного перечня.

#### ИРТЫШ

Река Иртыш упоминается в древнейших памятниках рунического письма (орхон-енисейских VII–XV вв.) как *Артис*. В венгерских хрониках упоминается река *Тогора*. Эта же река называется в Венской иллюстрированной хронике *Тогата*. Хунфальви видит в этом названии воспоминание венгров об Иртыше, который, по Кастрену, назывался у остяков *Тангат*, или *Тлангатль*. Иртыш и теперь выше города Тары называется у хантов другим именем – *Катанас*. На карте Герберштейна (1549 г.) впервые в иностранной литературе эта река называется *Иртыш*.

В специальной литературе встречаются разные написания и толкования названия этой реки: *Эртишмок* у Махмуда Кашгарского (XI в.) и толкуется 'кто быстрее пройдет (перейдет)'. В.П. Семенов писал: "*ир* – по-киргизски 'земля', *тыш* – 'рыть': 'роющий землю'" [Семенов 1903: 19]. Аборигены-казахи, несмотря на то, что проносят *Ертіс*, а не *Жертыш*, толкуют так же. Эта этимология названия р. Иртыш прочно утвердилась и вошла в литературу. Но это, по-видимому, народная этимология.

А.П. Дульзон считал, что *Иртыш* (*Ирцис*) обязан своим названием кетам, говорившим на йкающем диалекте, поскольку вторая часть гидронима *-цис* соответствует апеллятиву 'река' в их языке: *Ирцис* < \**Ирчис* < \**Ирсес* [Дульзон 1962б]. Первый компонент *ир*, по мнению Э.М. Мурзаева, субстратного происхождения. Его можно возвести к древнеиндийскому *ar/larna/\*a'r* 'бурлящий, колышущийся поток'.

Главный приток Сырдарьи на территории Южно-Казахстанской области *Арысь* (\**Арас*); р. Амударья называется у Геродота *Аракс*; Волга у Птолема называется *Ра*; р. *Аракс* в Закавказье; осетинская река *Ардон* – все эти названия позволяют говорить о гидронимической основе *-ар-*. А. Доза выделяет слово *ar* со значением 'текучая вода' в многочисленных названиях рек в Северной Италии, в Галлии, на Пиренеях. Возможно, из \**a'r* в слабой позиции получилось *ir*, ср. *ir* санскр. 'течь'. Ареал *ir* < *ar* имеет большую протяженность: от Бирмы до Испании. По-видимому, в этот ареал входит и название реки *Иртыш*, которое включает иранское *ir* < \**ar* и кетское *-тыш* < \**чис* < \**сис* и может быть истолковано как 'бурный стремительный поток' [Попова 1970: 15; 1997].

Среди орографических терминов Южного Казахстана встречаются арабско-иранские: *сенгир* 'укрепление, вал, ров, канава, окоп, бастион', но в Азии *сенгир* 'крутая обрывистая скала'; *дарбаза/дарваза* 'ворота, дверь, вход', а также 'горный проход'; *дешт/дашт* 'степь, равнина, щебневая или галичная пустыня'; *зах/зех/зехаб* 'исток воды, источник, родник, место, где бьет вода из источника', а также 'глубокая вода'; *кам* 'рот, небо', а также 'ущелье'; *кара/кар/гар* 'гора, возвышенность' [Савина 1972: 30, 70, 74, 92, 100].

Название населенного пункта *Ленгер/Лянгар* в работах многих ученых толкуется как 'якорь; монастырь; каравансарай; мазар; шест канатоходца', а у местного населения – как фамилия горного инженера. Но если проследить повторяемость второго компонента этого названия, нетрудно заметить сходство не только фонетическое, но и семантическое в языках разных систем. Ср. афг., согд. *гар*, алб. *qig*, слав. *гора*, монг. *хара*, казах. *кара* в топонимах *Аманқара*, *Берікқара*; *Кашгар*, *Талгар*, *Шавгар* (в древности Ясы, ныне Туркестан), *Анкара* (современная столица Турции, основана в VII в. до н.э., называлась *Анкире*, ср. *анкер* 'якорь' из индоевропейского \**ank* 'изогнутый, крючкообразный' [Никонов 1966: 27]. В первой части топонима *Лангар*, очевидно, просматривается др.-иран. *ланг* 'хромой', ср. *Тимури Ланг* (Тамерлан). Судя по реалиям – овраг, речка, позже – город, топоним *Ленгер/Лянгар* можно толковать как 'пересеченная местность, предгорье'.

Среди видовых ойконимических терминов особое место занимают эндемики, фиксируемые на ограниченных ареалах, малоупотребительные, не всегда осмысливаемые местным населением. Рассмотрим этимологию названия одного из древнейших городов на территории Казахстана.

#### ЧИМКЕНТ/ШЫМКЕНТ

Современное название *Шымкент* состоит из двух частей: термина *кент* (иранск. *кент* 'город, селение, местность') и определения *шым/чим*. Термин *кент/кенд*, по-видимому, заимствован из согдийского языка. А.Л. Хромов [Хромов 1969: 94] считал *т* согдийско-ягнобским суффиксом множественного числа, выделяя топонимы на

кат/канд < согд. *кт* 'город, селение'. Географы X в. при описании Туркестана приводили большое число сложных названий с *кет/кед*. В северном Таджикистане и Узбекистане многочисленные топонимы с компонентом *кат* обязательно относятся к населенным пунктам. Форма на *кеть* (*Чимкеть*) засвидетельствована хорунжим и известным путешественником Г.Н. Потаниным в 1830 г.

К.Ч. Байпаков приводит названия поселений на *кент/гент* в Южном Казахстане: *Орунгент*, *Мадикент/Манкент*, *Сюткент*. Последний в XI в. входил в число гузских городов; как населенный пункт сохранился до сих пор на берегу Сырдарьи [Байпаков 1977]. Примеры свидетельствуют, что и *Чимкент* входил в систему средневековых городов Южного Казахстана и Средней Азии.

Компонент *чим/шым* исторически имел также варианты *чем*, *чеменьгень*, *чиминь*, *чиминьгень*. В.В. Радлов [Радлов] толкует *чймән/чимен* (османский из персидского) как 'луг, дёрн, божья трава, греческое сено'. У В.В. Бартольда *чймән* из арабского 'роща' [Бартольд] Э.М. Мурзаев (со ссылками на Л.И. Розову и В.И. Савину – см. [Розова 1973; Савина 1972]) объясняет *чамен/чемен* как 'луг, поляна' (тадж., перс.) а *чим* – как 'дёрн, верхний слой почвы, густо переплетенный травянистой растительностью' (тюрк., тадж.) [Мурзаев 1984: 606, 615].

По мнению В.В. Бартольда, Э.М. Мурзаева и ряда других исследователей (см., например [Рустемов 1989]), название *Чимкент* следует толковать из согдийского (иранского) *чиминь/чемень* 'луг, луговина, цветущая долина в пойме реки' + *кент* 'поселение, крепость, город', т.е. 'зеленый город'. Такое же толкование было дано древними арабами. На наш взгляд, это вполне убедительно. Следовательно, обе части названия – согдийские, что свидетельствует о древности возникновения поселения, возможно, в V–VI в., т.е. в период согдийского средневековья.

Применение ареально-ретрогрессивного метода А.П. Дульзона позволяет установить на территории Казахстана следующие хронологические языковые пласты. Перечислим их, начиная с 'верхнего': русский, тюркский (в том числе казахский), монгольский, самодийский, финно-угорский, кетский, индоевропейский (в том числе – тохарский). К субстратным отнесены топонимы, непонятные из русского, казахского, монгольского языков. В виде отдельных вкраплений они присутствуют в топонимии Казахстана.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Байпаков К.Ч. 1977 – О локализации средневековых городов Южного Казахстана // Сб. Археологические исследования в Отраре. Алма-Ата, 1977.
- Бартольд – Бартольд В.В. Работы по исторической географии // Соч. В 9-ти книгах. 1963–1973. Кн. 3.
- Беккер Э.Г. 1970 – О некоторых селькупских географических терминах // Языки и топонимия Сибири. Томск. 1970. Вып. III.
- Воробьева И.А. 1973 – Русская топонимия средней части бассейна Оби. Томск. 1973.
- Дульзон А.П. 1959 – Кетские топонимы Западной Сибири // Уч. зап. ТГПИ. 1959. Т. XVIII.
- Дульзон А.П. 1962а – Былое расселение кетов по данным топонимики // Вопросы географии. М., 1962.
- Дульзон А.П. 1962б – Древние передвижения кетов по данным топонимики // Вестник Географического общества. 1962. № 6.
- Дульзон А.П. 1964 – Древние топонимы Южной Сибири индоевропейского происхождения // Топонимика Востока. Новые исследования. М., 1964.
- Койчубаев Е. 1974 – Краткий толковый словарь топонимов Казахстана. Алма-Ата, 1974.
- Корнилов Г.Е. 1964 – Гидронимический ареал \**jaʷzan* в Евразии // Топонимика Востока. Новые исследования. М., 1964.
- Лыткин В.И., Гуляев Е.И. 1970 – Краткий этимологический словарь коми языка. М., 1970.
- Матвеев А.К. 1962 – К проблеме дофинноугорского субстрата в севернорусской топонимике // Вопросы топониматики. Вып. 1. Свердловск, 1962.

- Мурзаев Э.М.* 1984 – Словарь народных географических терминов. М., 1984.
- Никонов В.А.* 1966 – Краткий топонимический словарь. М., 1966.
- Попова В.Н.* 1970 – К этимологии гидронима Иртыш // Языки и топонимия Сибири. Томск. 1970. Вып. III.
- Попова В.Н., Байтанаев Б.А.* 1992 – Гидронимические параллели Южного Казахстана и Поволжья // Ономастика Поволжья. М., 1992. Ч. II.
- Попова В.Н.* 1997 – Структурно-семантическая природа топонимов Казахстана: Дис. на соискание уч. степени док. филол. наук. Алматы. 1997.
- Попова В.Н.* 1999 – Ареально-ретрогрессивный метод в исследовании трансконтинентальных гидронимических терминов // Проблемы документации исчезнувших языков и культур. Уфа; Томск. 1999.
- Радлов – Радлов В.В.* Опыт словаря тюркских наречий. СПб., 1888–1911. Т. I–IV.
- Розова Л.И.* 1973 – Словарь географических терминов и других слов, встречающихся в мансийских, хантыйских и селькупских топонимах. М., 1973.
- Рустемов Л.З.* 1989 – Казахско-русский толковый словарь арабско-иранских заимствованных слов. Алма-Ата, 1989.
- Савина В.И.* 1972 – Словарь географических терминов и других слов, формирующих топонимию Ирана. М., 1972.
- Семенов В.П.* 1903 – Россия. Т. 18. СПб., 1903.
- Толстов С.П.* 1943 – Из предьстории Руси. Палеографические этюды. II. Три Аракса. М., 1943.
- Толстов С.П.* 1947 – Города гузов. Историко-этнографические этюды // СЭ. 1947. № 3.
- Хромов А.Л.* 1969 – Согдийская топонимика верховьев Зеравшана // Топонимика Востока. Исследования и материалы. М., 1969.

© 2000 г. Н.В. ПЕРЦОВ

**О НЕОДНОЗНАЧНОСТИ В ПОЭТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ**

Неоднозначность является недостатком для деловой прозы. Если мы в ней обнаруживаем контекст, допускающий более одного толкования в силу именно неоднозначности выражения, мы склонны отрицательно оценивать этот факт; если мы редактируем соответствующий текст, мы постараемся такую фразу исправить.

В художественном тексте язык наделен поэтической функцией: сообщение направлено не только на описываемую действительность, но и на само себя [Якобсон 1975 : 202]. Особенно это характерно для текста поэтического (стихотворного), в котором объединяется собственно языковой код и код стихотворный, т.е. ритмические, строфические и другие ограничения. Поэтический код – это в определенном смысле совокупность принуждений и обязательств, которыми автор себя ограничивает. Сопоставление создания поэтического текста с хождением по канату, высказанное Салтыковым-Щедриным, не кажется столь уж нелепым: в обоих случаях приходится преодолевать трудности, которых не существует при обычном способе действий – писании прозой и хождении по твердой почве. Однако люди прибегают к необычному, достигая при этом ярких эффектов.

Как при хождении по канату в силу вступают закономерности, отсутствующие или несущественные при обычной ходьбе, так и в поэтическом тексте оказываются значимыми те закономерности, которые не характерны для делового прозаического текста. Одна из такого рода закономерностей – допустимость языковой неоднозначности.

Художественный текст принципиально открыт для множественной интерпретации. Это проявляется, в частности, в том, что тот или иной персонаж, то или иное событие, изображаемые в художественном произведении, могут оцениваться или характеризоваться разными читателями и критиками несходным, а иногда и прямо противоположным образом. При этом нередко для подобной множественной интерпретации художественного текста его языковые особенности никак не существенны: дело не столько в языке, сколько в самой изображаемой действительности. Множественная интерпретация такого рода может быть названа экстралингвистической неоднозначностью.

Ниже речь пойдет о множественности интерпретаций другого рода – о собственно лингвистической неоднозначности поэтического текста, о тех случаях, когда в тексте употреблена та или иная неоднозначная языковая единица, и при этом либо допустимо понимание соответствующего фрагмента как реализующего более одного значения этой единицы, либо отсутствуют данные, позволяющие остановиться на том или ином конкретном ее значении. Как мы увидим, учет некоторых случаев такого рода существен для решения вопроса о правописании при воспроизведении поэтического текста – примеры (2.1), (2.5), (2.10а), (2.10б) в разделе 2 ниже.

Подчеркнем, что настоящая работа нацелена не столько на феномен языковой игры, нередко эксплуатирующей именно лингвистическую неоднозначность (языковой игре посвящена превосходная книга [Санников 1999]), сколько на неявную лингвистическую неоднозначность, при которой нет установки на шутку, каламбур или что-либо подобное<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Настоящая работа была инициирована моим знакомством с двумя недавними публи-

Явления языковой неоднозначности естественно классифицировать в соответствии с типом порождающих ее языковых единиц, каковыми могут быть:

- (а) лексические единицы (лексемы или фраземы) – лексическая неоднозначность, в примерах ниже обозначаемая как [Л];
- (б) синтаксические конструкции – синтаксическая неоднозначность [С];
- (с) аффиксы (или – в более общем аспекте – произвольные морфологические знаки) – морфологическая неоднозначность [М];
- (д) грамлеммы (или квазиграммеммы) – грамлемменная неоднозначность [Г] (имеется в виду полифункциональность – или множественность интерпретаций – некоторого грамматического значения);
- (е) анафорические местоимения – анафорическая неоднозначность [А] (неоднозначное соотнесение местоимения и его возможного antecedента).

Разумеется, разные типы неоднозначности могут совмещаться в одной словоформе. Таковы эффектные примеры неоднозначности в стихотворении Катулла, разобранные в [Зализняк Анна 1998], где совмещены синтаксическая и лексическая неоднозначность [С + Л] (в одной строке Катулла к ним присоединяется омонимия грамматического показателя причастия / супина). В примерах из книги У. Эмпсона, приводимых ниже, наряду с совмещением типа [С + Л] в примере (Е3), мы видим также совмещения типа [М + С] в примерах (Е3), (Е5) и (Е6). (Аналогичное совмещение отмечено нами в примере (2.10а) в разделе 2 настоящей работы.)

Отступление. Уже после написания первоначальной версии настоящей работы я познакомился с книгой выдающегося английского литературоведа Уильяма Эмпсона (1906–1984) "Семь типов неоднозначности" [Empson 1965]. Это имя, к сожалению, мало известно в нашей стране даже специалистам. Мне представляется, что при всем эссеистическом характере изложения эта книга вносит значительный вклад в поэтику, выявляя механизмы создания множественных смыслов в поэтическом тексте. Эмпсон строит свои наблюдения на английских поэтических текстах (от Чосера до Элиота); обилие примеров, смысловая глубина проявляющейся в них неоднозначности и зоркость исследователя производят колоссальное впечатление. Хотелось бы привести несколько примеров из этой книги:

- (E1) <...> th 'Assassination / Could trammel up the Consequence, and catch / With his surcease, Success; <...> (Shakespeare, "Macbeth") [Л] [А] [*Assassination* = *assess* 'определять размер ущерба' + *supersession* 'смещение с высокого поста'; *Consequence* 'результат' / 'последствия'; *trammel* 'ловить птиц в сети' / 'стрекоживать лошадей' / 'подвешивать котел на крюке'; *surcease* 'завершение' / 'остановка судебной процедуры' / 'аннулирование приговора'; *surcease* = *surfeit* 'излишество, отвращение' + *decease* 'смерть'; *his* → *Duncan* / *Assassination* / *Consequence*; *Success* 'успех' / 'результат' / 'престолонаследие'].
- (E2) There thou, great Anna, whom three realms obey, / Dost sometimes council take, and sometimes tea. [Л] (Pope, "Rape of the Lock")
- (E3) That tongue that tells the story of thy days / (Making lascivious comments on thy sport) / Cannot dispraise, but in a kind of praise, / Naming thy name blesses an ill report. (Shakespeare, Sonnet 95) [С + Л] [М + С]
- (E4) Their images I loved, I view in thee, / And thou, all they, hast all the all of me. (Shakespeare, Sonnet 31) [С]

кациями: [Зализняк Анна 1998] и [Еськова 1999]. Первая выпукло и тонко демонстрирует феномен неявной лингвистической неоднозначности на примере стихотворения Катулла, пронизанного содержательной двойственностью, которая и отображается в лексико-грамматической неоднозначности некоторых его фрагментов. Многие я почерпнул из небольшой книги Н.А. Еськовой, очень интересной и лингвистически насыщенной. – при том что я по многим пунктам с ней полемирую.



- (E5) Webster was much possessed by death / And saw the skull beneath the skin; / And breastless creatures underground / Leaned backwards with a lipless grin. (T. S. Eliot) [M + C]
- (E6) My vouch against you, and my place i' th' state / Will so your accusation overweigh, / That you shall stifle in your own report, / And smell of calumnie. (Shakespeare, "Measure for Measure", II. iv. 155) [M + C]

Наблюдения Эмпсона говорят об особой нацеленности английских поэтов на неоднозначность; судя по его данным, корифеем неоднозначности в английской поэзии следует признать Шекспира. Было бы интересно и поучительно провести подобное фронтальное исследование русской поэзии. Наиболее естественно начать с творчества "первенствующего поэта русского" (из дневниковой записи А.Н. Вульфа 1827 г.).

Мы разберем ряд примеров лингвистической неоднозначности в поэтических произведениях Пушкина. Каждому типу неоднозначности, кроме морфологической, посвящен особый раздел; примерами чисто морфологической неоднозначности у Пушкина я не располагаю. В разделе 5 рассматривается феномен, промежуточный между собственно лингвистической и экстралингвистической неоднозначностью, – множественное соотнесение некоторого наименования (в частности, местоименного) с внеязыковой действительностью, которое предлагается именовать референциальной неоднозначностью [Р].

Ниже – при указании адреса цитаты – названия наиболее часто встречающихся в ссылках произведений Пушкина даются сокращенно: ЕО – "Евгений Онегин", ДК – "Домик в Коломне"; арабская цифра – номер главы, римская – номер строфы. Надстрочный знак диэза отмечает случаи, близкие к экстралингвистической неоднозначности, – в примерах (1.10), (2.8), (2.9). Поскольку многие наблюдения (большинство – 21 пример из 30) почерпнуты автором из работ других исследователей, из докладов коллег или бесед с ними, в примерах ниже в угловых скобках даются аббревиатуры имен ученых, отметивших соответствующие случаи: <ТН> – Т.М. Николаева, <НЕ> – Н.А. Еськова, <ВН> – В.С. Непомнящий, <МШ> – М.И. Шапир, <И> – общеизвестно.

## 1. ЛЕКСИЧЕСКАЯ НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ

- (1.1) И впредь у нас не разрывайте / Ни мадригалов, ни сердец.  
("К Е.Н. Вульф")

Глагол здесь одновременно реализует два значения: 1) 'разъединять' и 2) 'заставлять страдать'; вторая интерпретация возможна только в сочетании с лексемами СЕРДЦЕ и ДУША. Двойственная интерпретация глагола обусловлена наличием двух сочиненных дополнений. Здесь мы имеем каламбур, языковую игру, к которой Пушкин был весьма склонен (в книге [Санников 1999] пушкинские каламбуры многочисленны – около 60 примеров, разумеется, не исчерпывающих пушкинского каламбурного наследия).

- (1.2) Фигурно иль буквально: всей семьей, / От ямщика до первого поэта, / Мы все поем уныло. Грустный вой / Песнь русская. Известная примета! / Начав за здравие, за упокой / Сведем как раз. Печалию согрета / Гармония и наших муз и дев. / Но нравится их жалобный напев. (ДК – XV)

В данной строфе "Домика в Коломне" мы обнаруживаем совмещение в словах, связанных с пением (они подчеркнуты), собственно музыкального значения и значения слагания стихов, что наводится второй строкой – "От ямщика до первого поэта"; ямщику свойственно петь песни, а поэту писать стихи. В седьмой строке упоминаются музы и девы, и здесь соответствие двум указанным интерпретациям дано в обратном

порядке: музы связаны со стихами, а девы с песнями; предшествующая XIV строфа повествовала об игре на гитаре и пении Параши и завершалась знаменательными строками: "Поет уныло русская девица, / Как музы наши, грустная певица". В восьмой строке местоимение *их* относится и к девам, и к музам (т.е. здесь мы имеем объединенный антецедент).

Нам представляется, что в этом примере – в отличие от (1.1) – совмещение двух значений у трех словоформ – *поем, песнь, напев* – носит некаламбурный характер. Оно звучит приглушенно, несмотря на предупреждение в первой строке, и большинством читателей не замечается. Смысл двойственности этой строфы состоит в объединении людей – ямщиков, поэтов, дев... (Более подробный разбор этой строфы и средства инвариантно ориентированного описания полисемии глагола ПЕТЬ даны в работе [Перцов 1994]).

(1.3) Немного отдохнем на этой точке. / Что? перестать или пустить *на пе?*... /  
Признаться вам, я в пятистопной строчке / Люблю цезуру на второй стопе.  
(ДК-VI) (И)

Сочетание *пустить на пе* (выделенное курсивом самим автором) объединяет два смысла: первый, буквальный, – 'начать серию рифм на слог *-пе*', второй смысл связан с термином "пе" карточной игры в фараон. В соответствии с разъяснением В.В. Набокова [1998 : 245], термин "пе" обозначает такую ставку понтера после выигрыша предыдущей тальи у банкмета, которая равняется сумме предшествующего выигрыша, т.е. предшествующей ставке. Тем самым, "пе" не предполагает удвоения ставки, как это указывается в [СЯП, III: 286]: «В соч. п у с т и т ь н а п е (поставить удвоенную ставку). В каламб(урном) употр(еблении) (дать двойную рифму на "пе" : "стопе – канале)»». Присутствие здесь "карточного" смысла сомнений не вызывает; с этим сочетанием можно сопоставить строки из отвергнутой строфы второй главы "Евгения Онегина", описывающей страсть автора к картам ("страсть к банку"): "А я, нахмурен, бодр и бледен, / Надежды полн, закрыв глаза, / Пускал на 3-го туза". Однако вопрос об интерпретации примера (1.3) отнюдь не прост.

Относить ли сочетание *пустить на пе* к удвоению рифмы? В предшествующей, пятой, строфе поэмы речь идет о стихах, ведомых "под цифрами, в порядке, строй за строем", упоминаются "каждый слог", "каждый стих", стихотворцы уподобляются великим полководцам, но о рифмах не сказано ни слова – о рифмах много говорилось в первых четырех строфах. Как бы ни понимать порождение рифменной серии в VI строфе-октаве – как подбор двух рифм к *пе* второй строки или как подбор тройной рифмы полной серии, – относить это сочетание к рифмам неправомерно, ибо, как явствует из комментария Набокова, карточное "пе" не означает ни удвоения, ни утроения определенного действия, а его п о в т о р е н и е после выигрыша. Тогда смысл второй строки рассматриваемой строфы "Домика" можно истолковать так: 'Перестать или продолжать в том же духе после успеха?' (об успехе говорилось в конце предшествующей строфы).

Обратимся снова к тексту Набокова: «Когда он [понтер] хотел поставить только на выигрыш, то сгибал свою карту (...), и это называлось "рау" или "раix" (рус. "пе" (...))» [Набоков 1998: 245]. Т.М. Левина высказала необычайно интересное предположение (устное сообщение), что здесь имеется в виду упорядочение течения стиха посредством метафорического "сгибания" пятистопномбической строки в октаве с помощью цезуры после второй стопы. Цезура после второй стопы в "Домике" весьма часто отсутствует (в 40% случаев – подробнее см. [Перцов 1994: 283, 292, прим. 10]), в частности, в трех строках обсуждаемой VI строфы, одна из которых как раз и содержит признание в любви к цезуре; подобный прием мистификации читателя пронизывает – на разных языковых уровнях – весь текст поэмы. Мотив сгибания подтверждается мотивом стягивания в строке из отвергнутой строфы "Домика", посвященной александрийскому стиху: "Шагал он чинно, стянут был цезурой".

(1.4) (...) Я воды Леты пью, / Мне доктором запрещена унылость: / Оставим это, –  
сделайте мне милость! (ДК-XXII)

Сочетание *пить воды Леты* совмещает две интерпретации – ‘предавать забвению мрачные мысли’ (Лета как символ забвения) и ‘пить лекарственные воды’ (в частности, дабы побороть “унылость”, упоминаемую в следующей строке).

(1.5) Он в том покое поселился, / Где деревенский старожил / Лет сорок с ключницей  
бранился, / В окно смотрел и мух давил. (ЕО-2-III) (МШ)

Сочетание *мух давил* здесь, скорее всего, понимается как фразема – ‘пил хмельное’, однако это не исключает возможности его буквального осмысления.

(1.6) Зима! Крестьянин, торжествуя, / На дровнях обновляет путь. (ЕО-5-II) (НЕ)

В [СЯП, IV: 550] данное употребление глагола *торжествовать* подведено под значение 1, ныне устаревшее: “праздновать, отмечать какое-н. событие [что]”, предполагающее переходность глагола; на его жестком отнесении к тому же значению настаивает Н.А. Еськова [1999: 19 сл.], указывающая, что “глагол *торжествовать* у Пушкина не всегда значит ‘радоваться, ликовать по поводу успеха, победы’”, что соответствует значению 3 в [СЯП: там же] (значение 2 – “первенствовать, одерживать верх, победу над кем-, чем-н. [над кем, чем и без дополн.]”).

Отметим, что значение 3 дано в [СЯП] (как и в других словарях) слишком узко: глагол *торжествовать* может обозначать радость не только в связи с успехом, победой или какой-либо иной удачей, но и по другому поводу; человек может торжествовать, любуясь, скажем, красивым пейзажем; ср. также пример из Большого академического словаря: “Семья наша торжествовала. Даже мы, дети, радовались приезду дедушки” (Салтыков-Щедрин).

Представляется, что значение 1 (по [СЯП]) этого глагола, отвечающее его переходному статусу, так или иначе “индуцирует” смысловые компоненты, входящие в его “непереходное” значение: в “переходном” значении предполагается – или, во всяком случае, высоковероятно – чувство радости (когда торжествуют какое-нибудь событие, как правило, радуются)<sup>2</sup>.

Тем самым, когда этот глагол употреблен без прямого дополнения, различие между двумя его указанными значениями по существу нивелируется. Мы, собственно, никак не можем настаивать в этом случае на каком-то определенном значении. Крестьянин “торжествует 1” в данном случае весьма важно для него событие – приход зимы, – и бодрый контекст соответствующего стиха говорит о том, что он радуется зиме, а тем самым “торжествует 3”. В деепричастии *торжествуя* реализуется в данном случае некое “диффузное” (размытое) значение, в составе которого значение 3, думается, выступает все же на переднем плане<sup>3</sup>. В самом деле, если здесь усматривать абсолю-

<sup>2</sup> Этот пример полисемичного глагола иллюстрирует бедность средств современного семантического и лексикографического описания, которое вынуждено в рамках дискретного подхода жестко разделять то, что на самом деле представляет собой единство. Автор полагает, что все употребления глагола *торжествовать* скреплены некоторым инвариантом, складывающимся из компонентов ‘радость’ и ‘подъем’, причем первый ассоциируется со вторым в духе “ориентационных метафор” Дж. Лакоффа и М. Джонсона – типа ‘СЧАСТЬЕ – ВЕРХ, ГРУСТЬ – НИЗ’ [Лакофф, Джонсон 1990: 396].

<sup>3</sup> Другое употребление данного деепричастия в “Онегине” отнесено в [СЯП] к значению 3 (и справедливо): “Теперь, заране торжествуя, / Он стал чертить в душе своей / Карикатуры всех гостей” (ЕО-5-XXXI). Я не могу понять, в чем различие между этими двумя случаями: если в первом крестьянин торжествует приход зимы, во втором Онегин тоже “торжествует

тивное употребление – с опущенным прямым дополнением глагола, – тогда это употребление будет существенно отличаться от "классической" абсолютивной конструкции, "которая (...) не воспринимается как эллиптическая; ср. *Он славно пишет, переводит* (...); *Ребенок ест (занимается) не мешайте ему*; *Он немного поет (рисует)*" [Апресян 1997: XVII]. В нашем случае, если осмысливать деепричастие в абсолютивном смысле, эллипсис ощущается весьма явственно; абсолютивное употребление переходного *торжествовать* выглядит как-то неполно – не так, как абсолютивное употребление, скажем, *читать* (или глаголов из только что приведенной цитаты). Я согласен с цитируемым Н.А. Еськовой мнением Д.С. Лихачева о том, что долгожданный приход зимы – после бесснежья – это отнюдь не ничтожный повод для сельского торжества.

(1.7) И все ей кажется бесценным, / Все душу томную живит / Полумучительной отрадой: / И стол с померкшею лампадой, / И груда книг (...) (ЕО-7-XIX) (НЕ)

Полемизируя с В.Н. Турбиным [1996: 111 сл.], сближавшим в этом употреблении слова *лампада* два значения, упоминаемые в [СЯП, II: 450], – 1. 'зажигаемый перед иконой прибор в виде небольшой чашечки с опущенным в масло фитилем для горения' и 2. 'поэтическое название для лампы, осветительного прибора; светильник', – Н.А. Еськова [1999: 22 сл.] указывает на явное количественное неравенство употреблений этого слова у Пушкина в первом (8) и во втором (29) значении и на то, что в [СЯП] это употребление – и даже употребление в явно "церковном" контексте знаменитой сцены "Бориса Годунова" ("Засветит он, как я, свою лампаду") – отнесены ко второму, традиционно-поэтическому, значению. В данном случае мы оказываемся в ситуации, напоминающей ситуацию с глаголом *торжествовать* в предшествующем примере (1.6): референт одного значения слова вкладывается в референт другого значения. "Церковная" лампада (значение 1) является светильником (значение 2) и при этом обладает очевидным "поэтическим" ореолом. Разумеется, употребления слова *лампада* в значении 2 не всегда соотносится со значением 1 (так, трудно найти какие-либо "церковные" коннотации в таких примерах, как "Пишу, читаю без лампады" из "Медного Всадника" или "Как эта лампада бледнеет / Пред ясным восходом зари, / Так ложная мудрость мерцает и тлеет (...)" из "Вакхической песни"), однако второе значение "чревато" первым: в благоприятных условиях значение 1 может проявиться и при традиционно-поэтическом употреблении.

Мне представляется, что именно такой характер носят два упомянутых употребления слова *лампада* (в "Онегине" и "Борисе Годунове"): здесь мы имеем не жесткий выбор ровно одного значения, а "диффузное" совмещение в слове разных значений, из которых одно – традиционно-поэтическое – выступает на переднем плане, а второе – "церковное" – представляет собой смысловой обертон. В случае рассматриваемой цитаты из "Онегина" это подтверждается (как отмечено у В.Н. Турбина) началом следующей строфы: "Татьяна долго в келье модной, / Как очарована стоит", в котором переносное употребление слова *келья* – 'небольшая комната одинокого человека' – сохраняет на дальнем смысловом фоне прямое значение 'комната монаха' (полагаю, что в случае *кельи* подобное сохранение имеет место при любом переносном употреблении). Церковные, монашеские ассоциации, мотивы "узничества" и даже "монашества" Онегина – в представлении Татьяны – находят подтверждение в тексте романа: вспомним отшельнический образ деревенской жизни героя ("В своей глуши мудрец пустынный (...)") – стоит обратить внимание на эпитет; его нежелание общаться с соседями-помещиками; слова Татьяны: "Но, говорят, вы нелюдим; в глуши, в деревне все вам скучно (...); "Онегин жил анахоретом") или зимнее затворничество Онегина и его "отречение от света" в восьмой главе.

Поэтому церковные мотивы и "странные" лексические сближения, предлагаемые В.Н. Турбиным, мне представляются интересными и убедительными.

нечто", а именно – успех своей будущей мести.

(1.8) Меж тем как сельские циклопы / Перед медлительным огнем / Российским ле-  
чат молотком / Изделье легкое Европы, / Благословляя колеи / И рвы  
отеческой земли. (ЕО-7-XXXIV) (НЕ)

В словаре [СЯП, I: 30] данная цитата снабжена – в словарной статье БЛАГОСЛОВЛЯТЬ – пометой "в шутовском употреблении", а соответствующее дееспричастие подводится под смысл 'воздавать хвалу'; в словарной статье ЛЕЧИТЬ – [СЯП, II: 478] – мы видим помету "переносно". Глагол *лечить* здесь передает смысл 'чинить', а как интерпретировать дееспричастие *благословляя*? Конечно, сельским кузнецам-циклопам вполне пристало отдавать хвалу неровностям родных дорог, доставляющим им заработок, но сводится ли здесь содержание глагола БЛАГОСЛОВЛЯТЬ исключительно к этому смыслу? Тропеическая насыщенность этой строфы (*высокопарный, но голодный* прейскурант, который *тщетный дразнит* аппетит; *кузнецы-циклопы, лечащие* иностранный экипаж) заставляет подозревать какой-то двойной смысл и в последних двух стихах.

В книге [Еськова 1999: 90–91, 114–115] для данного фрагмента предложена весьма интересная, "полусерьезная", интерпретация (в разделе "Полусерьезно и несерьезно" и в подразделе "Викторина-шутка по разным произведениям"): высказывается подозрение, что "благословляют" в этом случае... ненормативной лексикой". При всем "игровом" характере этого предположения оно наводит на вполне серьезные размышления. В самом деле, отдавать хвалу отечественным дорогам кузнецы, конечно, могли и про себя, не прибегая к речи, однако глагол БЛАГОСЛОВЛЯТЬ тяготеет к обозначению ситуации, связанной с речевым актом. Чиня изысканные заграничные изделия, кузнецы вряд ли оставались безмолвными, они, конечно, обменивались репликами, содержащими ненормативную лексику. Трудно представить себе, как в таком контексте звучали бы их похвалы чему-либо или кому-либо, а вот брань и досада в нем вполне естественны. Итак, будучи обязанными заработком родным дорогам и тем самым одобряя про себя их "колеи и рвы", кузнецы в своей речевой деятельности, скорее всего, выражали им неодобрение. Глагол БЛАГОСЛОВЛЯТЬ здесь может отражать и этот последний аспект ситуации: "... положительно-оценочная лексика может использоваться для выражения отрицательной оценки" [Санников 1999: 380]. Ирония пронизывает "Евгений Онегин" – и вообще пушкинский поэтический и житейский мир.

(1.9) Суровый Дант не презирал сонета; / В нем жар любви Петрарка изливал; / Игру его любил творец Макбета; / Им скорбну мысль Камюэнс облекал. / И в наши дни пленил он поэта (...). ("Сонет")

В стихотворении "Сонет" за внешне комплементарным по отношению к сонету содержанием скрывается "некая почтительная отчужденность" [Непомнящий 1997 : 209]: сонет как твердая стихотворная форма, с "размером его стесненным", сковывает поэта; последняя строка стихотворения своим звуковым, ритмическим и синтаксическим строем воздает подлинную хвалу другой форме: "Гекзаметра священные напевы" (подробнее см. [Перцов 1998 : 225 сл.]). В приведенных первых пяти строках стихотворения идея сковывания-ограничения, связанная с сонетом, как нам представляется, скрытым образом передается тремя подчеркнутыми в цитате глагольными формами *изливал*, *облекал* и *пленил*. Эти формы, наряду с непосредственно воспринимаемыми смыслами – 'выражать' для первых двух, 'очаровывать' для последней, – передают и другие.

Глагол *изливал* во второй строке, подчиняющей предложную группу *в нем*, будучи интерпретирован в исходно-этимологическом смысле 'лить', изображает *жар любви* в

виде чего-то текучего, что изливается в сонет, который, тем самым, представлен как некое вместилище, которое ограничивает нечто. (Одновременно глагол *изливать* может быть интерпретирован в смысле, для современного языка не характерном, а у Пушкина встречающемся дважды, – ‘испускать свет’: “Двойные фонари карет / Веселый изливают свет” – ЕО-1-XXVII. Здесь усматривается переключка со световыми образами сонета Вордсворта, послужившего для Пушкина отправной точкой при создании его “Сонета”).

Глагол *облекал* в четвертой строке также соединяет смысл ‘выражать’ с другим смыслом – ‘одевать, окутывать’, а этот последний наделяет местоимение *им* представлением о некоем покрывале, окутывающем и ограничивающем нечто. Идея ограничения, проявившаяся во второй строке, повторяется в четвертой.

В пятой строке продолжается “игра” с лексической неоднозначностью: *пленяет* можно понимать не только непосредственно в смысле ‘очаровывает’, но и в смысле ‘берет в плен, сковывает’; с сонетом снова связываются идея ограничения, а также представление о живом существе, которое проявилось уже в первом катрене, в третьей строке, где слово *игра* может быть соотнесено не только со смыслом ‘переменчивость, разнообразие’, но и со смыслом ‘развлечение, забава’.

(1.10)<sup>#</sup> Не пропадет ваш скорбный труд / И дум высокое стремленье. (“Во глубине сибирских руд”)

Как представляется, из двух осмыслений лексемы ТРУД – ‘деятельность’ и ‘результат деятельности’ – в данном контексте более предпочтительно первое (соответствующее в [СЯП, IV: 591] – в словарной статье ТРУД – значению 1 ‘целесообразная деятельность человека’): прилагательное *скорбный* вызывает здесь представление скорее о деятельности, нежели о каком-то предмете (хотя, вообще говоря, допустимо его присоединение к обозначениям предмета: *скорбная книга*). Тем не менее, представление о результате труда здесь все же не исключено, и поэтому для данного примера можно усматривать неявную лексическую неоднозначность. Однако нас интересует другое – так сказать, “сильная семантика” этой словоформы, ее соотнесенность с действительностью. Тем самым, данный пример призван демонстрировать неоднозначность экстралингвистическую, наряду с лингвистической (т.е. здесь мы выходим за рамки синхронической лингвистики).

Какой труд, рассматриваемый как деятельность, в этом случае имеется в виду – труд декабристов до их каторжного заключения или их труд в руднике? Или, может быть, здесь совмещены оба понимания? – Мне представляется плодотворным последнее предположение.

То, что Пушкин мог вкладывать в это слово первый смысл, представляется очевидным. Что же касается труда в руднике, здесь могут возникнуть сомнения: неужели автор имел в виду всего лишь “утилитарный” смысл – ту пользу, которую приносит добыча руды? И вот она-то и не пропадет? – Сомнительно.

Мне представляется, что в данном случае следует привлечь значение слова *труд*, отсутствующее в современном языковом употреблении, но бывшее еще достаточно живым в пушкинское время. С ним соотносится в [СЯП, IV: 590–591] рубрика 5 в статье ТРУД: ‘трудности, тяготы, заботы’: “Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе / Грядущего волнуемое море” (в [СЯП] отмечено 7 таких употреблений). В словаре Даля в статье ТРУДЪ среди значений находим такое (помеченное как церковнославянское) [Даль 1994, IV: 854]: “болезнь, боль, (...) недугъ (...)”. Церковное осмысление слова *труд* как искупительного страдания проявляется в диахронии, об этом свидетельствуют многочисленные источники.

Можно предположить, что в качестве побочного смыслового обертона в первой строфе пушкинского послания присутствует мысль о том, что страдания его адресатов не будут напрасными, будут залогом искупления в их нравственном самосовершенст-

вовании. Уходя в еще более далекую диахронию, отметим, что в русских духовных стихах понятие 'труд, трудиться' соседствует с молитвой, например, в "Алексее Божьем человеке": "(...) Молился ты Господу, трудися / За Алексея Божья человека! / А я пошел в иншую землю, / За батюшкин грех помолиться, / За матушкин грех потрудиться! (...) Молился отец Богу, трудился; / Красота в лице его потребишася (...)" [Селиванов 1995 : 93–94].

## 2. СИНТАКСИЧЕСКАЯ НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ

(2.1) Мой дядя самых честных правил, / Когда не в шутку занемог  
Он уважать себя заставил / И лучше выдумать не мог; (...)  
(ЕО-1-1) [С] [Л] (И)

Всякий, кто читает по-русски и достиг определенного возраста, знает наизусть начало пушкинского романа в стихах, но мало кто замечает скрытую в нем лексико-синтаксическую неоднозначность, ставшую в последнее время предметом обсуждения, причем со стороны не только филологов, но и представителей естественных наук<sup>4</sup>. В каком значении выступает здесь союз *когда* и к чему относится придаточное предложение? По мнению автора настоящей работы, этот вопрос принципиально неразрешим с точки зрения лингвистических данных.

Собственно лингвистическое истолкование этого четверостишия складывается из сочетания значений следующих двух признаков (так сказать, из ответов на вопросы анкеты из двух пунктов):

- (1) союз *когда* понимается либо (1а) во временном, либо (1б) в условном смысле (т.е. либо в смысле 'в то время как / после того как', либо в смысле 'если'<sup>5</sup>);
- (2) придаточное предложение строки 2 относится:
  - либо (2а) к главному предложению в строке 1;
  - либо (2б) к главному предложению в строках 3 и 4 (строка 1 и в этом случае представляет собой простое предложение);
  - либо (2в) к главному предложению в строках 1, 3 и 4 (в каком случае первая строка – это не предложение, а словосочетание с несогласованным определением).

Отметим некоторую странность варианта (2в), при котором первая строка трактуется как словосочетание (именная группа), а не предложение. Такая ее трактовка была бы бесспорной, если бы после слова *дядя* стояла запятая. Однако, учитывая общую сложную ситуацию с пунктуационным оформлением этих строк в разных при-

<sup>4</sup> В 1998 г. в двух номерах "Вестника РАН" были опубликованы статьи доктора физико-математических наук Э.А. Троппа [1998] и академика А.Е. Шилова [1998], посвященные интерпретации первой строфы "Евгения Онегина". Сам факт обращения ученых-филологов к этой, казалось бы, сугубо филологической проблеме весьма знаменателен: он говорит о том, какое место занимает Пушкин и его роман в стихах в нашей жизни. Мне, филологу-лингвисту, хотелось бы включиться в спор представителей точных наук и подключить к нему соображения, высказанные в статье В.С. Непомнящего [1996], известного филолога-литературоведа, писателя, пушкиниста. Наличие этой работы, вышедшей за два года до [Тропп 1998], а также давней заметки писателя А. Югова [1962], на которую Непомнящий фактически опирается, вносит очевидную коррективу в критическое замечание Э.А. Троппа [1998 : 419]: «(...) профессиональные литературоведы не берут на себя труд растолковать первое четверостишие "Онегина" (...)».

<sup>5</sup> У Пушкина такого рода условные употребления *когда* (в современном языке крайне редкие) весьма часты – согласно [СЯП, II: 342], 101 случай; например: "Когда Борис хитрить не перестанет, / Давай народ искусно волновать".

жизненных изданиях романа в стихах (о ней речь пойдет ниже) и вообще пунктуационную практику Пушкина, строгой последовательностью не отличающуюся, следует допустить возможность трактовки строки I как словосочетания, смысл которого более эксплицитно (хотя и громоздко) может быть передан так: 'мой дядя, человек (в высшей степени) порядочный'.

Далее шесть комбинаций значений этих двух признаков эксплицируются – по примеру А.К. Югова [1962: 156] и Э.А. Троппа [1998: 417] – посредством развернутых перифраз. Во избежание их громоздкости принимается следующее соглашение: компонент "когда" (в кавычках) сокращенно обозначает временное осмысление соответствующего союза – дизъюнкцию 'в то время как / после того как'. Вертикальная черта в перифразах разделяет простые предложения в составе бессоюзного сложного.

Из шести возможных комбинаций значений этих признаков одна, как мне подсказывает мое языковое чутье, должна быть отвергнута (надстрочный астериск отмечает ее "дефектность"):

(А) \*(1a) + (2a): 'Мой дядя – порядочный человек, "когда" тяжело заболел | он уважать себя заставил...'

В самом деле, при трактовке первой строки как предложения это предложение описывает – посредством составного именного сказуемого (в настоящем времени) – некоторое постоянное свойство субъекта (а именно – свойство дяди Онегина быть порядочным); если при этом придаточное трактовать как временное, тогда выходит, что постоянное свойство субъекта главного предложения ограничивается в придаточном – посредством глагольного сказуемого в прош. времени сов. вида – определенными временными рамками (периодом болезни дяди). Представляется, что подобное соединение смыслов, сопровождаемое указанными способами выражения сказуемых, в русском языке если не запрещено, то, по крайней мере, выглядит крайне неестественно.

Остальные пять комбинаций могут быть проинтерпретированы, хотя и с разными степенями правдоподобия и естественности:

(B) (1a) + (2б): 'Мой дядя – порядочный человек | "когда" тяжело заболел, он уважать себя заставил...'

(B) (1a) + (2в): 'Мой дядя, человек порядочный, "когда" тяжело заболел, он уважать себя заставил...'

(Г) (1б) + (2a): 'Мой дядя – порядочный человек, если он (и вправду) тяжело заболел | он уважать себя заставил...'

(Д) (1б) + (2б): 'Мой дядя – порядочный человек | если тяжело заболел, он уважать себя заставил...'

(E) (1б) + (2в): 'Мой дядя, человек порядочный, если тяжело заболел, он уважать себя заставил...'

С точки зрения чистоты синтаксического "рисунка" фразы комбинации (B) и (E) – с признаком (2в) – самые подозрительные. В.С. Непомнящий [1996: 157] вариант (B) решительно отвергает, справедливо усматривая некоторую громоздкость, проистекающую вследствие внедрения главного предложения в придаточное и повтора подлежащего: "мой дядя ... он". На это можно возразить, что здесь дана внутренняя речь героя, а не гладкое авторское повествование, и, может быть, синтаксическая тяжеловесность этих строк нужна для передачи медленного и ленивого потока сознания героя ("Строфа I воспроизводит смутно-дремотные обрывки его мыслей" –



[Nabokov 1981, II: 31]; русск. перев. [Набоков 1998: 103]<sup>6</sup>). Вспомним "разбор строгий" во внутренней речи Онегина в шестой главе (строфа XI): "(...) Конечно, быть должно презренье / Ценой его забавных слов; / Но шепот, хохотня глушцов..."; здесь тоже мы видим некоторую синтаксическую "неаккуратность" – обрыв фразы. Вспомним строфу XX восьмой главы (сразу после встречи с Татьяной на светском рауте), исполненную смятенных мыслей героя, с ее повтором подлежащего: "та самая Татьяна... та, от которой он хранит... та девочка... та девочка...".

В спонтанной речи (к разновидности которой можно отнести внутреннюю речь Онегина в первой строфе) вполне обычны так называемые "средства актуализации высказываний", а среди них – "именительный темы, (...) выносимый в инициальную синтагму" [PPP 1973: 347 сл., 373]. Именно такую трактовку допускает первая фраза "Онегина"<sup>7</sup>. О "нагнетании в первой строфе фразеологизмов разговорной речи" говорится в комментарии Ю.М. Лотмана [1981: 120].

Любопытно, что большинство читателей начало "Онегина" бессознательно воспринимает как раз в смысле синтаксически тяжеловесного варианта (B). Сужу по опросу, проведенному мной среди коллег-лингвистов<sup>8</sup>: ответы девяти респондентов соответствовали варианту (B), ответы семи – варианту (Б) (одна респондентка решительно отвергла условное осмысление союза). Я раньше входил в большинство, принимающее (B), а теперь, после размышлений, вызванных научной дискуссией, склоняюсь к варианту (Б), разумеется, не настаивая на его непреложности. Судя по переводу В.В. Набокова – "My uncle has most honest principles: / when taken ill in earnest. / he has made one respect him (...)" [Nabokov 1981, I: 95], – отметившего двоеточием паузу после первой строки, он имел в виду именно вариант (Б). В комментарии Набоков обращает особое внимание на эту пунктуационную замену [ibid., II: 31; Набоков 1998: 103]: "Чтобы эти два стиха стали понятны, вместо запятой следует поставить двоеточие, иначе запутается и самый скрупулезный переводчик". Далее Набоков отмечает "мучительную темноту" первых пяти стихов ("The first five lines of One are tantalizingly opaque"), но не раскрывает ее лингвистическую основу – неявную лингвистическую неоднозначность этих строк.

Отступление. После долгих лет ожидания в России появились – с интервалом в несколько месяцев – два перевода эпохального комментария Владимира Набокова к "Евгению Онегину": петербургский – [Набоков 1998] и московский – [Набоков 1999]. Сопоставление этих переводов между собой и с оригиналом – занятие весьма поучительное и увлекательное. Нельзя не выразить сожаления, что в русские издания не вошел набоковский перевод "Онегина" на английский, имеющий огромное общекультурное значение и представляющий большой лингвистический интерес, проясняющий в ряде случаев трактовку Набоковым семантики пушкинского текста. Возможно, следовало бы пожертвовать приложениями (об Абраме Ганнибале, о просодии), но найти место для английского перевода романа в стихах.

В петербургском варианте неоправданно опущены некоторые фрагменты текста оригинала, например, не переведено очень важное лингвистическое замечание к строкам: "Без неприметного труда / Мне было б грустно мир оставить" (глава вторая, строфа XXXIX). Набоков перевел эти стихи следующим образом: "without an imperceptible trace. / to leave the world I would be sad" [Nabokov 1981, I: 144], а прокомментировал так: "Pushkin wanted to say (but did not): "Without a trace, however slight...". As usual, I prefer to be loyal to my author's mistake"

<sup>6</sup> О русских переводах комментария к "Онегину" В.В. Набокова [1998] и [1999] см. Отступление ниже.

<sup>7</sup> Ср. современные примеры, приведенные в указанной монографии: "Хоккей / он все-таки динамичнее футбола // ; Ортофикс (название клея) / его больше не будет //" [PPP 1973: 373].

<sup>8</sup> Респондентов я просил выполнить следующие задания: 1) описать синтаксическую структуру первых трех строк "Евгения Онегина"; 2) указать – с помощью синонимичной замены – значение союза *когда*.

[ibid., II: 308]<sup>9</sup>. Отмечу также, что в петербургском переводе [Набоков 1998: 103] приведенная выше фраза о "мучительной темноте" передана неправильно: "Первые пять стихов гл. I заманчиво неопределенны"; в московском издании [Набоков 1999: 34] дан точный вариант: "<...> мучительны темны" (как и в статье Э.А. Троппа [1998: 418], где отмечена коннотация с "танталовыми муками" у английского наречия).

Научный аппарат петербургского издания оставляет желать лучшего – вследствие ошибок, ляпусов, упущений; московский перевод оставлен вообще без научного аппарата. Суровая, но справедливая критическая оценка русских переводов набоковского комментария дана в рецензии [Добродомов, Пильщиков 1998]. Что касается другой публикации, поданной как рецензия на эти переводы, – заметки [Шульпяков 1999] в "Новом мире", – то она посвящена в основном самому комментарию Набокова и истории его создания и рецепции; соглашаясь с критическим настроем автора по отношению к русским переводам, я не могу не выразить недоумения по поводу презрительно-развязного тона Г. Ю. Шульпякова, увы, не украшающего почтенный журнал: выражения типа "питерский талмуд", "проколы питерских толмачей", "точечная (?) питерская халтура" свойственны скорее бульварной беллетристике, чем серьезному обсуждению. Основную массу критических стрел Шульпяков обрушивает на петербуржцев, однако первая из упомянутых рецензий демонстрирует существенные слабости обоих переводов.

Мне представляется, что собственно лингвистические данные не позволяют решительно отвергнуть ни один из пяти вариантов (Б) – (Е). Речь может идти здесь лишь о вероятных предпочтениях. Случаи (В) и (Е), синтаксически безупречные (хотя и допустимые – в свете общего "разговорного" фона первой строфы романа), содержательно эквивалентны соответственно комбинациям (Б) и (Д), поэтому последние можно взять в качестве представителей соответствующих пар. Итак, остаются варианты (Б), (Г) и (Д).

Вариант (Б) предполагает временную интерпретацию союза *когда*. В такой интерпретации В.С. Непомнящий усматривает тавтологию: "самых честных правил – уважать себя заставил", с чем я не могу согласиться: второе представляется следствием, подтверждением первого – от порядочного человека естественно ожидать, что он требует к себе уважения. Но даже если и настаивать на тавтологичности смыслов, передаваемых в первой и в третьей строках, нельзя исключить здесь сознательного повтора автора: во внутренней речи подобного рода повторы вполне нормальны.

Авторы упомянутых работ, сосредоточиваясь на значении союза и на статусе придаточного предложения, не задаются вопросом о том, что, собственно, означают строки 3 и 4. Разумеется, и порядочность дяди, и его требования уважения к себе даются в ироническом осмыслении Онегина, но все же – в каком смысле дядя заставил себя уважать? О чем думает Онегин: о том ли, что уважение к дяде внушил сам факт его тяжелой болезни, или о том, что какие-то его поступки или распоряжения во время этой болезни были направлены на снискание уважения? Или же и то и другое? Далее: о каком субъекте уважения думает Онегин? То есть каков подразумеваемый прямой объект при глагольной форме *заставил* – сам Онегин или еще какие-то другие люди? – Думается, не следует категорично настаивать на однозначном решении такого рода вопросов. Мне кажется наиболее вероятной такая версия: Онегин из "доклада" управителя понял, что не только он, но и другие родственники и знакомые дяди извещены о его смертельной болезни и должны приехать с ним проститься – отдать ему дань уважения.

В упомянутых работах в качестве аргументации в основном используются не собственно лингвистические данные, а глобальное содержание романа в стихах, образ

<sup>9</sup> Москвичи этот комментарий оставили, допустив при этом неоправданную вольность в переводе: "Я виноват в произвольном переносе (?). Этого не произошло бы, если бы я сказал то, что Пушкин *хотел* сказать, но не сказал: / Без следа, пусть малого... / Но я, как всегда, предпочитаю в переводе быть верным даже ошибке автора" [Набоков 1999: 310].

главного героя: А.К. Югов, В.С. Непомнящий и Э.А. Тропп отстаивают "условное" понимание придаточного; А.Е. Шилов, возражая Троппу, возвращается к традиционному "временному" пониманию. Экстралингвистические аргументы не представляются мне в данном случае убедительными – в силу их субъективности и в силу общей многогранности как содержания романа вообще, так и образа Онегина в частности. Истолкование (Г) – в условном смысле – об Онегине говорит хуже: порядочность дяди здесь дана как следствие его тяжелой болезни и грядущего наследства (как отмечено в [Шилов 1998], это не согласуется с равнодушным отношением Онегина к наследству, оставленному отцом, которое он предоставил заимодавцам): однако его нельзя безоговорочно отвергать, как делает А.Е. Шилов, полагая, что этот вариант заставляет принять неправдоподобные с его точки зрения "дополнительные постулаты", а именно: 1) у Онегина могут быть сомнения в болезни дяди, несмотря на недвусмысленный "доклад" управляющего; 2) Онегин либо очень беден, либо невероятно алчен (третий постулат мне остался неясен). При всем остроумии аргументов А.Е. Шилова с ними можно и поспорить; однако хотелось бы особо остановиться на серьезном доводе сторонников понимания *когда* в условном значении – доводе, основанном на пунктуационном облике второй строки в первом отдельном издании первой главы романа 1825 года.

В самом деле, в этом издании в конце второй строки мы видим не запятую, а точку с запятой, что привязывает придаточное предложение к первой строке и делает неестественной его интерпретацию во временном значении (см. выше комментарий к отвергнутому варианту (А)). Замену точки с запятой на запятую в последующих изданиях В.С. Непомнящий и Э.А. Тропп склонны объяснить ошибкой наборщика (А.К. Югов, не зная о ее наличии в первом издании, предлагал ее ввести). В [Тропп 1998: 419] говорится о том, что современные издатели «печатают во втором стихе запятую, быть может, "возводя в догмат" старую типографскую ошибку», и в поддержку этого предположения приводится высказанное устно мнение Д.С. Лихачева – в радиопередаче радиостанции "Юность" зимой 1980/81 г. Смысловую значимость точки с запятой принимает и А.Б. Пеньковский [1999: 436 сл.], полемизирующий, правда, с В.С. Непомнящим в отношении его "интерпретационных выводов".

В связи с важностью этой пунктуационной замены обратимся ко всем прожитым изданиям пушкинского романа в стихах, по главам или в полном виде. Во втором отдельном издании первой главы 1829 года, практически не отличающемся от первого издания, в конце второй строки стоит та же точка с запятой<sup>10</sup>. Запятая во второй строке вместо точки с запятой появляется впервые в первом полном издании "Онегина", вышедшем в 20-е числа марта 1833 года (в типографии А.Ф. Смирдина) [Абрамович 1994: 148]<sup>11</sup>. Пушкин внимательно следил за подготовкой издания его "лучшего произведения" (как он назвал "Онегина" в письме к А.А. Бестужеву от 24 марта 1825 г.); в то время поэт уже не так равнодушно относился к "ошибкам правописания, зп(акам) препинания, ошибкам, бессмыслицам", исправлять которые он просил брата и Плетнева в письме к ним от 15 марта 1825 г. В январе – феврале 1833 г. Пушкин деятельно и тщательно готовил к печати первое полное издание "Онегина" (уточнен ряд примечаний, написано несколько новых, включены в текст

<sup>10</sup> Как кажется, Пушкин мало занимался или совсем не занимался этим изданием, предоставив дело Плетневу; оно и вышло в его отсутствие в Петербурге в конце марта. По сравнению с первым изданием имеются лишь немногочисленные поправки, исправления опечаток и т.п. [Смирнов-Сокольский 1962: 211–212].

<sup>11</sup> В [Тропп 1998: 419] в рассказе об упомянутой радиопередаче говорится следующее: "Дмитрий Сергеевич напомнил, что в первом (отдельном) издании 1 главы (1825) в конце второй строки стояла точка с запятой. Этот же знак сохранился в полном издании 1833 г. (...)". Последнее – ошибочно; либо ошибся Д.С. Лихачев, либо Э.А. Тропп неточно изложил его слова (может быть, академик говорил о сохранении точки с запятой во втором отдельном издании 1 главы 1829 г.).

"Отрывки из Путешествия Онегина") [Смирнов-Сокольский 1962: 309–320; Абрамович 1994: 64–66, 119].

Запятая в конце второй строки сохраняется и в последнем прижизненном издании "Евгения Онегина" 1837 года. В отношении этого издания мы располагаем важным свидетельством современника: "Когда заключали условия и делали пробы печати и бумаги, то Пушкин (...) увлекся рассмотрением разных мелочей и подробностей, ему чрезвычайно в этом издании понравившихся (...) Корректурных ошибок не осталось ни одной; последнюю корректуру самым тщательным образом просматривал сам Пушкин" [Смирнов-Сокольский 1962: 390]<sup>12</sup>. Дав эту цитату, Н.П. Смирнов-Сокольский приводит затем убедительные доводы в пользу того, что книгу, помеченную 1837 годом, "начали печатать значительно раньше ее представления в цензуру" [там же: 394] и что Пушкин, тщательно занимавшийся подготовкой издания, скорее всего, держал корректуру в "сверочном" экземпляре еще до тяжелейшего для него ноября 1836 года. А октябрь был еще относительно спокойным. Очень сомнительно, что он при этом мог пропустить корректорскую ошибку во второй же строке, в самом начале романа, где она бросается в глаза; если даже предположить, что запятая появилась в марте 1833 года (вполне спокойном для Пушкина<sup>13</sup>) по недосмотру, то через четыре с половиной года поэт вполне мог вернуть на прежнее место точку с запятой (столь нужную сторонникам условного значения союза *когда*). Нет, предположение о корректорской ошибке выглядит весьма сомнительно.

В.С. Непомнящий [1996: 162], предлагая вернуться к точке с запятой первых двух изданий первой главы, допускает при этом "более затейливый вариант: издавая роман позже, Пушкин ограничился запятой, продолжая избегать жесткости, явственно разоблачительного, до сатиры, характера, который приобретали первые строки в противном случае (...), и пошел на лукавую игру с читателем (...)". А для современного читателя – считает Непомнящий – «"игра", которую позволил себе автор романа, утратила смысл» [там же: 163]. Мне же представляется, что допущение об "игре" с читателем полностью исключает возможность возврата к исходному пунктуационному варианту второй строки: ведь в этом случае замена была вызвана отнюдь не требованиями "превентивной цензуры" (по выражению Р.О. Якобсона). Оставшаяся рукопись, к сожалению, не проясняет дела: в ней первая строфа вовсе лишена знаков препинания.

Итак, современный вид первой строфы "Онегина" допускает все три варианта, а возврат к точке с запятой жестко вынуждает нас выбрать вариант (Г). Поскольку в его пользу решающих аргументов нет и мы не знаем истинных намерений автора (к сожалению, мы их в отношении этой строфы вряд ли когда-либо узнаем), следует оставить начало романа в неприкосновенности, избегая тем самым его неоправданной модернизации и архаизации одновременно<sup>14</sup>.

А теперь попробуем представить себе, как отнесся бы Пушкин к вопросу о содержании начала своего романа и как он мог бы на него отреагировать. Отвечать на подобные вопросы поэтам непросто: порой они испытывают странные затруднения по поводу самоуяснения содержания собственных стихов<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Упомянутое свидетельство (приказчика В.П. Полякова) Н.П. Смирнов-Сокольский цитирует по "Краткому обзору книжной торговли и издательской деятельности Глазуновых за сто лет. 1782–1882" (СПб., 1903), впервые опубликованному в 80-х годах XIX в.

<sup>13</sup> С.Л. Абрамович [1994: 7] называет 1833 год "самым счастливым годом" семейной жизни Пушкина, ознаменованным "неугасающей энергией вдохновения".

<sup>14</sup> Помещая точку с запятой в конце второй строки, мы модернизируем ее относительно последнего прижизненного издания в пользу новейшей трактовки (условной интерпретации союза), но при этом архаизируем в сторону первых двух изданий первой главы.

<sup>15</sup> В связи с этим хотелось бы привести слова Ф. Ницше (из письма к Фуксу), процитированные А.Г. Горнфельдом [1922: 104]: «(...) ни для поэта, ни для музыканта нет *единоспасающей интерпретации* (сам поэт абсолютно не авторитетен в истолковании смысла

Есть интересное свидетельство о Булате Окуджаве. Однажды его спросили, как следует расставить знаки препинания в следующих строках его песни:

Зачем мы перешли на ты?  
За это нам и перепало  
На грош любви и простоты,  
А что-то важное пропало.

Булат Шалвович указал именно такую пунктуацию и в свою очередь спросил, почему это интересует собеседницу – это была лингвистка А.А. Раскина. В ответ на это она рассказала ему такую историю (которую Раскина изложила в мемуарной заметке о Л.В. Кнориной [СиИ-34: 249–250]).

В одном из московских информационных институтов сотрудники стали спорить по поводу смысла этих строк: одни понимали глагол *перепало* в значении – ‘пришлось, досталось на долю’ (тогда “на грош любви и простоты” – это партитивное подлежащее при *перепало*), а другие приписывали ему в данном контексте значение, связанное с какой-то неприятностью, наказанием (тогда вторая строка – это безличное предложение, словоформа *перепало* приблизительно синонимична словоформе *попало* или *влетело*, а “На грош любви и простоты” – отдельное безглагольное предложение). Выбор варианта был связан с отсутствием / наличием запятой в конце второй строки, но никто из споривших этого текста в печатном виде никогда не воспринимал, а только слышал в песенном исполнении или пел сам. После разъяснения автора стало ясно, что правы сторонники первого истолкования.

Выслушав его, Окуджава неожиданно признал возможность и другого осмысления: «А вы знаете, ведь можно и так понять. (...) эта песня не всерьез. Она ироническая. (...) Вот это второе значение слова “перепало”, оно такого низкого, что ли, стилия. Так пусть лучше будет снижение стилия, чем таким высоким штилем {...}» [там же: 250].

Существовало ли это второе понимание в сознании (или подсознании) поэта, когда он сочинял обсуждаемые строки? – Ответа на этот вопрос мы не узнаем никогда. Но судя по неожиданному повороту разговора, если бы не оковы пунктуации, Окуджава предпочел бы такое внешнее оформление этого текста, которое допускало бы оба варианта. А в онегинском случае дело обстоит по-другому: здесь пунктуация (пресловутая запятая во второй строке) действительно допускает разные истолкования.

Исключить такого рода ситуации неопределенности, равно как и сознательно создаваемой поэтом двойственности, мы не можем. Неопределенность начала “Онегина” вполне могла быть преднамеренной, и поэтому призыв Э.А. Троппа [1998: 419] “вернуть пушкинским стихам характерную для поэта ясность” следует воспринимать со здоровым скептицизмом. Слишком упрощенно в применении к загадочному волшебству поэзии Пушкина выглядит характеристика “поэтическая прозрачность” (Н.П. Огарев), на которую ссылается Э.А. Тропп.

Попытки однозначно разрешить загадку, прояснить ситуацию могут в ряде случаев идти вразрез с авторским замыслом, или противоречить реальной “множественности смыслов”<sup>16</sup> соответствующего текста, или не иметь оснований в текстологической и житейской реальности. Думается, именно такова тайна начальных строк “величайшей русской книги” [Непомнящий 1996: 164].

---

своих стихов: есть удивительнейшие доказательства того, как неясен и неопределен для них этот “смысл”)» [курсив у Горнфельда, подчеркивание мое. – Н.П.]. Страницей ниже сам Горнфельд пишет: “Созданное художественное произведение не пребывает во веки веков в том образе, в котором создано: оно меняется, развивается, обновляется, наконец умирает: словом, живет”.

<sup>16</sup> Это выражение Р.О. Якобсона, высказанное по поводу поэтических произведений Пушкина, напоминает Анна Зализняк [1998: 41], характеризующая феномен неявной лексико-грамматической неоднозначности в лапидарной формуле: “двойкая грамматическая интерпретация как смыслопорождающий прием” [там же: 39] (жаль, что она не вынесена в название статьи).

(2.2) Лишь я, таинственный певец, / На берег выброшен грозою, /  
Я гимны прежние пою (...), ("Арион") (НЕ)

Выделенный фрагмент может трактоваться либо как группа сказуемого к подлежащему я, либо как обособленный определительный причастный оборот к этому местоимению; соответственно, в первом случае мы имеем здесь сложносочиненное предложение, а во втором – одно распространенное предложение с повтором подлежащего я.

В пользу второго варианта говорит наличие в этом же стихотворении, в предшествующих строках, аналогичной конструкции: "А я, беспечной веры полн, / Пловцам я пел" (обособленный определительный оборот и повторяющееся подлежащее выделены); стих звучит как-то естественнее, голос автора как бы в волнении пресекается после определительного оборота, после чего следует повтор подлежащего; подобного рода определительные обороты с кратким причастием вполне обычны для поэтического текста Пушкина и вообще для синтаксиса пушкинской поры. Интересны данные автографа: здесь мы видим тире, обрамляющие причастный оборот ([Пушкин 1995: С. ПД. 833: 37], 3-я Кишиневская рабочая тетрадь), что также свидетельствует в пользу второго варианта<sup>17</sup> (см. Рис. 1).

Однако – вопреки безоговорочному мнению, высказанному в [Еськова 1999: 54 сл.], – категорически отвергать первый вариант, мне представляется, было бы опрометчиво. Во-первых, не знаменательна ли указанная замена тире на запятые? Во-вторых, каждый из вариантов дает особое противопоставление ситуаций до и после гибели челна: гибель товарищей противопоставлена в первом случае спасению лирического героя, в пользу чего свидетельствует ограничительная частица *лишь* при местоимении я ('Кормщик и пловец погибли, а я на берег выброшен грозою'), а во втором – пению прежних гимнов ('Кормщик и пловец погибли, а я пою прежние гимны'). Каждое из истолкований имеет свои сильные стороны: первое более логично и лингвистически подкреплено наличием ограничительной частицы, второе обладает более глубинным подтекстом. Мне кажется бесплодным настаивать на каком-то единственном верном варианте истолкования этих строк: для этого нет никаких решающих данных (оставь автор тире в первопечатном тексте, таковые были бы и безоговорочно свидетельствовали бы в пользу второго варианта), а внешний, житейский и лирический, контекст стихотворения можно с одинаковым успехом обратить в пользу любого варианта. Как и в случае начала "Онегина", здесь нельзя исключить авторского замысла, направленного на создание скрытой неоднозначности.

(2.3) Она страдала, хотя была прекрасна / И молода, хоть жизнь ее текла / В  
роскошной неге; хоть была подвластна / Фортуна ей; хоть мода ей несла /  
Свой фимиам, – она была несчастна. (ДК-XXIV)

Речь автора взволнованна: нанизываются одно за другим уступительные придаточные предложения, перечисляющие обстоятельства, противоречащие обоснованности страданий графини. Последнее из этих уступительных предложений – "хоть мода ей несла / Свой фимиам" – имеет как бы двойное синтаксическое подчинение: с одной стороны, оно, по инерции сочинительного перечисления, притягивается к предшествующему члену сочинительной цепочки; с другой стороны, примыкая к последнему предложению этого отрывка – "она была несчастна", – оно втягивается в сферу его подчинения. Мы наблюдаем здесь явление, свойственное исключительно разговорной речи.

<sup>17</sup> Первопечатный текст – "Литературная газета", 1830, № 43, с. 52 – дает другой пунктуационный облик, справедливо сохраняющийся в последующих и в современном воспроизведении "Ариона".

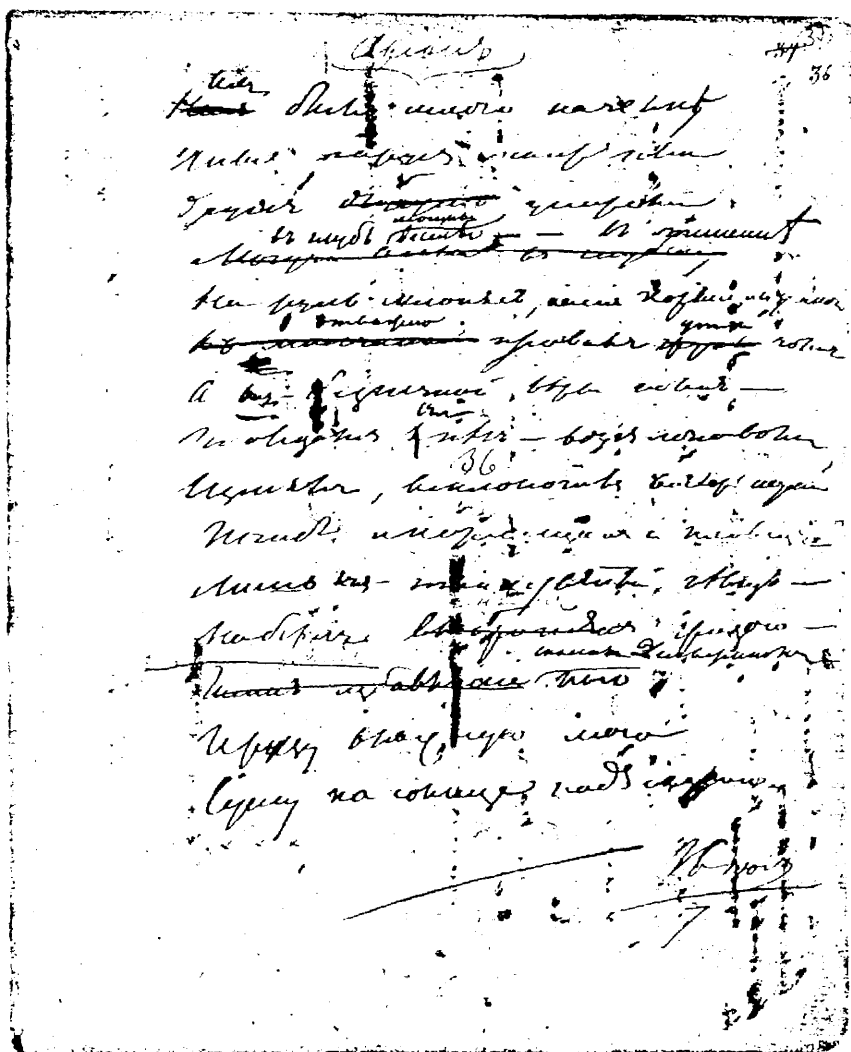


Рис. 1. "Арион". Перебеленный автограф с правкой (Пушкинский дом, ф. 244, оп. 1, № 833, л. 37).

Это явление, названное в книге [PPP 1973: 339–341] "синтаксической интерференцией", иллюстрируется в ней многочисленными примерами типа *На юге темнеет быстро солнце садится*, где наречие *быстро* имеет сразу двух синтаксических "хозяев":

"С точки зрения экстралингвистической интерференция обусловлена прежде всего неподготовленностью разговорной речи. Говорящий, начиная высказывание, часто не планирует его до конца, конец оказывается первоначально не заданным. Высказывание разворачивается линейно – от одного члена к другому – и все время остается открытым для новых членов".

Очень интересны колебания Пушкина в этом месте: в черновике после слова "фимиам" мы видим жирную точку, переделанную из запятой, а в следующем слове первая буква переделана из строчной в прописную, тем самым эта короткая фраза

изолировалась от предыдущего периода (см. Рис. 2). В дальнейшем поэт вернулся к исходному варианту, видимо, интуитивно чувствуя его уместность в свете общей речевой ориентации текста поэмы – ориентации на полноценное речевое общение, когда говорящий и слушающий видят и слышат друг друга.

(2.4) И вот общественное мнение! / Пружина чести, наш кумир!  
И вот на чем вертится мир! (ЕО-6-XI) (ВН)

В.С. Непомнящий [1996: 151–152] обратил внимание на синтаксическую неоднозначность этих строк: словосочетание *наш кумир* может трактоваться как приложение к предшествующему в той же строке – *пружина чести* – или же как часть сочиненного приложения к именной группе *общественное мнение* предыдущей строки. В первом случае мир вертится на пружине чести, а во втором – на общественном мнении. Мне представляются соображения В.С. Непомнящего в пользу второго прочтения в высшей степени убедительными. Однако следует ли считать данную неоднозначность случайной?

Синтаксическая парцелляция строки с двумя приложениями достигается графическими средствами – восклицательным знаком и номером авторского примечания ("38. Стих Грибоедова"); вследствие этого *наш кумир* – приложение к словосочетанию *общественное мнение* – вступает в тесный контакт с предшествующим однородным членом – *пружина чести* (приложением к тому же словосочетанию) – так, что возникает возможность посчитать и честь кумиром. И может быть, такое соотнесение тоже правомерно: боязнь общественного мнения, ложно понимаемая честь, ради которой Онегин боится "чувства обнаружить", приводят к дуэли и к гибели поэта.

(2.5) И альманахи, и журналы, / Где поученья нам твердят, Где нынче так меня  
бранят, / А где такие мадригалы / Себе встречал я иногда, / E sempre bene,  
господа. (ЕО-8-XXXV) (ВН)

Итальянское выражение последней строки в изданиях "Онегина" переводится 'И отлично'. В.С. Непомнящий [1996: 136, 148] (со ссылкой на А.А. Вишневого) указал другое возможное понимание – 'И на том спасибо, господа'. При таком понимании эта строка может интерпретироваться как авторские слова ("Спасибо, что иногда я встречал и мадригалы себе, а не только брань") или как передача содержания упоминаемых двумя строками выше мадригалов (как формулирует Непомнящий, «Пушкин, мол, напечатал Седьмую главу своего "Онегина" – не Бог весть что, но и на том спасибо, господа!»). Т.е. мы здесь имеем либо сложносочиненное предложение, либо бессоюзное сложное предложение, второй компонент которого раскрывает содержание первого.

В прижизненных изданиях в конце предпоследней строки стояла запятая, которая склоняет к интерпретации последней строки в первом смысле – как авторских слов. В шестом томе Академического издания эта запятая была заменена двоеточием, жестко предопределяющим вторую интерпретацию. К ней присоединяется и В.С. Непомнящий, полагая, что в противном случае появляется некая недосказанность: «Слово "такие" повисает без всяких уточняющих, и нет никаких оснований приписывать ему ни хвалебный (...), ни противоположный смысл, даже если пойти на недопустимую интонационную вольность и внести в пушкинскую литературную речь современное устное: "А где та-аки-и-е мадригалы!..."; смысл слова "такие" все равно будет неясен (...)" [Непомнящий 1996: 149].

Так ли уж недопустима "интонационная вольность", о которой говорит Непомнящий? Нечто подобное мы встречаем у Пушкина – ср. примеры в [СЯП, IV: 471] на значение 2 в словарной статье ТАКОЙ, формулируемое следующим образом: "Указывает на большую степень проявления какого-н. свойства, качества, состояния", число



\* XXXII

Она <sup>имеется</sup> ~~бывшая~~ ~~мужья~~ — ~~тогда~~ ~~сначала~~  
 и ~~сначала~~, ~~кто~~ ~~был~~ ~~он~~ ~~тогда~~  
~~то~~ ~~прошедшим~~ ~~вот~~; ~~кто~~ ~~был~~ ~~хотел~~  
~~Фортуну~~ ~~и~~, ~~кто~~ ~~мода~~ ~~и~~ ~~кто~~  
~~свой~~ ~~в~~ ~~милый~~, ~~она~~ ~~была~~ ~~нежная~~ —  
<sup>Господи</sup>  
~~Многомудрый~~ ~~именно~~ ~~и~~ ~~бываю~~,  
~~вместе~~, ~~какая~~ ~~милая~~ ~~любовь~~  
~~прощай~~, ~~кто~~ ~~был~~ ~~моя~~ ~~жизнь~~.

Рис. 2. Строфа XXXII Белового автографа с поправками поэмы "Домик в Коломне"; в окончательном тексте эта строфа получила номер XXIV (Пушкинский дом, ф. 244, оп. 1, № 915, л. 6 об.).

подобных употреблений – 99: "Так вот кого любил я пламенной душой / С таким тяжелым напряженьем, / С такою нежною, томительной тоской, / С таким безумством и мученьем!"; "И того ль искали / Вы чистой, пламенной душой, / Когда с такою простотой, / С таким умом ко мне писали?". Именно к этому значению отнесено в [СЯП] обсуждаемое употребление лексемы ТАКОЙ, и мне это кажется вполне допустимым. Правда, возникает вопрос: как понимать "большую степень проявления" чего-либо в случае мадригала? – Можно, например, так: "в высшей степени хвalebный".

Да, смысл слова *такие* здесь не вполне ясен, но разве мало у Пушкина мест, когда он предоставляет читателю додумывать некий брезжущий в тумане смысл?

Итак, как мне представляется, в данном случае пунктуационная коррекция Академического издания некорректна: она полностью отбрасывает тот смысл, который мог иметь в виду автор. Здесь мы снова сталкиваемся с неявной синтаксической неоднозначностью.

(2.6) Я вас узнал, о мой Оракул! / Не по узорной пестроте / Сих неподписанных каракул, / Но по веселой остроте (...). ("Ответ")

Возникающая здесь синтаксическая неоднозначность обуславливается исключительно разделением стихотворной речи на строки: либо первая строка составляет отдельное предложение, а продолжение – это парцеллируемый фрагмент, либо первая строка и продолжение объединяются в одну фразу. При передаче этого текста без разделения на строки после восклицательного знака в первом случае должна стоять прописная буква, а во втором – строчная.

Следует сказать, что данная синтаксическая неоднозначность на содержании почти никак не сказывается, однако выбор варианта существенно влияет на способ интонирования этих строк. В первом случае глагол несет не себе более четкое фразовое ударение, слово "Оракул" характеризуется падением тона, завершающим фразу, после него должна следовать пауза, а отрицательная частица, начинающая вторую фразу, произносится без редукции гласной. Во втором случае все указанные четыре признака меняются на другие: фразовое ударение смещается к словосочетанию

узурной пестроте. Оракул интонируется с повышением тона, пауза между строками минимальна, гласная отрицательной частицы редуцирована<sup>18</sup>.

(2.7) Пора, пора! рога трубят {...} ("Граф Нулин") (НЕ)

Этот нетривиальный пример синтаксической неоднозначности отмечен в [Еськова 1999: 71–72] (со ссылкой на устное сообщение Г.А. Лескиса): первые две словоформы строки можно понимать либо как авторское восклицание (обычное понимание), либо – вопреки пунктуации – как прямую речь "рогов" – то, что они трубят (Н.А. Еськова указывает, что в "Евгении Онегине" есть похожее место – с проясняющим тире: "Придет ли час моей свободы? / Пора, пора! – взываю к ней {...}" – ЕО-1-1). Встает вопрос: надо ли разрешать эту неоднозначность? Мы никогда не узнаем, какой вариант имел в виду автор, но у нас нет оснований приписывать ему какой-то жесткий ригоризм в данном случае. Не мог ли бы он, если бы у него об этом спросили, ответить, что можно выбрать любой вариант или оба сразу? Мне кажется, что этот стих вполне естественно озвучивается с интонацией, оставляющей полную свободу выбора.

(2.8)<sup>#</sup> Татьяна (русская душою, / Сама не зная почему) / С ее холодною красою / Любила русскую зиму {...} (ЕО-5-IV) (ВН)

Этот интересный случай неоднозначности анализируется В.С. Непомнящим [1996: 52 сл.]: с каким компонентом фразы семантически соотносится вопросительное наречие *почему* – с сочетанием *русская душою* внутри скобок или с глаголом *любила* вне скобок? Т.е. что же здесь подразумевается как неизвестное Татьяне – причина "русскости" ее души или причина ее любви к русской зиме?

В.С. Непомнящий убедительно показывает, что в качестве основного здесь выступает второй вариант ('Татьяна не знает, почему она любит зиму'): об этом свидетельствует и пунктуация (запятая внутри скобок), и черновой вариант расположения строк, однако «{...} эта сплетенность двух мотивировок в одно целое, поданное крупным планом, в раме скобок, усиливает {...} дополнительный семантический призыв "русская... Сама не зная почему" {...}» [там же: 155]. Тем самым, в цельном истолковании этого четверостишия можно предполагать присутствие обоих смыслов – вследствие несколько необычного пунктуационного обрамления. (Следует отметить, что с возможностью "сплетения" двух мотивировок согласятся не все; так, А.Б. Пеньковский считает, что, судя по черновым вариантам, Пушкин "превратил загадку ее любви к зиме в загадку ее любви к русской душе" [Пеньковский 1999: 433].)

(2.9)<sup>#</sup> {...} Или над Летою усыпленной / Поэт, бесчувствием блаженный, / Уж не смущается ничем, / И мир ему закрыт и нем? / Так! равнодушное забвенье / За гробом ожидает нас. / Врагов, друзей, любовниц глас / Вдруг молкнет. Про одно именье / Наследников сердитый хор / Заводит непристойный спор. (ЕО-6-XI) (МШ)

В данном случае синтаксической неоднозначности в собственном смысле слова нет: фраза с подчеркнутой словоформой синтаксически однозначна – неоднозначно здесь восстановление актантов словоформы *забвенье*. На двойственность ее семантики в данном отрывке обратил внимание М.И. Шапир [1999: 106]: отсутствующие в тексте актанты *забвенья*, т.е. субъект – 'кто забывает' – и содержание – 'что / кого забывает', могут восстанавливаться по-разному: (1) субъект – покойный, содержание – ос-

<sup>18</sup> Художественная – лингвистическая и стихотворная – игра во внешне легком и непритязательном мадригальном стихотворении "Ответ" рассматривается в статье [Перцов 1999].

тавленный им мир; (2) субъект – живые люди, содержание – покойный. Вопрос относительно "бесчувствия" покойного Ленского, выраженный в начинающем эту цитату предложении, сначала склоняет к варианту (1); фраза об умолкнувшем гласе, допуская оба варианта, сдвигает внимание все же в направлении варианта (2); однако заключительная фраза о наследниках, занятых исключительно своими правами, не вспоминающих покойного, решительно перемещает внимание к варианту (2). Оба противоречащих истолкования присутствуют в строфе и друг друга освещают.

Иногда синтаксическая неоднозначность возникает только при восприятии текста в старой орфографии или с учетом особенностей последней. О двух таких случаях в "Евгении Онегине" идет речь в статье [Шапир 1999]:

- (2.10) (а) Волшебный край! Там в стары годы, / Сатиры смелой властелин, /  
Блистал Фонвизин, друг свободы <...> (ЕО-1-ХVIII) [М + С] <И>  
(б) Или над Летой усыпленной / Поэт, бесчувствием блаженной, / Уж не  
смущается ничем <...> (ЕО-6-ХI) <МШ>

В обоих случаях подчеркнутые словоформы – прилагательные с безударными окончаниями – в старой орфографии могли обозначать либо формы женского рода (как в современном языке), либо формы мужского – именительного / винительного (неодушевленного) падежа (в современном языке в таком случае возможны только *смелый* и *блаженный*). В примере (а) в первом случае имеется в виду *смелая сатира*, во втором – *смелый властелин*; в примере (б) в первом случае – *усыпленная Лета*, во втором – *усыпленный поэт*. М.И. Шапир справедливо критикует текстологические решения Академического собрания сочинений Пушкина, изменившие орфографию оригинала в пользу *смелого властелина* и *усыпленного поэта*<sup>19</sup> (приведенные цитаты в Академическом и современных изданиях "Онегина", к сожалению, печатаются со словоформами "смелый", "усыпленный" и "блаженный").

Не имея возможности пересказывать все аргументы М.И. Шапира, я укажу их главное ядро: в подавляющем большинстве случаев в "Онегине" (как и в других произведениях зрелого Пушкина) прилагательные мужского рода с безударным окончанием *-ой* занимают только позицию рифмы для графического соответствия другой форме на *-ой*, т.е. для достижения так называемой зрительной (или глазной, или графической) рифмы<sup>20</sup>: ср., с одной стороны, [ночи] *благосклонной* – [колodник] *сонной*, [надписью] *печальной* ~ [прах] *патриархальной, угрюмой* [Онегин] – *думой*; с другой стороны, *возвращенный* [Ленский] – [памятник] *смиранный, безумный* – *шумный* [вихорь вальса]; отступлений от указанной закономерности ничтожно мало.

Итак, в случае подчеркнутых словоформ двух разобранных примеров следует вернуться к орфографии оригинала. Надо сказать, что при любом решении для неискущенного современного читателя синтаксическая неоднозначность оригинала снимается. Однако, меняя орфографию, мы полностью уничтожаем вероятный смысл, который имел в виду автор; сохраняя ее, мы оставляем возможность в комментарии указать другое возможное (хотя в последних двух примерах крайне маловероятное) осмысление.

<sup>19</sup> Если кого-либо смутит отнесение эпитета *усыпленный* к Лете, напомним приведенный М.И. Шапиром пример из "Прозерпины": "Элизей и томной Леты / Усыпленные брега".

<sup>20</sup> Проблема рифм на *-ой* у Пушкина подробно обсуждается Л.С. Сидяковым [1997: 15 сл.], с конечным выводом которого следует согласиться: "{...} можно {...} признать целесообразным сохранение пушкинских написаний в рифмах на *-ой* там, где это бесспорно подтверждается источниками, особенно рукописными" [там же: 17]. Далее Л.С. Сидяков говорит о необходимости крайне осторожного отношения к авторским пунктуационным знакам Пушкина, которые нередко игнорируются в современных воспроизведениях пушкинского текста (в частности, в [Пушкин 1999]).

Другой любопытный тип омоформ представляют собой архаичные формы прилагательных на *-ья/ця*: то ли род, падеж ед. число женск. рода, то ли им. / вин. падеж мн. числа. В большинстве случаев контекст разрешает морфологическую неоднозначность (например, "Тайна брачные постели" ~ "И вы, красотки молодья"), однако не всегда. Случаи последнего типа отмечены в [Вацуро 1999: 260]: "Надежды робкия черты" ("К живописцу"); к ним можно добавить аналогичные примеры – строки из "Кавказского пленника": "Во дни печальныя разлуки"; "Делил души младяя впечатленья"; "Преданья темныя молвы" (см. [Панфилов 1995]). Для подобных случаев В.Э. Вацуро настаивает на неизменном прояснении неоднозначности [Вацуро 1999: 260]:

"Каждый раз текстолог вынужден интерпретировать текст, и иногда условно; он должен быть готов к тому, что его толкование будет оспорено, но он не вправе уходить от него, ссылаясь на пушкинское написание, и предлагать читателю самому выбрать удобную ему форму. Такая толерантность – лукавство: ведь не предлагает же издатель читателю самому прочесть пушкинский черновик, также допускающий разные толкования!"

И вот в недавно выпущенном первом томе нового Академического собрания Пушкина [Пушкин 1999: 162] строка 6 стихотворения "К живописцу" предстает, увы, в модернизированном виде: "Надежды робкие черты" – в отличие от варианта старого Академического издания, сохраняющего орфографию оригинала (мне кажется предпочтительным как раз такое толкование – "черты робкой надежды").

Аргумент В.Э. Вацуро, апеллирующий к практике расшифровки черновиков, принять никак нельзя: черновик в большинстве случаев рядовой читатель разобрать вообще не может; кроме того, в транскрипциях черновиков сомнительные места отмечаются особым образом – с помощью угловых скобок. С требованием, которое предъявляет текстологу уважаемый пушкинист, – быть интерпретатором текста, – я решительно не согласен. Текст, допускающий равнозначные толкования, ни в коем случае не должен подвергаться модернизации в отношении пунктуационно-орфографического режима; все, относящееся к интерпретации, все сомнения можно вынести в комментарий<sup>21</sup>. В ряде случаев разбор вариантов синтаксической неоднозначности – задача не столько текстологического комментария, сколько литературоведческого. Например:

(2.11) Он из Германии туманной / Привез учености плоды {...} (ЕО-2-VI) (И)

Линейный порядок словоформ почти однозначно – для большинства читателей – привязывает прилагательное к *Германии*, однако в семантическом отношении оно вполне может быть присоединено к *учености*. Оба лучших комментария к "Онегину" – [Nabokov 1981; Лотман 1981] – оставляют синтаксическую неоднозначность этой фразы без внимания (во втором – с. 183 – говорится, что этот стих "связывал образ Германии с романтизмом"; в [СЯП, IV: 599] словосочетание "туманная Германия" характеризуется аналогично: "о Германии как центре идеалистических философских

<sup>21</sup> Признавая справедливость многих возражений В.Э. Вацуро в ответ на критику В. Лефельдта [1998], я никак не могу согласиться с тем, что критическое "здание" немецкого профессора "при первом соприкосновении с реальностью рассыпается, как карточный домик" [Вацуро 1999: 266]. Хотя многое в нем Вацуро удалось *расшатать*, оно все же достаточно прочно в отношении общей ориентации – установки на тщательную продуманность и осторожность при принятии модернизирующих решений по правописанию оригинала. К сожалению, в [Пушкин 1999] такой установки не видно; орфографический и пунктуационный режим издания бегло изложен на неполных двух страницах – 566 и 567, где (как и в старом Академическом издании) отсутствует аргументация принятых решений. Представляется, что подобная аргументация была бы гораздо важнее, чем несколько устаревшая, публикуемая уже в третий раз двадцатистраничная статья В.Е. Холшевникова о стихосложении Пушкина-лицеиста.

течений и романтических направлений в литературе"). Ясно, что если эта неоднозначность и достойна анализа, то, пожалуй, не в рамках текстологического комментария. С текстологией здесь все в порядке.

Думается, в последнем случае мы также имеем дело с неявной синтаксической неоднозначностью: эпитет как бы одновременно вовлекает в свою сферу и Германию, и привезенную оттуда ученость. Германия туманна как "страна туманной учености" (т.е. здесь можно предполагать неявную эналлагу – перенос определения от синтаксического слуги к хозяину); тем самым, культурологическая реалья выступает под видом климатической. Вспомним строку из второй главы Онегина – "Под небом Шиллера и Гете", в котором "небо" понимается не столько как обозначение части пространства над страной, сколько как поэтический символ. (Последними соображениями автор обязан М.И. Шапиру.)

(2.12) Тьмы низких истин мне дороже / Нас возвышающий обман... ("Герой") <ТН>

В этом примере обнаруживается интересный пример неоднозначности, связанной с интерпретацией адъективного определения в квалификативном или рестриктивном смысле: 'истины, которые все являются низкими' или 'те из истин, которые являются низкими' [Николаева 2000]. Вторая интерпретация предполагает особое просодическое выделение прилагательного.

### 3. ГРАММЕМА НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ

Известно, что грамматические значения допускают неоднозначную интерпретацию. Наряду с основным, нейтральным значением, граммема может употребляться в так называемых непрямах, переносных значениях; неоднозначность свойственна грамматическим значениям, как и лексическим. Например, множественное число существительных может обозначать не только количество объектов более одного (прямое значение), но и протяженное пространство (*снега*), неопределенность (*Осторожно, здесь гвозди* – при наличии одного обнаруженного гвоздя), гиперболу (*Кто это кошелек разбрасывает?* – при наличии ровно одного кошелька). Функция настоящего времени глагола отнюдь не сводится к обозначению одновременности события с моментом речи: настоящее время может относиться и к прошлому, и к будущему, может обладать и другими функциями.

Нет никаких общетеоретических препон для проявления неявной неоднозначности и в этой сфере. Однако здесь я не располагаю столь же богатой коллекцией примеров, как в лексической и синтаксической сферах. По-видимому, неявная граммемная неоднозначность встречается гораздо реже.

Пример, иллюстрирующий это явление, взят из первой строфы "Домика в Коломне" (самого "лингвистичного" произведения Пушкина):

(3.1) Ведь рифмы запросто со мной живут; / Две придут сами, третью приведут.

Будущее простое в русском языке, кроме своего основного значения – указания на следование ситуации за некоторым моментом (чаще всего – моментом речи), – может обозначать часто повторяющееся, обычное событие (причем, необязательно в сфере настоящего): *Всегда она испортит настроение; "...* В кухарке толку / Довольно мало: то переварит, / То пережарит, то с посудой полку / Уронит (...)" (ДК-XXXII). В каком значении выступает будущее время в двух выделенных глагольных формах в (3.1)? Они могут пониматься как характеристика ожидаемого поведения рифм в создаваемом тексте – и тогда это обычное будущее: следование за условным моментом речи автора. Однако допустимо и другое понимание этих глагольных форм – как описания обычного подчинения рифм воле автора – не только в создаваемом тексте, но вообще во всяком (автор хочет сказать: 'Я справился бы с тройной рифмой, ибо

рифмы вообще подчиняются моей воле<sup>22</sup>); тогда здесь реализуется не прямое, узуальное, значение будущего простого<sup>22</sup>.

Представляется, что у нас нет оснований уверенно предпочесть какое-либо из указанных пониманий и что в данном случае вполне уместно констатировать случай неявной грамматической неоднозначности. Вопросу о том, входила ли она в замысел автора, видимо, суждено вечно оставаться открытым.

В связи с данным типом лингвистической неоднозначности рассмотрим другой пример – отмеченную Л.В. Щербой [1957: 33] возможность двойственной интерпретации глагольной формы в последней строке пушкинского "Воспоминания":

(3.2) И с отвращением читая жизнь мою, / Я трепещу и проклинаю, / И горько жалуясь, и горько слезы лью, / Но строк печальных не смываю.

Л.В. Щерба пишет: "Затруднительным представляется понимание и чтение стиха 16. Спорным является, не хочет или не может автор смыть печальные строки. Я решаю его в первом смысле (...)" К обсуждению этого вопроса обратилась и Н.А. Еськова [1999: 60 сл.], отметившая, что на него "вероятно, никогда не будет дано окончательного ответа".

Мне представляется, что множественность интерпретации грамматического значения глагольной формы имеет в данном случае экстралингвистическую природу: глагольное время здесь имеет значение так называемого "расширенного" настоящего времени. Возможные модальные обертоны, которые могут быть привнесены в данном случае ('не хочу смыть' или 'хочу смыть, но не могу'), не являются частью грамматического значения, но следствием интерпретации, внешней по отношению к собственно лингвистической стороне текста. Глагольная форма в строго лингвистическом аспекте означает: 'в условный момент авторской речи автор не смывает печальных строк' – и ничего более. Возможность привнесения в нее модального смысла связано со значением не времени, а несовершенного вида: ведь в прошедшем и в будущем времени глагол тоже может выражать значение возможности: *Он говорил / будет говорить по-французски* может означать 'умел говорить / будет уметь говорить'.

#### 4. АНАФОРИЧЕСКАЯ НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ

Данный тип неоднозначности автор может проиллюстрировать только одним примером, обнаруженным Т.М. Николаевой [2000]:

(4) Она должна в нем ненавидеть / Убийцу брата своего; (...) (ЕО-7-XIV) (ТН)

Антецедентом притяжательного местоимения здесь может быть либо словоформа *она*, относящаяся к Татьяне (и тогда Ленский как жених Ольги осмысливается как возможный родственник Татьяны), либо словоформа *нем*, относящаяся к Онегину (и тогда Ленский понимается как "духовный брат" Онегина) (см. [Пеньковский 1999: 315–316]).

#### 5. РЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ

В этом разделе мы рассмотрим случаи неоднозначности текста, не являющейся в собственном смысле лингвистической, т.е. связанной с неоднозначностью языковых единиц и конструкций. Такого рода неоднозначность выше была названа экстралингв-

<sup>22</sup> Стоит обратить внимание на возможность истолковать окончание последней строки – "третью приведут" – не как группу сказуемого – однородный член (наиболее вероятное прочтение), а как неопределенно-личное предложение (с нулевым подлежащим – 'какие-то люди'); тем самым, здесь на грамматическую неоднозначность накладывается синтаксическая. Правда, неопределенно-личное истолкование, если оно возможно, вряд ли сочетается здесь с узуальным истолкованием глагольных форм.

вистической. Спектр случаев экстралингвистической неоднозначности весьма широк – сюда попадает, в частности, всякая множественная интерпретация текста, связанная с соотношением текста и изображаемой в нем реальности. Анализ экстралингвистической неоднозначности – удел литературоведения, лингвистика здесь может играть лишь вспомогательную роль. Тем не менее, и в этой сфере могут быть любопытные для нашей науки сюжеты<sup>23</sup>.

Из разновидностей экстралингвистической неоднозначности тесно соприкасается с лингвистическими проблемами так называемая "референциальная неоднозначность" – феномен неоднозначного соотношения тех или иных текстовых фрагментов с другими фрагментами или с реальностью. (Словосочетание "референциальная неоднозначность" – это, так сказать, "термин на случай"; нам неизвестно его массовое употребление в лингвистических работах.) Рассмотрим четыре таких случая у Пушкина.

(5.1) Британской музы небылицы / Тревожат сон отроковицы, {...} (ЕО-3-ХП) (НЕ)

Под "отроковицей" в контексте этой строфы обычно понимают Татьяну – тем более, что в предшествующих строфах речь шла о круге ее чтения. Однако, если принимать во внимание не только этот узкий контекст, но и широкий контекст романа, в частности, чтение Татьяны в кабинете Онегина в седьмой главе, более правдоподобно понимание словоформы *отроковицу* как бы с неопределенным артиклем – в смысле: "Теперь и девочки читают Байрона" [Еськова 1999: 12]. Именно так в своем комментарии трактует это место В.В. Набоков [1998: 304]: "⟨...⟩ список авторов XII строфы принадлежит барышне 1824 г. – современнице Пушкина – и включает любимых авторов Онегина 1820 г.".

И все же, оставаясь в рамках текущего изложения в окрестности XII строфы третьей главы пушкинского романа в стихах, следует признать неявную референциальную неоднозначность в случае словоформы *отроковицу* (то ли Татьяна, то ли вообще всякая – или какая-то – отроковица) – тем более, что конкретно-референтное понимание скорее поддерживается местоименной заменой этой словоформы в следующей же строке: "И стал теперь ее кумир / Или задумчивый Вампир, / Или Мельмот, бродяга мрачный, {...}". Можно ли поручиться, что автор имел в виду здесь ровно одно прочтение и что он не подразумевал некоторой "референциальной игры" с читателем?

(5.2) {...} Ныне злобно, / Врагам наследственным подобно, / Как в страшном,  
непонятном сне, / Они друг другу в тишине / Готовят гибель хладнокровно...  
(ЕО-6-XXVIII) (ТН)

Какой сон здесь имеется в виду – тот сон, который видела Татьяна в пятой главе, или вообще любой "страшный, непонятный сон" [Николаева 2000]?

(5.3) И свет ее [Музу] с улыбкой встретил. / Успех нас первый окрылил; / Старик  
Державин нас заметил / И, в гроб сходя, благословил. (ЕО-8-П) (НЕ)

Н.А. Еськова [1999: 27 сл.] задает вопрос о референте местоимения 1 лица мн. числа в этом фрагменте: "Кого благословил старик Державин?" Местоимение *мы* –

<sup>23</sup> Отметим, что в разделах 1 и 2 нам уже встречались примеры экстралингвистической неоднозначности: пример (1.10) – со словом *труд* – объединяет, как кажется, оба типа неоднозначности – неявную лингвистическую ('деятельность' / 'результат') и экстралингвистическую (деятельность декабристов до каторжного заключения и их работа в руднике); промежуточный (между лингвистикой и "экстралингвистикой") характер носит неоднозначность при установлении сферы действия наречия *почему* в (2.8) и при восстановлении отсутствующих актантов словоформы *забвенье* в (2.9).

в своем основном употреблении – обозначает говорящего и еще некоторый круг лиц. Н.А. Еськова, основываясь на предшествующих строках: – "Моя студенческая келья / Вдруг озарилась: Муза в ней / Открыла пир младых затей <...>", – считает, что в данном случае поэт имел в виду себя и свою Музу. Такая трактовка вполне обоснованна, однако она не является единственно возможной; во всяком случае, как мне представляется, она не является исчерпывающей (см. также [Пеньковский 1999: 83]).

Н.А. Еськова без объяснений (к сожалению) отвергает включение в круг референтов словоформы *нас* еще и кого-то из лицейстов, говоря, что "объяснение это не выдерживает критики" (с. 28). Между тем известно, как торжествовал и радовался весь лицей триумфу юного Пушкина, какой отклик он вызвал в поэзии лицейстов (вспомним стихи Дельвига); через год после памятного всем экзамена Илличевский пишет в письме к другу знаменательную и пророческую фразу о Пушкине: "Дай Бог ему успеха – лучи славы его будут отсвечиваться в его товарищах". Разве не выражает точно эту радость и этот триумф глагол *окрылить* в данном случае?

Кроме Пушкина, из лицейстов до смерти Державина печатал свои стихи в журналах еще и Дельвиг: поэтому Державин мог "заметить" не только Пушкина. Державин внимательно вглядывался в лицейстов во время экзамена (вспомним роман Тынянова). Такого рода соображения не позволяют решительно вывести лицейстов из референтной области местоимения. Предложение Н.А. Есковой (в пользу которого говорят приводимые ею слова П.А. Бартенева) остроумно и убедительно, и оно позволяет, наряду с лицейскими поэтами и поклонниками поэзии, ввести в эту область еще и Музу поэта. На мой взгляд, здесь мы наблюдаем референциальную неоднозначность, на этот раз относящуюся к личному местоимению. (У Пушкина есть еще один пример удивительного "наполнения" референтной области местоимения 1 лица мн. числа, включающей автора и поэтический атрибут – его стробфы: "А вероятно, не заметят нас, / Меня, с октавами моими купно" – из серии отвергнутых октав "Домика в Коломне".)

(5.4) Не стану их [глаголы] надменно браковать, / Как рекрутов, добившихся  
увечья, / Иль как коней за их плохую статью, – / А подбирать союзы да  
наречья; / Из мелкой сволочи вербую рать, / Мне рифмы нужны; все готов  
сберечь я, / Хоть весь словарь; что слог, то и солдат – / Все годны в строй:  
у нас ведь не парад. (ДК-III)

Здесь референциально неоднозначно словосочетание "мелкая сволочь". Возникает соблазн отнести его к служебным словам-рекрутам языка, т.е. к союзам и наречиям. Так нередко и поступают читатели и исследователи, попадаясь на удочку автора. Однако автор, склонный набирать войско рифм из простых, массовых единиц словаря – глаголов, именно их и называет столь пренебрежительно. Во всяком случае, в состав "мелкой сволочи" автор безусловно включает глаголы – возможно, наряду и с другими частями речи ("хоть весь словарь"). При этом подразумеваемый смысл искусно маскируется: словосочетание *мелкая сволочь* помещается сразу после *союзов да наречий* и после фразы, содержащей отрицательную частицу *не* и сочинительный союз *а*, которые вместе порождают иллюзию асимметричной противопоставительной конструкции с союзным соединением *не ... а* [Богуславский 1996: 46 сл.]. Эта иллюзия может навести адресата на ложное истолкование замысла автора – на смысл 'не стану браковать глаголы, а стану подбирать союзы и наречия', а инерция восприятия гладко льющегося шутливого повествования скрадывает странность противопоставления вполне совместимых вещей – отвержения глаголов и пристрастия к союзам и наречиям. Маскировка автором своего смыслового намерения с помощью указанных языковых средств как раз и затягивает союзы и наречия в разряд 'мелкой сволочи' и исключает глаголы.



О чем говорят разобранные случаи неоднозначной интерпретации художественного текста? На мой взгляд, о том, что неоднозначность может иметь определенную художественную задачу, причем вовсе не связанную непременно с языковой игрой, с каламбуром. В подобных случаях мы сталкиваемся с неявным совмещением в одном текстовом фрагменте разных его истолкований, между которыми не может быть сделан выбор; собственно, его и не надо стремиться осуществить. Это может либо противоречить замыслу создателя текста, либо просто не иметь никакой поддержки внутри текста и в его внеязыковом фоне (истории создания, житейской ситуации и т.п.). Разумеется, наиболее интересен первый вариант – феномен намеренной, скрытой лингвистической неоднозначности. К сожалению, в большинстве случаев нельзя уверенно утверждать, что у автора была установка на неявную неоднозначность. Прямые свидетельства подобного рода со стороны художников слова мне не известны.

Однако, даже в отсутствие такого рода свидетельств, истинно великие художественные тексты живут своей особой смысловой жизнью, в какой-то мере независимой от их творцов и первоначальной смысловой наполненности. Мы вправе – с известной осторожностью и бережностью – вкладывать в них наше содержание – в надежде, что их творцы не были бы на нас в обиде и, может быть, с нами согласились, если бы им довелось его узнать. Об этом замечательно сказано в книге А.Г. Горнфельда [1922: 107–108]: "Завершенное отрешено от творца, оно свободно от его воздействия, оно стало играющим исторической судьбы, ибо стало орудием чужого творчества: творчества воспринимającego. Произведение художника необходимо нам именно потому, что оно есть ответ на наши вопросы: *наши*, ибо художник не ставил их себе и не мог их предвидеть. И как орган определяется функцией, которую он выполняет, так смысл художественного произведения зависит от тех вечно новых вопросов, которые ему предъявляют вечно новые, бесконечно разнообразные его читатели. Каждое приближение к нему есть его воссоздание, каждый новый читатель Гамлета есть как бы его автор, каждое новое поколение есть новая страница в истории художественного произведения"\*.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абрамович С.Л. 1994 – Пушкин в 1833 году: Хроника. М., 1994.
- Апресян Ю.Д. 1997 – Лингвистическая терминология словаря // *Апресян Ю.Д., Богуславская О.Ю. и др.* Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск. М., 1997.
- Богуславский И.М. 1996 – Сфера действия лексических единиц. М., 1996.
- Вацуро В.Э. 1999 – Еще раз об Академическом издании Пушкина (Разбор критических замечаний проф. Вернера Лефельдта) // *Новое литературное обозрение*. 1999. № 3 (37).
- Горнфельд А.Г. 1922 – Пути творчества. Статьи о художественном слове. Пг., 1922.
- Даль В.И. 1994 – Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. М., 1994.
- Добродомов И.Г., Пильщиков И.А. 1998 – *Philologica*. 1998. Т. 5. №№ 11/13 – Рец. на кн.: Набоков 1998; Набоков 1999 // (этот том журнала, помеченный 1998 г., реально выходит в свет в начале текущего 2000 г.).
- Еськова Н.А. 1999 – Хорошо ли мы знаем Пушкина? М., 1999.
- Зализняк Анна А. 1998 – О грамматической неоднозначности в поэтическом тексте. VIII стихотворение Катюлла // *ИАН СЛЯ*. 1998. № 5.

\* Считаю своим приятным долгом выразить искреннюю признательность Л.Н. Иорданской, И.А. Мельчуку и М.И. Шапиру, замечания и недоумения которых по поводу первоначальной версии этой работы заставили меня многое переосмыслить и изложить по-иному. Я благодарен также участникам обсуждения доклада по теме работы, прочитанного мною в октябре 1999 г. на семинаре группы "Логический анализ языка" в Институте языкознания РАН.

- Лакофф Дж., Джонсон М. 1990 – Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М., 1990.
- Лефельдт В. 1998 – Модернизация текстов Пушкина и ее последствия. Критические замечания по пробному тому запланированного нового Академического издания произведений А.С. Пушкина // Новое литературное обозрение. 1999. № 5 (33).
- Лотман Ю.М. 1981 – Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин". Комментарий. Л., 1980.
- Непомнящий В.С. 1996 – Из наблюдений над текстом "Евгения Онегина" // Московский пушкинист. Вып. II. Ежегодный сборник. М., 1996.
- Непомнящий В.С. 1997 – Из набросков о лирике Пушкина // Московский пушкинист. Вып. IV. Ежегодный сборник. М., 1997.
- Набоков В.В. 1998 – Комментарий к роману А.С. Пушкина "Евгений Онегин" / Перев. с англ. Научный ред. и автор вступительной статьи В.П. Старк. СПб., 1998.
- Набоков В.В. 1999 – Комментарии к "Евгению Онегину" Александра Пушкина / Перев. с англ. Ред. А.Н. Николюкин. М., 1999.
- Николаева Т.М. 2000 – Неопределенность реальной ситуации и лингвистические средства ее оформления в пушкинских текстах (в печати).
- Панфилов А.К. 1995 – Загадки текста, неправильно разгаданные // РЯШ. 1995. № 6.
- Пеньковский А.Б. 1999 – Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. М., 1999.
- Перцов Н.В. 1994 – Лингвистические заметки о поэме А.С. Пушкина "Домик в Коломне" // Знак: сборник статей по лингвистике, семиотике и поэтике памяти А.Н. Журицкого. М., 1994.
- Перцов Н.В. 1998 – Сонетный триптих Пушкина // Московский пушкинист. Вып. V. М., 1998.
- Перцов Н.В. 1999 – Разнообразие в рамках однообразия (о стихотворении Пушкина "Ответ") // ИАН СЛЯ. 1999. № 3.
- Пушкин А.С. 1995 – Рабочие тетради. Т. 3. СПб.; Лондон, 1995.
- Пушкин А.С. 1999 – Полное собрание сочинений в двадцати томах. Т. 1: Лицейские стихотворения 1813–1817 / Ред. тома В.Э. Вацуро. СПб., 1999.
- РРР 1973 – Русская разговорная речь / Отв. ред. Е.А. Земская. М., 1973.
- Санников В.З. 1999 – Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999.
- Селиванов Ф.М. 1995 – Русские народные духовные стихи: Учеб. пособие для филол. факультетов. М., 1995.
- Сидяков Л.С. К проблеме пушкинской текстологии. Из наблюдений над стихотворениями Пушкина 1830–1836 годов // Пушкин и другие: Сборник статей, посвященный 60-летию со дня рождения С.А. Фомичева. Новгород, 1997.
- СИ-34 – Семиотика и информатика. Сборник научных статей. Вып. 34. М., 1994.
- Смирнов-Сокольский Н.П. 1962 – Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962.
- СЯП – Словарь языка Пушкина: В 4-х т. М., 1956–1961.
- Тропп Э.А. 1998 – Понимание непонятого. Об одном придаточном предложении из "Евгения Онегина" // Вестник РАН. 1998. Т. 68. № 5.
- Турбин В.Н. 1996 – Поэтика романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин". М., 1996.
- Шапир М.И. 1999 – К текстологии "Евгения Онегина" (орфография, поэтика и семантика) // ВЯ. 1999. № 5.
- Шилов А.Е. 1998 – О трактовке первой строфы "Евгения Онегина" // Вестник РАН. 1998. Т. 68. № 10.
- Шульняков Г. [Ю.] 1999 – Точная рифма к "Онегину" // Новый мир. 1999. № 11.
- Щерба Л.В. 1957 – Опыт лингвистического толкования стихотворений. I: "Воспоминание" Пушкина // Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957.
- Югов А. [К.] 1962 – Правильно ли мы читаем первую строфу "Евгения Онегина"? // Югов А. [К.] Судьбы русского слова. М., 1962.
- Якобсон Р.О. 1975 – Лингвистика и поэтика // Структурализм: "за" и "против". Сборник статей. М., 1975.
- Emerson W. 1965 – Seven types of ambiguity. Edinburgh, 1965.
- Nabokov V.V. 1981 – Eugene Onegin. A novel in verse by Alexander Pushkin: in 2 v. Princeton, 1981.

© 2000 г. А. АЛЬКВИСТ

**МЕРЯНЕ, НЕ МЕРЯНЕ... (II)\***

**МЕРЯНСКАЯ ЛИ МИГРАЦИЯ?**

А.К. Матвеев расширяет территорию предполагаемой им мерянской миграции на ВП [Матвеев 1998: 96, 98], но вместе с тем, видимо, суживает исходный пункт миграции, сосредоточивая его именно на ростовской территории и сняв с учета гипотезу переселения в далекий микрорегион населения с другой, Суздальской, земли (см. [Матвеев 1996: 12])<sup>9</sup>.

Исследователь дает понять, что мерянский язык существовал и севернее территории современных Владимирской, Ивановской, Ярославской, частично Костромской и Московской областей [Матвеев 1998: 95]. Археологами северная граница мерянского расселения пока не восстанавливается [Леонтьев 1996: 269]. Предварительно об этом можно судить на основании топонимии. Я с Матвеевым согласна относительно одного мерянского индикатора, а именно речного названия *Векса* (ср. [Матвеев 1998: 96–98]). Кажется, что нет никаких препятствий в определении приблизительной границы Мерянской земли в северном направлении немного севернее города *Вологда*. До этой территории распространяется и ареал другого мерянского индикатора, выделяемого нами, а именно форманта *-хта, -гда*.

Уже со ссылкой на своеобразие топооснов кубенских названий на *-бол (V), -бал(V)* предположение о вологодской группе мери кажется обоснованным (см. [Матвеев 1998: 97]). Само собой разумеется, что на такой огромной территории мерянский язык был далеко не однородным. На самом деле, нам даже не известно, назывался ли язык народа, проживавшего за пределами территории, указанной в летописях, именно мерянским (*мерьский*) или как-нибудь по-иному [Ahlqvist 1999: 632].

На основе только некоторых выделенных компонентов [Матвеев 1998: 101] мы бы не делали вывод о том, что "центральная и костромская меря по языковым показателям з н а ч и т е л ь н о (выделено мной. – А.А.) различались". Вологодская, видимо, больше. Однако вологодскую мерю необязательно связывать с мерей основных территорий только путем по Шексне, хотя и он, безусловно, использовался. Следует помнить, что самое северное исследованное археологами мерянское селение, Телешово [Леонтьев 1996: 26; Яр. обл. 1997: 9], расположено в Ярославской области, только в 60 километрах от Вологды (ср. [Яр. обл. 1997: 9; Вол. обл. 1998: 94, 115–116]). Север же Костромской области, конечно, тоже рядом с Вологодской и их населенческая основа одна. Естественным является предположение о переходе населения в мерянское время именно из Костромщины на Вологодщину, но стоит ли в связи с подобными смежными территориями говорить о м и г р а ц и и (ср. Матвеев 1998: 101)? Вряд ли стоит сомневаться в способностях мери ориентироваться; конечно же,

\* Первая часть статьи опубликована в ВЯ. 2000, № 2.

<sup>9</sup> В 90 верстах от Костромы упоминается Николаевская церковь, прозываемая "что на Суздальце" [Самарянов 1875: 55]. Видимо, речь идет о притоке Тебзы, реке *Суздаль* [Костр. обл. 1997: 36]. Можно ли здесь видеть след распространения населения с центральной мерянской территории на Костромскую?

костромские меряне не хуже нас знали и прямой путь на вологодские земли (ср. [Матвеев 1998: 102]). В любом случае эти костромско-вологодские пограничные земли должны были относиться к мерянским угодьям.

Не костромская меря в целом [Матвеев 1998: 101], а ее восточная часть была ближе к марийцам (см. [Попов 1974: 24–26]). На востоке, как утверждает А.Е. Леонтьев, граница Мерянской земли проходила по реке Унже, почти вплотную приближаясь в верхнем ее течении к землям мари в Поветлужье [Леонтьев 1996: 269]. Поэтому и неудивительно, что по реке Унже еще достаточно хорошо помнят о черемисах. Местные летописи упоминают о том, что даже воевавшие между собою удельные князья галичские нанимали себе в помощь "Чудь и луговую Черемису" [Самарянов 1875: 54].

С тем, что костромской диалект мери мог быть переходным от мерянского языка к марийскому или испытал влияние с его стороны, я с А.К. Матвеевым [Матвеев 1998: 101] согласна при том условии, если говорить о восточной части Костромщины (ср. [Альквист 1997: 32–33]). К таким сходным с марийским языком компонентам скорее всего и относится *енгарь* ~ *ингирь* ~ *энгер* (ср. [Матвеев 1998: 102]), ареал которого в Костромщине располагается достаточно четко, как говорилось выше, восточнее бассейна Немды.

Само собой разумеется, что и севернее жило финно-угорское население. Всю территорию, по крайней мере от Средней России до Белого моря, можно видеть сплошным продолжением заселения финно-угорских народов и племен. Естественно, промежутки в заселении могли местами быть и значительными. Однако на уровне угодий земля была занята. По всей территории идут цепочки достаточно большого числа общих компонентов древней топонимии, связывающие далекие друг от друга территории (см. [Альквист 1997: 33]). Вопрос и состоит в том, являются ли имеющиеся многочисленные топонимические параллели результатами пока неизвестных миграционных процессов или же просто остатками близких когда-то по языку племен и народов, которые, естественно, не могли не иметь контактов не только с близкими соседями, но и с далекими, что было необходимо уже на основе торговых связей?

А.К. Матвеев дает понять, что на самом деле вся территория от ИМЗ до ВП – мерянская (см. [Матвеев 1998: 98, 102]). Расстояние же от вологодских окрестностей до ВП большое. В промежутке между Вагой, Сухоной и Кубеной предположительных мерянизмов Матвеевым пока не обнаружено, "кроме... топонимов *Вожбал* и *Сомбал* (и) *Вылшонтасная*" [Матвеев 1998: 98], последний из которых звучит характерно "по-пермски": ср., например, множество коми топонимов с приставкой *вильь* 'новый' или *вильыс* 'верхний' [Афанасьев 1996: 51]. Ср. также приток реки Сухоны – *Шонтас* [Вол. обл. 1998: 74].

В ВП не обнаружено ни одной *Вексы* [Матвеев 1998: 98]. Зато к Важской земле относится название реки *Икса* и озера *Иксоозеро* [Кучкин 1984: 276, 336], соответствующие именно марийской форме слова *икса* 'залив; бухта; залив реки, который на лето пересыхает; озеро, из которого вытекает река; маленькая река, соединяющая два озера или болота' и т.д. (см. [Saarinen б.г.]). Насколько нам известно, гидронимия на *-хта*, *-гда* также не распространяется в ВП. При отсутствии названных мерянских топонимических показателей мало вероятно, что именно меряне (центральной территории) или их непосредственные потомки переселились в ВП. Ведь на основании приведенных топонимических данных можно сделать вывод, что предполагаемые переселенцы из Мерянской земли должны были еще хорошо владеть своим языком. Иначе нельзя было бы объяснить, например, такое многообразие основ названий на *-бол*. Из этого следует, что, хорошо владея своим языком, мигранты бы оставили после себя и самые общие показатели мерянской топонимии, к которым мы относим также основу *Кунд(V)* – 'отдельная часть селения' и т.д., широко распространенную на центральной территории мери (см. [Альквист 1998: 8–10]): ведь в предполагаемой миграции речь идет именно о данной территории. Но зафиксирована ли данная основа в ВП?

*Синий камень* в большой мере фигурирует в СУ [Матвеев 1998: 97, 103]. Сведения о новом Усть-Кубенском *Синем камне* [Матвеев 1998: 97] очень хорошо совпадают с новой находкой нашей экспедиции *Синего камня* около бывшей деревни Обухово немного севернее города Вологды, где он расположен рядом с *Чертовым камнем*. С данным *Синим камнем* связана легенда о золотом зайце. (Интересно, сохранились ли в связи с *Синими камнями* СУ сведения о каких-либо традициях или легендах?)

Также в Кашинском районе Тверской области имеется *Синий камень*. В той же местности есть и другой "синий камень", получивший, возможно, свое имя уже впоследствии, как нам утверждали некоторые местные жители. Последний может оказаться как раз чисто "цветовым", о чем пишет А.К. Матвеев [Матвеев 1998: 97]. Остальные же *Синие камни*, о которых у нас имеются сведения (в настоящее время больше тридцати) перепроверены в этом отношении, по возможности, от нескольких информантов, и они являются не "цветовыми", а носят мифологический характер.

А.К. Матвеев интерпретирует *Синие камни* Ярославского края и ВП как своеобразные мерянские индикаторы русского происхождения [Матвеев 1998: 97]. Нам кажется, что чем больше мы будем иметь сведений о *Синих камнях* внемерянских территорий, тем труднее будет считать их только мерянскими. Такой в общей сложности достаточно широко распространенный культурный индикатор, как *Синий камень*, без других еще более ареально разграниченных индикаторов типа *Мирских камней*<sup>10</sup>, пока не обнаруженных на РС (см. [Матвеев 1998: 96]), настораживает. Это связано прежде всего с тем, что явление *Синих камней* распространяется далеко за пределы предполагаемой Мерянской земли. Сведения самого Матвеева о ряде *Синих камней* по всей территории РС [Матвеев 1998: 97], говорят в пользу большей общности явления. Вместе с тем *Мирские камни* сосредоточены именно в исходном пункте предполагаемой Матвеевской миграции.

О наличии *Синего камня* нами получены сведения и около Великого озера Тверской области, которое, по всей вероятности, находится уже за пределами территории. Здесь, возможно, проходит полоса этого явления, направленная в сторону прибалтийско-финских земель. В связи с этим напомним о наличии ряда финских соответствий *Синему камню*, а именно *Sininen kivi*, *Sinikivi* ('Синий камень') или во множественном числе *Siniset kivet*, а также *Sinikallio*, *Sininen kallio* ('Синяя скала') [NA б.г.; Альквист 1995: 17]. На продолжение рассматриваемого явления с востока указывает, скорее всего, и расположение финских соответствий внутри страны. Напомним, однако, что даже при хорошей собранности топонимии территории Финляндии в Архиве названий [NA б.г.], пропуски, например, в названиях камней имеются. Думается, что *Синих камней* могло быть больше и на территории Финляндии.

У марийцев *Синие камни* не отмечаются [Матвеев 1998: 101]. Однако возникает вопрос, есть ли у марийцев хотя бы какие-то следы наличия этого явления? Отметим, что в Прикамье в бассейне Чусовой имеются три *Синих камня* и один *Синенький* [Галушко 1962: 45]. В любом случае еще не известно, к чему может привести систематическое исследование мерянских территорий относительно *Синих камней*. Так, кроме южного, мещерского, *Синего камня* [Альквист 1997: 34], во время последней нашей экспедиции были выявлены пять новых *Синих камней* по всей южной части Ивановской области, на юго-восточных пограничных землях мери и, видимо, за их пределами. (Камни будут нами обсуждаться дальше в другой связи.)

А.К. Матвеев поднимает проблему топонимии с основой *вохт-* (*Вохтоболка*, *Вохтога*, *Вохтома*) [Матвеев 1998: 99]. По его сведениям, именно в данном виде основа

<sup>10</sup> *Мирские камни* мы не интерпретируем как *Мерские* (см. [Матвеев 1998: 96]), а спрашиваем «не может ли за этим названием прятаться этноним *меря*, и не идет ли здесь первоначально речь о "*мерских камнях*", т.е. о камнях, которым меряне и их потомки поклонялись?» [Альквист 1996: 253]. Ответа на этот вопрос у нас пока нет.

образует единый северо-мерянский – северо-русский ареал. Он выделяет коррелятивные основы *бохт-*, *охт-* и *ухт-*, относящиеся к числу самых распространенных на РС. В добавлении протетического звука *в-* в основе *Вохт(V)*- следует видеть какую-то северную фонетическую черту. В этой связи интересно замечание о том, что протетический *в-* перед начальным гласным встречается и в марийском языке [Матвеев 1998: 99]. Ср. костромский потамоним *Вохтома* [Костр. обл. 1997: 24].

Ареал компонента *Вохт(V)*- входит в общий северный (?) ареал основы *Охт(V)*-, включающий и вепскую территорию (см. [СГБС 1997: 143]). Южнее, в том числе на ИМЗ, основа встречается в форме *Ухт(V)*-. Форма с *о-* напоминает больше язык саамского типа, тогда как форма с *у-* ближе к прибалтийско-финско-мордовско-пермского типа языкам. В словах общего, раннепрафинского происхождения в первом слове финскому *и*, как правило, соответствует саамск. (С) *о* [Korhonen 1981: 82].

Кроме того, на всей большой территории распространения компонента встречается и форма *Уст(V)*-, даже *Ушт(V)*-, что объясняется колебанием в Средней России *ш ~ х*, а также *ш ~ с*. Получается, что часть однокоренных названий не претерпела перехода с *в* в *х*, свойственного прибалтийско-финским языкам. Так, для Тульской губернии упоминается река *Уста* (*Устомка*) [Смолицкая 1976: 62]. Ср. *Устишка* (*Устонь*, *Устань*) – река, Моск. губ.; *Устань* (*Устон*) – река, Ряз. губ.; *Устрека* – река 1) Пенз. обл. [Смолицкая 1976: 117, 124, 254], 2) Арх. обл. 1995). Сюда может относиться и река *Востошма* Галичского района Костромской области [Костр. обл. 1997: 36]. К Тамбовской губернии относится озеро *Ушта* [Смолицкая 1976: 244], а на вепской территории есть *Оштозеро* (*Аштозеро*) [СГБС 1997: 61].

Река же *Устье* – это, скорее всего, не что иное, как соответствие гидрониму *Ухта*. Однако впоследствии это название стало иметь народноэтимологическую связь с русским апеллятивом *устье*, как оно теперь, собственно говоря, народом и понимается. Так, владимирская река *Устья* имеет варианты названий *Устека* (< \**Устега?*), *Усть*, *Устьянка* [Смолицкая 1976: 219].

У названий вологодской реки *Устюг*, а также городов (*Великий*) *Устюг* и *Устюжна* основа, как мы предполагаем, должна быть отождествлена не с названным русским апеллятивом (ср., например, [Нерознак 1983: 182]), а с тем же топонимическим компонентом *Ухта*. О финно-угорском происхождении основы свидетельствует, на самом деле, уже наличие в названии форманта *-юг*. Речка *Устанка* на юге Костромской области [Костр. обл. 1997: 51] является, вероятно, такой же \**Ухтанкой*. Также на северо-западе марийской территории течет река *Уста*, вполне совпадающая с *Устьем* территории мери и СУ.

Фонетически форма *Ухта* соответствует прибалтийско-финским языкам (ср. также мерянский компонент *-хта*, *-гда*), тогда как *Уста*, *Устье* (и соответственно гидронимия на *-кса*, *-кша*) архаичнее и, возможно, представляет окаменевшую форму более древних слоев финно-угорского субстрата. С фонетической точки зрения можно сравнивать, например, названия рек *Кихть* за Кубенским озером [Вол. обл. 1998: 48, 70] и *Кисть* Ярославской и Костромской областей [Костр. обл. 1997: 12–13, 25], варианты названия владимирской реки *Кижтома* ~ *Кихтома*, названия смежных оврагов *Рузмислей*, *Кардихлей* в Нижегородской губернии [Смолицкая 1976: 212, 263] и разные проявления гидродинамического форманта *-сьма*, *-шма*, *-хма* в речных названиях типа *Пулохма* и *Кисьма* в Ярославской области, *Кинешма* в Ивановской. Соответствующим образом архангельские потамонимы *Колежма* и *Колехма* предполагаются идентичными [WRG 1962–1963, II: 398, 400].

А.К. Матвеев считает, что "по крайней мере часть топонимов с основой *вохт-* могут оказаться мерянскими по происхождению, и все – по употреблению" [Матвеев 1998: 99]. Естественно, что все сохранившиеся субстратные топонимы мерянской территории должны быть не только мерянскими, но и русскими по употреблению, – иначе

мы бы о них уже и не знали. По фонетическому рассеиванию и по огромной площади ареала можно оценивать данную топонимию как очень древнюю. Даже на мерянской территории данная топонимия должна являться субстратной.

В новом изложении большое внимание обращается на северное название *Едьма*, в котором предполагается мерянское слово, возможно даже два [Матвеев 1998: 98–99]. Если данный компонент был бы именно мерянским, тем более относящимся к территории, упомянутой в летописях, он встречался бы и там. Однако у нас о нем имеются скудные сведения. Есть река *Эдома* на Ярославской земле [Яр. обл. 1997: 17–25]; окончание *-(V)дом(a)*, *-(V)том(a)* изредка встречается. А.И. Попов видит в этом компоненте семантику 'какой-то вид уголья или поселения' [Попов 1974: 19]. В некоторых случаях возможно и разное происхождение похожего компонента, а именно наличие каритива, показывающего отсутствие того, что выражено корневым словом (см. [Ткаченко 1985: 102–103]). Только этимологизация топоосновы может подтвердить наличие каритивной формы.

На основе контаминации А.К. Матвеев связывает с северным топонимическим гнездом «мерянское слово, родственное марийск. *идым* 'гумно, ток'», считаемое тюркским заимствованием [Матвеев 1998: 99]. Проблема в том, что никаких сведений о тюркских заимствованиях в мерянском у нас нет, тогда как в марийском их множество. Возникают и временные проблемы. Это предположение, однако, указывает опять на марийскую сторону<sup>11</sup>. Без дополнительных сведений само слово *едьма* разумно считать фонетическим вариантом *едома*, семантически подходящим и к северному компоненту (ср. [Матвеев 1998: 98]). Ср. фонетически, например, ярославские параллельные названия *Кисьма* ~ *Кисома* или ярославо-костромскую пару *Нозьма* ~ *Нозома*.

Нас поражает настойчивость А.К. Матвеева, полагающего, что в соответствии с треугольником – СУ > ВП–Меря–Мари – абсолютное большинство приведенных им "мерянских этимологий" восходит к марийскому языку, что, конечно, естественно, раз он считает мерян очень близкими к марийцам. Рассматриваемый материал имеет очень яркую марийскую окраску, включая антропонимию, и действительно на ИМЗ им не находится соответствий (см. [Матвеев 1998: 99–100]). Подобную "меряничность" даже на северных, костромско-вологодских территориях мерян не найти. Матвеев и сам признается, что приведенная им новая серия названий ВП "этимологически еще больше сходна с собственно марийскими наименованиями, чем топонимы СУ" [Матвеев 1998: 100].

А.К. Матвеев убежден, что триада топонимов *Ростово–Устья–Которосль* перенесена с Ростовщины на СУ [Матвеев 1998: 96]. Мы уже указывали, что скопление некоторых топонимов может быть показательным, но только в том случае, если действительно идет речь о крайне редко встречающихся названиях [Альквист 1997: 33]. Достаточно часто представленная лимнонимная основа \**Которо*, зафиксированная и с другими суффиксами, не может убедить нас в обязательности ее переноса на другую территорию. Трудно представить себе, что при переносе произношение потапонимов *Устье* и *Которосль* остались бы настолько литературноподобными: кроме приведенных вариантов произношения названия реки *Которосль*, следует обратить внимание на часто встречаемое произношение гидронима *Устье*, а именно *Усье*, *Усья* и т.д.

Важно помнить о гидронимическом начале предполагающихся переносных названий: даже к *Ростову* можно найти сравнения типа озеро *Ростовское*, Влад. губ., реки *Ростовка* и *Растовка* (*Ростовка*), Моск. губ. [Смолицкая 1976: 96, 109, 225]. Аналогичные компоненты встречаются в субстратной топонимии большой территории северной Евразии. По крайней мере *Устья* и *Которосль* относятся к древнейшим гид-

<sup>11</sup> Напоминаем о влиянии волжских булгар в северном направлении, а именно на верхней Двине, в низовьях Сухоны и бассейне р. Юга, захватив в 1219 г. город Устюг (см. [Кучкин 1984: 89]).

ронимам. Необоснованно утверждать [Матвеев 1998: 96], что топонимия СУ намного моложе топонимии ИМЗ: уже до указанного периода, XIII–XVI вв. и в СУ имелся по крайней мере солидный гидронимический слой. В предыдущей статье [Матвеев 1996: 14–15] наличие в СУ более древней топонимии справедливо считалось вероятным. (Естественно, и топонимия ИМЗ во многом образована значительно раньше X в.). В отношении гидронимов следует особенно осторожно делать выводы об их переносе. До этого надо делать все возможное для выделения общих черт даже далеких параллельных названий.

При переносе названий следовало бы ожидать хотя бы какой-то доли действительно редких ойконимов, в данном случае именно названий на *-бол(V)*, *-бал(V)*, которые в достаточно большом количестве встречаются на территории СУ (ср. [Матвеев 1998: 103]). Конечно, часть из них могла исчезнуть, но нередко и такие ойконимы продолжают жить, например, в названиях урочищ. Из приведенных северных названий данной модели только *Вороспало* может быть сравнено с подростовским ойконимом *Воробол* (*Воробылово*), и даже здесь мешает непривычная суффиксация (-с) в конце основы. Зато в Костромской области есть речка *Ворос* [Костр. обл. 1997: 27]. Если пофантазировать, можно отождествить основу названия *Сарбала* (и даже *Сорбало*) с ростовской рекой *Сара* и предположить, что при опустошении *Сарского городища* (название которого не народное, а дано археологами) его мерянские жители мигрировали в СУ. Однако об этом у нас нет ни малейших свидетельств, зато параллельный ойконим *Сарбала* относится к Самарской губернии [RGN 1977, VIII: 103]. Не исключена связь и с названием районного центра современной республики Удмуртии – *Сарапул* на реке Кама [RGN 1977, VIII: 101]. (Ср. также вышеупомянутые \**Вожевал* > *Вожбал*, *Вожбала*, *Вожбола*?) Для оправдания мнения о миграции хотелось бы видеть в СУ такие действительно единичные ойконимы, как *Пужбол(о)*, *Шурскол(о)*.

Миграция меря обосновывается А.К. Матвеевым еще ее необыкновенно быстрым исчезновением со страниц русских летописей [Матвеев 1998: 100]. Нам думается, что в основном народ остался в своих краях. Иначе нельзя объяснить объемный субстрат не только в топонимии, но во многом и в диалектной лексике по всей территории его обитания. Естественно, ареальные различия есть и по интенсивности субстрата, но родина предполагаемых Матвеевым мигрантов, Ростовская округа, хорошо сохранила субстрат. Это предполагает достаточно долгое сожительство славян и мерян. Следовательно, вряд ли можно допустить быстрое обрусение этого народа, хотя и не считаем возможным ссылаться при этом на "мерю Устьянских волостей" [Альквист 1997: 35; ср. Матвеев 1996: 10; 1998: 100].

Кроме того, летописи упоминают о черемисах вообще только в общем изложении, тогда как меря упоминается до 907 г. (см. [ИЛ 1998: 8, 22; ЛЛ 1997: 11, 29]). Несмотря на это марийский народ до сих пор процветает. Никакого доказательства того, что меря впоследствии стала называться черемисами, нет, вопреки предположению А.К. Матвеева [Матвеев 1998: 100]. В этой связи важен вопрос, почему в ВП не сохранилось никаких сведений о мерянах (ср. [Матвеев 1998: 99])? В центральных областях народная память о них почти полностью стерта после нашествия монголо-татар, что привело к массовому уничтожению населения (см. [Кучкин 1984: 104]): подобного на Севере не было. По всей видимости, в ВП должны были бы иметься какие-то сведения, если меряне (или их непосредственные потомки) пришли туда в такое позднее время. (Конечно, при этом не надо забывать о возможном обобщающем названии – *чуди*.) Матвеев признается, что несколько юго-восточнее "мерянского" треугольника СУ, в пределах ВП, жители двух смежных сел до сих пор имеют коллективное прозвище *черемисы* [Матвеев 1998: 100]. Этот факт можно объяснить только тем, что здесь и жили марийцы. Соответственно и по реке Унже еще достаточно хорошо помнят о черемисах, о чем мы писали выше. Даже к левому притоку Ваги, к реке Паденьге относится населенный пункт *Вяткинская* [Ровдино 1995].



А.И. Попов говорит о сравнительно недавнем наличии значительного числа марийцев в костромских и галичских лесах, напоминая, что в свое время это было одно из самых подвижных финно-угорских племен [Попов 1974: 25]. К Макарьевскому, Кологривскому и к Кинешемскому уездам Костромской губернии относились ойконимы с основой *Черемис-*. Даже на востоке Владимирской области, в бывшем Вязниковском уезде были две деревни *Черемисино* [Гордеев 1985: 100–102]. Вряд ли есть причина сомневаться в этнотопонимности подобных топонимов этих краев (см. перечень ойконимов с основой *Черемис-* [RGN 1981, X: 79–80]), хотя и следует помнить о доле антропонимов и народной этимологии. Распространение определенных признаков культуры юмского типа, принадлежащей предкам одной из групп марийского народа, хорошо сочетается с наличием не только названных этнотопонимов, но и названий *Ингирь, Вятка, Элнатъ* с производными. Удивляет наличие отдельных свидетельств данной культуры не только на юго-восточном побережье Ладожского озера, но и в среднем течении Ваги. (См. [Генинг 1967: 55–58, 69].) Это может являться прямым свидетельством наличия на Севере группы древних мари.

Более того, в бассейне Ваги и ее притоков, в том числе Устья, имеется коллективное прозвище жителей некоторых деревень, – *зырь* [Матвеев 1998: 100]. Еще интересно то, что все эти деревни входят в зону наименований *Синие Камни, Едьма, -енгарь, -курга* и протетического звука *в* (> *б*-). А.К. Матвеев утверждает, что "население зоны ВП, включая СУ (иначе говоря, древних Устьянских волостей), уже в период контакта с русскими... именовалось *зырью, зырянами*". То, что в ВП не встречаются названия, производные от этнонима *меря*, объясняется Матвеевым тем, что "на поздних мерянских мигрантов был перенесен внешний этноним *зырь*" [Матвеев 1998: 100].

Мерю с черемисами и зырью, вопреки А.К. Матвееву [Матвеев 1998: 100], не могли лутать. Зато есть письменные и устные сведения об использовании в отношении мери обобщающего наименования прибалтийско-финских народов – *чудь* (см. например, [Попов 1973: 98–99; Агеева 1990: 99; Ahlqvist 1998в: 33]). Название "средне-устьянская (важско-устьянская) меря" [Матвеев 1998: 102] фактически обозначает устьянских черемисов или зырь, либо в совокупности устьянских финнов или чудь. Прежде всего там, в западной части бассейна Северной Двины Е.А. Рябинин локализует земли чуди заволочской. Для XI–XIII вв. вероятна взаимосвязь с областью по течению Ваги и ее притоков, для XIV–XV вв. – с Поважьем и нижним Подвиньем. Рябинин также не исключает возможности того, что это население проживало и на прилегающих территориях [Рябинин 1997: 115]. Земли чуди заволочской в южном направлении принято разграничивать рекой Сухоней [Седов 1987: 8–9, карта 1; Kirkinen 1990: 244, карта 1]. Археологические исследования Е.И. Горюновой по реке Сухоне свидетельствуют о наслоении различных культур [Горюнова 1961: 151].

Хотя основа культуры населения Поволжья считается родственной культуре веси, территориальная близость к пермским племенам наложила отпечаток на нее [Голубева 1987: 66]. Географическая чудь заволочская располагалась между весью и коми-зырян (см. [Седов 1987: 8–9, карта 1]). Северо-восточнее, в обозримой по северным масштабам близости находились земли древних коми, ванвиздинской культуры, как указывает А.Е. Леонтьев (см. также [Розенфельдт 1987: 118, карта 24]). Западные границы расселения пермян указываются даже в верховьях Ваги и на средней Сухоне (см. [Афанасьев 1985: 69]). Нерусское население ВП вполне могло сохраниться еще в предполагаемое А.К. Матвеевым время, в XV–XVI вв. [Матвеев 1998: 99]. Только называть его именно (важско-устьянской) мерей мы не видим никакого основания.

В свете новых данных А.К. Матвеева возможность мерянской миграции в ВП стала, по-видимому, еще невероятнее. На соответствующей территории следует искать следы этнических групп, называемых "зырянами" и "черемисами". Если на основании предполагаемых переносных названий *Ростово, Устья* и *Которосль* мы хотим связать рассматриваемую территорию с Ростовщиной, для этого не надо привлекать мерян-

ские данные. Гипотетически остается две возможности: либо миграция домерянского, финно-угорского населения, либо миграция постмерянского, древнерусского населения.

А.П. Афанасьев напоминает о том, что с IV в. н.э. Прикамье и Среднее Поволжье испытывали постоянное давление древних угров и тюркоязычных племен с востока и юго-востока. Тогда древнее финноязычное население территории не только частично смешалось с пришельцами, но и переселилось в бассейн северных рек [Афанасьев 1985: 75]. Однако домерянское население Волго-Окского междуречья, представители дьяковской культуры, при становлении мерянской культурной фазы могли теоретически оставаться на своих местах обитания<sup>12</sup>. Можем предположить, что их миграция происходила либо уже при прямом столкновении с мерянами, которые по археологическим доказательствам засвидетельствованы на территории, указанной в летописях, с VII в. н.э. (см. [Леонтьев 1996: 22]), либо спустя некоторое время, например при появлении в тех же краях дополнительного населения, славянских мигрантов. (Частичный переход субсубстратной топонимии к мерянам предусматривает сожителство или ассимилирование части домерянского населения с мерянами). Весомой причиной миграции, появившейся вслед за славянами, можно считать христианизацию. Часть мигрантов могла остаться и по пути, в том числе на Вологодской земле.

Не следует забывать, что центральная меря занималась прежде всего земледелием. Тем более, если меряне пришли со стороны Поочья [Леонтьев 1996 : 21–22], т.е. с зоны перехода лесной полосы на лесостепную, очень трудно представлять их уход на север, в лесную глухомань, где их основными промыслами должны были бы оказаться охота и рыболовство. Поэтому естественным кажется переход на север групп населения, для которых условия жизни оказались там лучше, чем на Ростовщине. Охотникам должны были быть знакомы "пушнинные" угодья Севера. Именно домерянское население летописной территории мери должно было иметь эти промыслы как основные. Также *Синие камни* подтверждают сильную привязанность именно к природным промыслам, чем можно объяснить и скопление *Синих камней* в СУ: ведь именно охотниками и рыболовами подобные традиции лучше всего сохранялись. На земле древней мери и по сей день *Синие камни* являются важными ориентирами как раз для охотников, которые о них и лучше помнят. Отсутствие на Севере самых распространенных показателей топонимии летописной территории меря, подобных основе *Кунд(V)*-, могут также служить свидетельством о "домеряничности" мигрантов. В этой связи не следует забывать и *Мирских камней*.

В языке домерянского населения мерянской территории должны были быть определенные, в чем-то соотносимые с пермскими языками элементы. Некоторые следы языка Мерянской земли (*-шор*, *-шур*; *бож*) носят пермский отпечаток. Е.И. Горюнова отмечает связи Нижнего Прикамья с территорией Волго-Окского междуречья, выделяя существование ананьинских племен в Костромском и Ивановском Поволжье [Горюнова 1961 : 22–23]. А.П. Афанасьев считает возможным связывать гидронимы пермского типа в пределах средней Волги и Волго-Окского междуречья не только с ананьинской эпохой, но и с различными этапами дьяковско-городецкой культуры [Афанасьев 1985 : 75]<sup>13</sup>. Подобное население могло при миграции перенести древние названия *Которосль* и *Устье*. Формирование ойконима *Ростов* или названий на *-бол(V)*, *-бал(V)* вполне могут относиться к тому времени и состоянию, которое предполагаемые мигранты еще застали на Ростовской земле. Гипотетически они могли называться "зырью". Напомним, что *Синий камень* фигурирует и в Прикамье.

<sup>12</sup> Существует мнение, что в последнюю четверть I тыс. н.э. поздние дьяковские селения остались на Москве-реке и на верховьях Волги (см. [Callmer 1994: 32]).

<sup>13</sup> Надо также отметить, что факт появления в Ярославском Поволжье в середине X в. сосудов с округло-уплощенным дном свидетельствует, по мнению В.Н. Седыха, о притоке групп населения из районов Верхнего Прикамья, откуда их путь лежал, вероятнее всего, через Белоозеро [Седых 1985 : 74].

Хотя подобное переселение было теоретически вполне возможным, никаких доказательств этого нет. Археология не располагает необходимыми данными, которые могли бы подтвердить такую гипотезу. Кроме того, история говорит о миграции постмерянского, древнерусского населения Ростовщины на Север. Как подчеркивает А.Е. Леонтьев (ср. также [Матвеев 1998 : 103]), именно в начальный период освоения русского Севера, в XII–XIV вв. очевидно появление нового населения в СУ и ВП.

С конца второй трети XII в. началось движение русского населения на восток и север, в направлении Подвинья (Заволочья) [Кучкин 1984 : 89, 315–316]. Уже в начале XIII в. в состав Ростовского удельного княжества входили земли по Сухоне и верхнему течению Северной Двины с прилегающими территориями, включая Верхнее и Среднее Устье (см. [Кучкин 1984 : 102, рис. 3, 275, 316]). Для сбора дани на землях нижнего течения Сухоны и на части Заволочья возник ростовский форпост, город Устюг [АКК 1997: 171].

Е.А. Рябинин утверждает, что вследствие монголо-татарского вторжения во второй половине XIII–XIV в. Важская область и прилегающие территории стали объектом массовой верхневолжской крестьянской колонизации [Рябинин 1997: 147–148]. В XIV в. Устюгский край вместе с землями на севере и на западе относился именно к Ростовскому княжеству (см. [Кучкин 1984 : 120, карты на вклейке]).

Поселенцы вполне могли принести с собой на Север привычные топонимы, в частности, триаду *Ростово–Устья–Которосль*, но для рассматриваемого времени это уже элементы русского языка. При этом остальные топонимические компоненты (ойконимы на *-бол* и т.д.) СУ и ВП скорее всего автохтонны, как отмечает А.Е. Леонтьев. В этой связи можно упомянуть об общности субстратных топонимических компонентов на огромных территориях и о наличии на Севере финно-угорских субстратных слоев более ранних эпох.

В любом случае предполагаемые мигранты, по указанным А.К. Матвеевым сведениям, собственно мерянский язык не перенесли. Совпадающие с марийским языком следы ВП настолько специфично марийские, что они к ним и относятся (ср. примеры А.К. Матвеева [Матвеев 1998 : 99–100], гидронимию на *-енгарь* и т.п.). Матвеев и пришел к выводу, что "марийцы могли принимать участие в освоении Севера и, в частности, ВП" [Матвеев 1998 : 102–104]. Напомним еще раз о христианизации, что заставляло марийцев большими группами переселяться на восток (см. также [Матвеев 1998 : 104]). Возникает вопрос, не могли ли марийцы принимать участие в походах волжских булгар на Север в XIII в. (ср. сноску 11)?

Отметим, что северо-восточный уголок Костромской области сохранил некоторые топонимы с яркой марийской окраской типа *Пертюг* ([Костр. обл. 1997: 6]; этимологию основы см. [Галкин 1991 : 98]). Эти элементы обнаруживаются и в топонимии восточной части Вологодской области, где повторяется тот же *Пертюг* [Вол. обл. 1998 : 80, 83]. Там есть еще населенный пункт *Черемисские* [Вол. обл. 1998 : 57]. При этом надо учесть топонимию "древнесеверофинского" типа, носящую и сходные с волжскофинскими, в том числе с марийским языком, элементы (ср. [Матвеев 1996 : 20; 1998 : 101, 104]).

На основании сказанного выше некоторые моменты в запутанной истории заселения Средней и Северной России могут со временем проясниться (ср. [Матвеев 1998 : 101]). Когда речь идет о серьезных переселенческих процессах, сведения о которых не зафиксированы ни историческими документами, ни народными легендами, надежные выводы можно сделать, опираясь не только на языковые, ономастические сведения, но и с учетом фактов других дисциплин – археологии и антропологии с генетикой.

Поскольку хорошо известно, какие деревни в ВП были заселены *зырью* и какие *черемисами* (см. [Матвеев 1998 : 100]), теперь надо стремиться к тому, чтобы провести в них археологические исследования, а также изучить состав коренного населения методами антропологии (сравнение подростовского, коми и марийского населения). Без учета этих факторов окончательного решения проблемы не будет. При этом огромную помощь могли бы оказать палинологические и почвоведческие исследования.

которые могли бы пролить свет на зарождение земледелия на рассматриваемой территории.

Если поиски мерянского субстрата в северном направлении будут продолжаться, перспективнее ВП (ср. [Матвеев 1998 : 98]) кажется исследование течения Северной Двины, в котором, кроме гидронима *Вычегда*, имеется ряд топонимов с компонентом *-хта, -гда*, такие, как *Рочегда* и *Челмохта*, относящиеся к бывшим землям Ростовского княжества вблизи низовьев Ваги и Емцы. Севернее течет река *Кехта*, но двусложные названия могут оказаться и чисто отапельлятивными. При исследовании следует быть осторожными из-за возможности прибалтийско-финского влияния на этих землях. По Двине имеется также *Ростовское* [Арх. обл. 1995]; на Вычегде стоит деревня *Кибалина* [ВГ 1866 : 243], название которой (а не приведенный А.К. Матвеевым ойконим *Кубал(о)* [Матвеев 1996 : 13]) фонетически сопоставимо с подсудальским *Кибол(о)*. Подчеркнем, что в торговом отношении Север должен был быть достаточно хорошо знаком и самим мерянам.

С перспективностью поисков в районе Кубенского озера – и, конечно, вообще в округности Вологды – я с А.К. Матвеевым [Матвеев 1998 : 98] совершенно согласна.

Естественные связи меряне должны были иметь в сторону Белозерья, расстояние до которого от Кубенского озера близ Вологды совсем незначительное – километров 75. Река Шексна издавна связывала Белоозеро с Волго-Окским междуречьем, с Ростово-Суздальским краем, будучи удобным колонизационным и торговым путем (см. [Попов 1947 : 166; Кучкин 1984 : 309]). Сначала по Волге с притоками и потом по Шексне туда можно было легко попасть из западных, южных, центральных и даже юго-восточных частей обширной Мерянской земли. Археологами подтверждается, что в начале X в. финское население бассейна Галичского озера было включено в систему активных связей с Северо-Западом, осуществлявшихся через Белозерье и реку Шексню [АКК 1997 : 147].

Предполагается, что уже в начале XI в. территория Ростова включала, кроме Суздаля и Ярославля, также Белоозеро (см. [Кучкин 1984 : 59, 74, рис. 1]). Летописи указывают связи Мерянской земли с Белозерьем. Стоит только вспомнить восстание в Ростовско-Ярославской земле под руководством волхвов, о котором рассказывается в летописях под 1071 г. [ИЛ 1998 : 164–168; ЛЛ 1997 : 175; Фроянов 1986 : 30]. Отсюда ясна тесная и древняя связь этих областей [Попов 1947 : 166]. Вследствие монголо-татарских вторжений часть населения Суздальщины, и, видимо, Ростова, бежала в район Белоозера [Кучкин 1984 : 122]. Именно Белозерье могло быть стороной естественного продвижения части мерян Ростово-Суздальской земли, о чем пишет Н.А. Макаров (см. [Макаров 1989 : 101]). Поскольку такие связи с Белоозером имелись в начале славянской колонизации даже у костромской мери, не говоря уже о центральной, то трудно представить причину, которая заставила бы мерян вдруг переехать в совершенно иную сторону, к землям Заволочской чуди.

Белоозеро было территорией обитания веси. В топонимии Белозерья и Мерянской земли встречаются не только общие компоненты, но и общие фонетические особенности (ср. [Альквист 1987 : 28; Матвеев 1998 : 102]). Кроме гидронимов на *-хта, -гда*, Белозерье связывается с Мерянской землей, например, одинаковым фонетическим обликом топоосновы *Ухт(V)*:- ср. населенный пункт *Ухтома* на реке *Ухтомка* на западном берегу Белого Озера [Вол. обл. 1998 : 45], хотя западнее имеются формы с *Охт(V)*-, выступающие на Севере в виде *Вохт(V)*-. Топооснова со значением 'камень' встречается в Белозерье, как и на Мерянской земле, в виде *Ки(в)*-, иногда *Ки(у)*- с названиями Мерянской земли *Кибол*, *Киучер(ка)* и т.д. сравнима основа погамонима и ойконима *Киуй* (*Кивой*, *Кивуй*) на северном берегу Белого Озера [Вол. обл. 1998 : 45; Попов 1947 : 172], которые, в свою очередь, связываются с гидронимией бассейна реки Свирь (гидронимы типа *Кивуй*, *Кивой*, *Кивуя*, *Кивоя* и т.д. [СГБС 1997 : 124]). На обследуемых А.К. Матвеевым северных территориях основа выступает исключительно в сходной с марийским языком форме *Ку*-. В Белозерье встречается топооснова

*Ченц(V)*- (см. [Вол. обл. 1998 : 43], где имеется *Ченчозеро*), крайне распространенная по всей Мерянской земле. Ср. еще, например, озеро *Чачема* южнее Белого Озера [Вол. обл. 1998 : 66] с озером *Чачино* в Ростовском районе, озеро *Ваикозеро* [Вол. обл. 1998 : 45] с названием села *Вашка* Переславского района. А.П. Попов усматривает в топонимии Белозерья и мерянские языковые элементы [Попов 1947 : 167]. Матвеев считает многочисленные названия на *-бол*, *-пал* Белозерского края особенно близкими к мерянским [Матвеев 1996 : 7].

Меряне, не меряне? Однако все же финно-угры. Вопрос требует дальнейшего исследования. В данном изложении мы хотели только показать и иные возможности решения проблемы. Мы продолжим эту тему на страницах "Вопросов языкознания" этимологизацией топонимических компонентов Мерянской земли. При этом мы обсудим не только некоторые этимологии А.К. Матвеева, но и совершенно новые, в частности ряд приведенных в данном изложении субстратных топонимов. Хотелось бы привлечь к дискуссии также специалистов, ранее не высказывавших свое мнение о мерянской проблематике. Учитывая поставленный вопрос о возможности скандинавского влияния на фонетический облик ойконимического суффикса *-бол(V)*, *-бал(V)*, было бы полезно узнать и точку зрения исследователей эпохи викингов.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Агеева Р.А.* 1990 – Страны и народы: происхождение названий. М., 1990.  
АКК 1997 – Археология Костромского края / Под ред. А.Е. Леонтьева. Кострома, 1997.  
*Альквист А.* 1992 – Наблюдения над финно-угорским субстратом в топонимии Ярославского края на материале гидронимических формантов *-(V)ga* и *-(V)nga*, *-(V)ньга*, *-(V)нда* // *Studia Slavica Finlandensia*. VIII. Helsinki, 1992.  
*Альквист А.* 1995 – Синие камни, каменные бабы. JSFOu. 86. Helsinki, 1995.  
*Альквист А.* 1996 – Загадочные камни Ярославского края // *Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum Jyväskylä 10.–15. 8. 1995. Pars VII. Litteratura. Archaeologia et Anthropologia*. Jyväskylä, 1996.  
*Альквист А.* 1997 – Мерянская проблема на фоне многослойности топонимии // ВЯ. 1997. № 6.  
*Альквист А.* 1998 – Субстратная лексика финно-угорского происхождения в говорах Ярославско-Костромского Поволжья // *Studia Slavica Finlandensia*. XV. *Studia Slavica Finlandensia in Congressu XII Slavistarum Internationali Cracoviae anno MCMXCVIII oblata*. Helsinki, 1998.  
Арх. обл. 1995 – Архангельская область. Ненецкий автономный округ. М., 1995.  
*Афанасьев А.П.* 1985 – Западные и юго-западные границы гидронимов пермского типа // Проблемы этногенеза народа коми // Труды Института языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР. Вып. 36. Сыктывкар, 1985.  
*Афанасьев А.П.* 1996 – Топонимия республики Коми. Словарь-справочник. Сыктывкар, 1996.  
ВГ 1866 – Вологодская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. СПб., 1866.  
*Веселовский С.Б.* 1974 – Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974.  
Влад. обл. 1998 – Владимирская область. Топографическая карта. М., 1998.  
Вол. обл. 1998 – Вологодская область. Топографическая карта. М., 1998.  
*Галкин И.С.* 1967 – Топонимика Марийского края в связи с вопросом происхождения марийского народа // Происхождение марийского народа. Йошкар-Ола, 1967.  
*Галкин И.С.* 1991 – Кто и почему так назвал. Рассказы о географических названиях марийского края. Йошкар-Ола, 1991.  
*Галушко Л.Г.* 1962 – Названия "каменной" реки Чусовой // Вопросы топониматики. Свердловск. Вып. 1. 1962.  
*Генинг В.Ф.* 1967 – Некоторые проблемы этнической истории марийского народа (о мерянской этнической общности) // Происхождение марийского народа. Йошкар-Ола, 1967.  
ГМР 1985 – Гидронимы Марийской АССР // Вопросы марийской ономастики. Вып. 5. Йошкар-Ола, 1985.  
*Голубева Л.А.* 1987 – Чудь заволочская // Финно-угры и балты в эпоху средневековья / Археология СССР. М., 1987.

- Гордеев Ф.И. 1985 – О былых связях древнемарийских племен со своими соседями по данным ономастики // Вопросы марийской ономастики. Вып. 5. Йошкар-Ола, 1985.
- Горюнова Е.И. 1961 – Этническая история Волго-Окского междуречья // МИА. № 94. М., 1961.
- Дубов И.В. 1982 – Северо-Восточная Русь в эпоху раннего средневековья. (Историко-Археологические очерки.) Л., 1982.
- Ив. обл. 1997 – Ивановская область. Топографическая карта. М., 1997.
- ИЛ 1998 – Полное собрание русских летописей. Т. II. Ипатьевская летопись. М., 1998.
- Инжеватов И.К. 1987 – Топонимический словарь Мордовской АССР. Названия населенных пунктов. 2-е изд. Саранск, 1987.
- Карта фра Мауро 1871 – Материалы для историко-географического атласа России. Карта части света 1459 года. Fac-simile с копии, снятой виконтом де Сантаремом с подлинной карты, составленной фра Мауро для Альфонса V, короля Португальского, современника великому князю Василию Васильевичу Темному. СПб., 1871.
- Кизема 1995 – Кизема. М., 1995.
- КО 1983 – Костромская область: административно-территориальное деление на 1 января 1981 года. Ярославль, 1983.
- Костр. обл. 1997 – Костромская область. Топографическая карта. М., 1997.
- Кривошекова-Гантман А.С. 1968 – Гидронимия коми-пермяцкого происхождения в Прикамье // Географические названия Прикамья. Пермь, 1968.
- Кузнецов А.В. 1995 – Названия вологодских озер. Словарь лимнонимов финно-угорского происхождения. Вологда, 1995.
- Куклин А.Н. 1985 – Названия физико-географических объектов Марийской АССР (с комментариями) // Вопросы марийской ономастики. Вып. 5. Йошкар-Ола, 1985.
- Куклин А.Н. 1998 – Топонимия Волго-Камского региона. (Историко-этимологический анализ.) Йошкар-Ола, 1998.
- Кучкин В.А. 1984 – Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984.
- Лебедев Г.С. 1985 – Северо-восток Европейской части России в середине I тыс. н.э. (Состояние письменных и археологических данных) // Материалы к этнической истории Европейского Северо-востока. Сыктывкар, 1985.
- Леонтьев А.Е. 1996 – Археология мери. К предыстории Северо-Восточной Руси // Археология эпохи великого переселения народов и раннего средневековья. Вып. 4. М., 1996.
- ЛЛ 1997 – Полное собрание русских летописей. Т. I. Лаврентьевская летопись. М., 1997.
- Макаров Н.А. 1989 – Новгородская и Ростово-Суздальская колонизация в бассейнах озер Белое и Лача по археологическим данным // СА. 1989. № 4.
- Малодоры 1995 – Малодоры. 1995.
- Матвеев А.К. 1965 – Топонимические элементы *явр*, *ягр*, *яхр* (озеро) на Русском Севере (к вопросу об использовании данных физической географии в топонимических исследованиях) // Известия АН СССР. Серия географическая. 1965. № 6.
- Матвеев А.К. 1978 – Топонимические этимологии. XI. (Название озера Неро) // СФУ. 1978. XIV.
- Матвеев А.К. 1996 – Субстратная топонимия Русского Севера и мерянская проблема // ВЯ. 1996. № 1.
- Матвеев А.К. 1998 – Мерянская топонимия на Русском Севере – фантом или феномен? // ВЯ. 1998. № 5.
- Мачинский Д.А. 1985 – Ростово-Суздальская Русь в X в. и "три группы Руси" восточных авторов // Материалы к этнической истории Европейского Северо-Востока. Сыктывкар, 1985.
- Мельникова Е.А. 1986 – Древнескандинавские географические сочинения. М., 1986.
- ММ 1926 – Упымарий (В.М. Васильев). Марий мутэр. Турлө вэрэ илышэ марийын мутшын тангастарэн нэргэлымэ кнага. Моско, 1926.
- Моск. обл. 1996 – Московская область. Топографическая карта. М., 1996.
- Перозник В.П. 1983 – Названия древнерусских городов. М., 1983.
- Нижег. обл. 1998 – Нижегородская область. Топографическая карта. М., 1998.
- Носов Е.Н. 1992 – Происхождение легенды о призвании варягов и балтийско-волжский путь // Древности славян и финно-угров. Доклады советско-финляндского симпозиума по вопросам археологии 16–22 мая 1986 г. СПб., 1992.

- ОЯО 1970 – Озеро Ярославской области и перспективы их хозяйственного использования / Отв. ред. В.Л. Рохмистров. Ярославль, 1970.
- Попов А.И. 1947 – Топонимика Белозерского края // Ученые записки ЛГУ. № 105. Серия востоковедческих наук. Вып. 2. Л., 1947.
- Попов А.И. 1973 – Названия народов СССР. Введение в этнонимистику. Л., 1973.
- Попов А.И. 1974 – Топонимика древних мерянских и муромских областей // Географическая среда и географические названия. Сборник статей. Л., 1974.
- РГАДА б.г. – Российский государственный архив древних актов. М.
- РМЭ 1995 – Республика Марий Эл. М., 1995.
- Ровдино 1995 – Ровдино. 1995.
- Розенфельдт Р.Л. 1987 – Прикамские финны // Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М., 1987.
- Рохмистров В.Л. 1969 – Некоторые морфометрические характеристики рек Ярославского Поволжья // ЯГПИ. Уч. зап. Вып. 75. География и геология. Ярославль, 1969.
- Рябинин Е.А. 1997 – Финно-угорские племена в составе древней Руси. К истории славяно-финских этнокультурных связей. СПб., 1997.
- Ряз. обл. 1995 – Рязанская область. Топографическая карта. М., 1995.
- Самарянов В.А. 1875 – Следы поселений мери, чуди, черемисы, еми и других инородцев в пределах Костромской губернии // Древности. Т. VI. Вып. 1. М., 1875.
- СВСКС 1909 – Старинные волости и станы в Костромской стороне. Материалы для Историко-географического словаря Костромской губернии. СПб., 1909.
- СГБС 1997 – И.И. Муллонен, И.В. Азарова, А.С. Герд. Словарь гидронимов Юго-Восточного Приладожья (бассейн реки Свирь). СПб., 1997.
- Седов В.В. 1987 – Введение // Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М., 1987.
- Седых В.Н. 1985 – К характеристике лепной керамики Ярославского Поволжья // Материалы к этнической истории Европейского Северо-Востока. Сыктывкар, 1985.
- Смирнов М.И. 1911 – Переславль-Залесский. Его прошлое и настоящее. М., 1911.
- Смирнов М.И. 1928 – Актография Переславль-Залесского уезда XVII в. / Труды Переславль-Залесского историко-художественного и краеведческого музея. Вып. V. Переславль-Залесский, 1928.
- Смирнов М.И. 1929 – Историко-географическая (хорографическая) номенклатура Переславль-Залесского края. (Материалы для ее изучения.) / Труды Переславль-Залесского историко-художественного и краеведческого музея. Вып. XI. Переславль-Залесский, 1929.
- Смолицкая Г.П. 1973 – Субстратная гидронимия бассейна р. Оки // Ономастика Поволжья. 3. Материалы III конференции по ономастике Поволжья. Уфа, 1973.
- Смолицкая Г.П. 1974 – Картографирование гидронимии Поочья // Вопросы географии. Сб. 94. Топонимия Центральной России. М., 1974.
- Смолицкая Г.П. 1976 – Гидронимия бассейна Оки. (Список рек и озер). М., 1976.
- Строевское 1995 – Строевское. Топографическая карта. М., 1995.
- СФ 1997 – Е. Грушко, Ю. Медведев. Словарь фамилий. Нижний Новгород, 1997.
- Тв. обл. 1998 – Тверская область. Топографическая карта. М., 1998.
- Терентьева О.П. 1994 – Гидронимы Ветлужско-Вятского междуречья (потамонимы). Автореф. дис... канд. филол. наук. Йошкар-Ола, 1994.
- ТИРИ 1772 – Топографические известия, служащие для полного географического описания Российской империи. Т. 1., Ч. 2. СПб., 1772.
- Ткаченко О.Б. 1985 – Мерянский язык. Киев, 1985.
- Фроянов И.Я. 1986 – О языческих "переживаниях" в верхнем Поволжье второй половины XI в. // Русский Север. Проблемы этнокультурной истории, этнографии, фольклористики. Л., 1986.
- Черных С.Я. 1995 – Словарь марийских личных имен. Йошкар-Ола, 1995.
- ЭКНЭС 1977 – Д.В. Цыганкин, М.В. Мосин. Эрзянь келень нурькине этимологической словарь. Саранск, 1977.
- ЭСРЯ 1964–1973 – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I–IV. М., 1964–1973.
- ЯО 1986 – Ярославская область: административно-территориальное деление (на 1 января 1986 года). Справочник. Ярославль, 1986.

- ЯОСК б.г. – Ярославский областной словарь. Картотека. Кафедра русского языка Ярославского государственного педагогического института. Ярославль.
- Яр. обл. 1997 – Ярославская область. Топографическая карта. М., 1997.
- Ahlqvist A. 1993 – Ihmar' ja Kuhmar' // MSFOu 215. Festschrift für Raija Bartens. Helsinki, 1993.
- Ahlqvist A. 1998a – Merjalaiset – suurten järvien kansaa // Virittäjä, 1998. № 1.
- Ahlqvist A. 1998b – Kižila ja Kinela // MSFOu 228. Oekeeta asijoo. Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Seppo Suhonen sexagenarii. Helsinki, 1998.
- Ahlqvist A. 1999 – Ihmisiähän ne merjalaisetkin olivat... / Virittäjä, 1999. № 4.
- Callmer Johan 1994 – The clay paw burial rite of the Åland Islands and Central Russia. A symbol in Action // Current Swedish archaeology. 1994. V. 2.
- Europæus D.E.D. 1868 – Tietoja suomalais-ungarilaisten kansain muinaisista olopaikoista // Suomi, II jakso, 7 osa. Helsinki, 1968.
- Harling-Kranck G. 1990 – Namn på åkrar, ängar och hagar. Helsingfors, 1990.
- Kirkinen H. 1990 – Merjasta Mikkeliin // Inkerin teillä. Kalevalaseuran vuosikirja 69–70. Helsinki, 1990.
- Korhonen M. 1981 – Johdatus lapin kielen historiaan. Helsinki, 1981.
- NA б.р. – Nimiarkisto. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Helsinki.
- Nissilä Viljo 1962 – Suomalaisista nimistöntutkimusta // Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 272, Sanakirjasäätiön nimistöjaoksen julkaisuja 2. Helsinki, 1962.
- Pamp Bengt 1988 – Ortnamnen i Sverige. Lund, 1988.
- RGN 1964–1988 – Russisches Geographisches Namenbuch. Bd. I–XI / Begründet von M. Vasmer. Hrsg. von M. Vasmer und H. Bräuer. Wiesbaden, 1964–1988.
- Saarinen S. б.р. – Iksa. Sana-artikkeli "Marin kielen sanakirjaa" varten. Turun yliopisto. Turku.
- Sahlgren J. 1925 – Nordiska ortnamn i språklig och saklig belysning. 7. Sunnerbo, Vadsbo och Lungbo. Ett bidrag till *bo*-inledningens historia / Namn och Bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. Årgång 13. 1925. Hf. 4.
- SSA 1992 – Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. 1. Erkki Itkonen, Ulla-Maija Kulonen, 2. – Ulla-Maija Kulonen. Helsinki, 1992.
- Thors Carl-Eric 1953 – Studier över finlandssvenska ortnamnstyper / Studier i nordisk filologi. Bd. 42. Helsingfors, 1953.
- UEW 1986–1991 – K. Redei. Uralisches Etymologisches Wörterbuch. Bd. I–III. Budapest, 1986–1991.
- Uino P. 1997 – Ancient Karelia. Archaeological studies / Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja, 104. Helsinki, 1997.
- Vasmer M. 1935 – Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas. III. Merja und Tscheremissen // Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde / Hrsg. von H. Bräuer. Bd. I. Berlin, 1971.
- Veen A. 1613 – Nativus Sueciae adjacenti umque regnorum typus. 1613. Helsingin yliopiston kirjasto. 1613.
- WRG 1961–1973 – Wörterbuch der russischen Gewässernamen / Zusammengestellt unter Leitung von M. Vasmer. Bd. I–V. Nachtrag. Berlin, 1961–1973.



© 2000 г. Е.В. УРЫСОН

**РУССКИЙ СОЮЗ И ЧАСТИЦА И:  
СТРУКТУРА ЗНАЧЕНИЯ\***

**0. Введение.** Русский сочинительный союз *и*, являясь одним из наиболее употребительных служебных слов, как будто лишен собственной семантики. В толковых словарях его значение по существу не эксплицируется – описание союза *и* сводится к указанию контекстов, в которых он употребляется. Ср., например, следующую формулировку из МАС: “Употребляется для соединения однородных членов предложения и предложений, представляющих собой однородные сообщения” [МАС: 625]. При этом словари представляют союз *и* многозначным (ср., например, [МАС; БАС; Словарь Ушакова]). Так, МАС, наряду со значением, приведенным выше, выделяет в этом союзе еще 11 основных значений, объединенных в шесть блоков. В частности, разные значения усматриваются у этого союза в следующих контекстах: *Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца* (А.С. Пушкин) и *Мы простились еще раз, и лошади поскакали* (А.С. Пушкин). По МАС различие между данными двумя значениями *и* заключается в следующем: в первом примере союз *и* соединяет предложения, представляющие собой “однородные сообщения”, а во второй фразе *и* соединяет “предложения, связанные друг с другом временной последовательностью излагаемых событий” [МАС: 626]. Однако, исходя из подобного описания, естественно сделать лишь тот вывод, что союз *и* свободно соединяет самые разные предложения (см. об этом, в частности [Пешковский 1956; Белошапкина 1967; Санников 1989]). Остается совершенно неясным, какова семантика данного союза.

Наряду с союзом *и*, в русском языке существует еще усилительная частица *и*. Ср.: *Его позвали, он и пришел; Наконец, все уgomонились. Заснул и Ваня*. Связаны ли в лексической системе современного языка союз *и* и усилительная частица *и*? Словарь Ушакова считает их лексемами одного слова. На сходство этих единиц указывается и в лингвистической литературе, см., в частности, [Николаева 1985]. Однако МАС считает эти единицы омонимами. При этом ни то ни другое решение не имеет надежного семантического основания – не предъявлено такое описание семантики союза *и* и усилительной частицы *и*, из которого можно было бы делать вывод о наличии или отсутствии у этих единиц какой-либо семантической общности.

Не претендуя на исчерпывающее описание семантики союза *и* и частицы *и*, остановимся на главных вопросах, возникающих при исследовании этих лексических единиц.

Союз *и* удобно описывать, сравнивая его с ближайшими “соседями” – сочинительными союзами *а* и *но*. Поэтому в предлагаемой работе содержатся некоторые замечания и об этих союзах.

\* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 99–04–00420А) и РФФИ (проект № 00–15–98866).

Автор благодарит Т.М. Николаеву и всех коллег, особенно Е.Э. Бабаеву, за ценные критические замечания, сделанные при обсуждении описания союза *и* на рабочем семинаре Сектора теоретической семантики Института русского языка РАН, а также на Семинаре по теоретической семантике и лексикографии (ИППИ РАН). Особую благодарность автор приносит Ю.Д. Апресяну.

**1.0. Союз *и* как ослабленное обозначение причинно-следственного отношения. Союзы *а* и *но* в их основных употреблениях.** Среди значений, обычно выделяемых у союза *и*, есть причинно-следственное. Оно усматривается в случаях (1) *Мне стало душно, и я вышел; Подул ветер, и с деревьев полетели желтые листья* и т.п. Но быть может, причинно-следственное отношение выражается здесь не союзом *и* как таковым, а контекстом? Действительно, если удалить из этих фраз союз *и*, то причинно-следственное понимание сохранится. Ср.: (1а) *Мне стало душно. я вышел; Подул ветер. С деревьев полетели желтые листья.* Очевидно, для того чтобы обосновать выделение причинно-следственного значения у союза *и*, нужно оперировать такими примерами, в которых причинно-следственное понимание зависит только от наличия союза *и*, никак не навязываясь контекстом или нашим знанием действительности.

Именно такой материал приводит В.З. Санников. Ср. следующие примеры: (2) *Коля ушел домой, а Петя остался в школе*; (3) *Коля ушел домой, Петя остался в школе*; (4) *Коля ушел домой, и Петя остался в школе* [Санников 1989: 186]. В этих фразах описаны одни и те же ситуации (события) – уход Коли домой и пребывание Пети в школе. Однако связаны эти ситуации по-разному. В первых двух примерах они поданы как независимые, в частности, Петя мог и не знать об уходе Коли. А в примере (4) эти ситуации связаны причинно-следственным отношением. "Петя наверняка знал об уходе Коли и пребывание Пети в школе связано с уходом Коли, является нормальной реакцией на этот уход. И приписать это значение нормального следствия можно лишь союзу *и* – поскольку все остальные компоненты во фразах совпадают" [Санников 1989: 186].

Вопрос о том, имеем ли мы в данном случае дело с отдельным значением, т.е. лексемой союза *и*, или всего лишь с особым употреблением этого слова, будет решен ниже. Пока будем говорить о причинно-следственном употреблении союза *и*. В первом приближении оно эксплицируется так:

*X, и Y* [*Коля ушел домой, и Петя остался в школе*] = 'X; Y; X вызывает Y; это нормальный ход событий'.

Ср. еще некоторые примеры, в которых причинно-следственное отношение выражается союзом *и* – при удалении этого союза высказывание превращается в перечисление ситуаций, в простую констатацию фактов: (5) *В начале мая петербургский сезон начинал замирать, и все понемногу разъезжались* [все понемногу разъезжались, потому что сезон замирал] VS. *В начале мая петербургский сезон начинал замирать, все понемногу разъезжались* (А. Ахматова) [констатация двух фактов]; (6) *Книгу нельзя было послать даже в Москву, и она вся разошлась в Петрограде* [книга разошлась в Петрограде, потому что ее никуда нельзя было послать] VS. *Книгу нельзя было послать даже в Москву, она вся разошлась в Петрограде* (А. Ахматова) [констатация двух фактов].

Указывая на причинно-следственное отношение, союз *и* сочетается со словами *поэтому, потому, следовательно, тогда* и т.п. Ср.: (7) *Он уезжает, и поэтому она несчастна; Маша в кино, и, следовательно, квартира не убрана; Бабы выходили на работу в поле в домотканых сарафанах, и тогда старухи и топорные девки казались стройнее античных статуй* (А. Ахматова).

Безусловно, мы часто понимаем, что ситуации связаны причинно-следственным отношением, поскольку знаем, как устроен наш мир. Поэтому бессознательные предложения в приведенных выше парах могут быть поняты так же, как предложения с *и*. Однако в предложениях с союзом *и* соответствующий смысл выражен лексически, а в бессознательных предложениях мы имеем дело с естественным смысловым выводом.

Ближайшие аналоги данного употребления союза *и* – это союзы *но* и *а*, которые в своих самых ярких употреблениях тоже отражают представление о норме (см. [Левин 1970; Санников 1989]). Ср.: (8) *Ему стало больно, но он не заплакал; Петя ушел*

домой, но Коля (несмотря на это) остался в школе; (9) День был дождливый, а Коля не взял зонт; Дело к весне, а мороз все жестче.

Союз *но* в этом его значении эксплицируется так (по существу, мы модифицировали толкование *но*, данное в [Санников 1989: 156]):

*Х, но Y* [*Ему стало больно, но он не заплакал*] = 'X; Y; это не является нормальным ходом событий; при нормальном ходе событий X вызвал бы нечто противоположное Y-у'.

Что касается союза *а*, то он в интересующем нас значении часто заменим на *но*, ср. *День был дождливый, но Коля не взял зонт; Дело к весне, но мороз все жестче*. Однако "союз *но* указывает на зависимость компонентов X и Y (Коля знал, что погода дождливая, и все-таки не взял зонт); союз *а* описывает события как независимые (возможно, когда Коля собирался, дождя еще не было)" [Санников 1989: 170–171]. Независимость ситуаций при союзе *а* подтверждается тем фактом, что предложения, соединяемые с его помощью, можно менять местами. Ср.: *День был дождливый, а Коля не взял зонт* – *Коля не взял зонт, а день был дождливый*. В высказываниях с союзом *но* такая перестановка как минимум не желательна. Ср.: *'Коля не взял зонт, но день был дождливый* (подробнее об этом см. [Санников 1989]).

Зависимость одной ситуации от другой мы, вслед за В.З. Санниковым, описываем с помощью смыслового компонента 'ход событий'. Говоря о том, что ситуации не зависят друг от друга, в частности – не связаны причинно-следственным отношением, мы (тоже вслед за В.З. Санниковым) будем пользоваться компонентом 'сочетание ситуаций'. Ср. возможную экспликацию союза *а* в данном его значении (мы несколько модифицировали толкование *а*, данное в [Санников 1989: 170]):

*Х, а Y* [*День был дождливый, а Коля не взял зонт*] = 'X; Y; Y не зависит от X-а; сочетание X-а и Y-а ненормально; нормально сочетание X-а и чего-то противоположного Y-у'.

**1.1. Экскурс в теоретическую семантику.** Союз *и* в данном употреблении кардинально отличается от обычных причинно-следственных союзов и предлогов, ср. *из-за, благодаря, потому что, по причине, поэтому, следовательно* и т.п. Дело в том, что соответствующий компонент значения не находится в ассерции союза *и*. Этим же союз *и* отличается от глаголов и глагольных выражений типа *вызывать, влечь (за собой), быть причиной, быть следствием* и др. Это, очевидно, связано с тем, что союз *и* в этом употреблении обозначает такой ход событий, который считается известным, нормальным, т.е. полностью соответствующим нашему знанию ситуации, нашим представлениям об устройстве мира. При этом союз *и* вообще не имеет ассерции – указание на причинно-следственную зависимость просто мерцает где-то в самой его глубине.

Возникает закономерный вопрос: можно ли эксплицировать семантику служебного словечка, не имеющего ассерции, через полнозначный и к тому же стилистически отмеченный глагол вроде *вызывать*? Ведь союз *и* настолько стерт, что, скорее всего, не имеет и каких-то смысловых компонентов, входящих в значение этого глагола.

Строго говоря, союз *и* в данном употреблении нельзя истолковать не только через глагол *вызывать*, но и через какую-либо другую русскую лексему, обозначающую причинно-следственное отношение, – все соответствующие русские слова устроены явным образом сложнее. В частности, в союзе *и* полностью стертые те компоненты лексем, выражающих причинно-следственное отношение, благодаря которым эти слова отличаются друг от друга<sup>1</sup>. Таковы, например, семантические акценты, создающие различия между конверсивами, а также между разными частями речи. Действительно, семантика союза *и* в приведенном употреблении одинаково эксплицируется и через

<sup>1</sup> Ср. в связи с этим тонкие смысловые различия между причинно-следственными предлогами, описанные в [Иорданская, Мельчук 1996; Левонтина 1997].

компонент 'вызывать', и, например, через компонент 'следовательно'. Ср.: *Коля ушел домой [X], и Петя остался в школе [Y] = 'X, следовательно Y; это нормальный ход событий'*.

При этом союз *и* "затерте" и в силу этого проще и других единиц, которые входят в его толкование, ср. 'нормальный' и 'ход событий'. Получается, что союз *и*, по крайней мере, в данном употреблении не может быть истолкован средствами естественного, русского, языка, т.е. средствами метаязыка, представляющего собой подъязык языка-объекта.

Следовательно, в рамках семантической теории Ю.Д. Апресяна данное употребление союза *и* является семантическим примитивом. Действительно, в этой семантической теории "семантическая примитивность определяется структурой лексики самого описываемого языка: лексема *L* считается примитивом, если в данном языке не существует других лексем  $L_1, L_2, \dots, L_n$ , через которые ее можно было бы истолковать" [Апресян 1995: 480].

Однако мы убедились, что союз *и* в данном употреблении не является действительно неразложимой единицей – в его значении выделяются как минимум три семантических компонента: нечто вроде 'вызывать', нечто вроде 'нормальный' и нечто вроде 'ход событий'. Какова природа этих семантических компонентов?

Все эти семантические единицы проще, "меньше", чем выбранные для их обозначения русские лексемы (словосочетания). Поэтому, строго говоря, данные семантические компоненты не могут быть обозначены никаким реальным русским словом или выражением. Такие смыслы, меньше любой реальной лексемы, а потому и не имеющие адекватного выражения на естественном языке, Ю.Д. Апресян назвал семантическими кварками [Апресян 1995]. В этой же работе было отмечено, что семантические кварки бывают разных типов.

Некоторые семантические кварки – это те смысловые нюансы, которыми различаются семантический примитив и слова, близкие ему по смыслу; ср. *хотеть* (примитив) и *хотеться*, *желать*. Подобными семантическими нюансами различаются и семантические примитивы разных языков, ср., например, русск. *хотеть* и англ. *want*. Именно такие семантические кварки создают неуловимое национальное своеобразие лексики каждого естественного языка. Кварки данного типа естественно описывать с помощью дескрипций. Ср., например, описание глагола *хотеться*: "Желание рассматривается как результат действия какой-то трудно определимой силы, присутствие которой человек ощущает в себе" [Апресян 1995: 478–480].

Помимо таких смысловых нюансов, в национально-специфичном примитиве выделяется, очевидно, и некое смысловое "ядро" (ср. "идею чистого желания" в глаголах *хотеть*, *желать*, *want*, *wish* и т.п.). Оно лежит в основе значения и данного национально-семантического примитива, и его синонимов, и его квазиэквивалентов в других языках. Этот смысловой компонент, очевидно, представляет собой кварк другого типа. Семантические кварки такого типа естественно обозначать символами (словами) искусственного логического метаязыка.

Семантические кварки третьего типа еще более системны – они входят в значение многих лексических единиц данного языка, тем самым организуя их в классы. Примеры таких кварков – стативность (см. [Апресян 1995]) или частеречная семантика, например, семантика имени существительного. Последний кварк входит в значение всех слов, являющихся существительными, создавая семантические особенности данной части речи, иногда совершенно неожиданные (см. об этом [Урысон 1996; 1998]). Такие семантические кварки тоже естественно обозначать особыми символами.

Вернемся к нашей экспликации причинно-следственного употребления союза *и*. В ней, очевидно, участвуют кварки. Один из них – это тот "ядерный" кварк, который лежит в основе семантики слов типа *причина*, *благодаря*, *потому что* и под. Два других кварка участвуют в экспликации значения и некоторых других русских союзов, создавая системное различие между ними (см. выше). Строго говоря, все единицы,

участвующие в разложении союза *и* в данном его употреблении, корректно обозначать не русскими лексемами, а особыми символами. Мы, однако, будем пользоваться естественным метаязыком, отдавая себе отчет в том, что используемые нами слова – это в большой степени выхолощенные, не настоящие, лексемы русского языка.

Итак, союз *и* в данном употреблении разложим на более мелкие единицы и поэтому не может быть универсальным, "истинным" семантическим примитивом, т.е. примитивом в смысле А. Вежбицкой. Однако он не толкуем через реальные лексемы русского (или какого-либо другого) естественного языка, а потому, в рамках теории Ю.Д. Апресяна, является национально-специфичным семантическим примитивом. Строго говоря, нетолкуемыми в рамках данного естественного языка могут оказаться не только словечки типа *и*, но и многие другие русские лексемы. Действительно, поскольку лексемы естественного языка толкуются через семантические примитивы, а для обозначения последних используются слова естественного языка с их специфическими смысловыми нюансами, то получается, что эти нюансы попадают и в толкования тех слов, которые явным образом содержат лишь "ядерную" часть примитива. "Семантический примитив будет привносить в толкование лексемы и свои семантические надбавки, а они могут оказаться совершенно ненужными с точки зрения толкуемого смысла" [Перцов 1996: 18].

Мы не исключаем, что союзы *но* и *а* в данных их употреблениях тоже могут быть признаны нетолкуемыми. Действительно, в предложенных экспликациях участвуют семантические компоненты 'вызвать', 'ненормальный', 'ход событий', 'зависеть от', 'сочетание ситуаций', 'противоположный', которые могут оказаться семантически более сложными, нежели толкуемые через них коротенькие служебные слова.

Ясно, однако, что независимо от того, объявим ли мы союз *и* национально-специфичным примитивом или нет, данная экспликация позволяет выявить связи этого союза в лексической системе языка, описать своеобразие русской языковой картины мира.

**2.0. Союзы *и* и *а* как маркеры "развития повествования".** В следующей фразе союз *и*, безусловно, не выражает причинно-следственное значение. Ср.: (10) *Отец занимался тогда французским, и преподаватель ходил к нему на дом.* Союз *и* как будто вообще ничего здесь не выражает. Действительно, какая разница между, например, (10) и соответствующей фразой без союза или текстом, состоящим из двух фраз? Ср.: (10а) *Отец занимался тогда французским, преподаватель ходил к нему на дом;* (10б) *Отец занимался тогда французским. Преподаватель ходил к нему на дом.* Ясно, что смысл как таковой в (10), (10а) и (10б) один и тот же. Единственное возможное различие между этими примерами – в нюансах организации, подачи данного смысла. В (10а) есть сигнал того, что после первого из сочиненных предложений последует продолжение – это просодия, которая на письме передается запятой. В (10б) можно "вставить" такой просодический сигнал, однако он необязателен – первая фраза данного текста может, вообще говоря, завершать целый текст. А в (10) соответствующий сигнал дан дважды – с помощью просодии и лексически, т.е. союзом *и*.

Но сигналом продолжения может быть не только союз *и*, но и, например, союз *а*. Ср.: (11) *Отец занимался тогда французским, а преподаватель ходил к нему на дом.* Очевидно, что сочетание ситуаций, о которых идет речь в (11), отнюдь не является ненормальным, и, следовательно, союз *а* употреблен здесь в каком-то особом значении. Попытаемся уловить различие между *и* и *а* в данном случае.

Возьмем еще один пример: (12) *Ваня сидел и ел творог, и творог казался ему очень вкусным.* Если союз *и* заменить здесь на *а*, то получится, вообще говоря, сомнительный результат. Ср.: (12а) *Ваня сидел и ел творог, а творог казался ему очень вкусным.* Видоизменим теперь пример (12), ср.: (13) *Ваня сидел и ел творог, и творог был очень вкусным.* Эта фраза уже допускает замену *и* на *а*, ср.: (13а) *Ваня сидел и ел творог, а творог был очень вкусным.* Сформулируем различие между (13) и (13а) так, чтобы стала ясной и причина сомнительности примера (12а).

В примере (13а) – с союзом *а* – информация о том, что творог был вкусным, подается как совершенно объективная, не зависящая от восприятия данного конкретного субъекта (Вани). А фраза (13), точнее – ее вторая часть, вводимая союзом *и*, описывает не объективный вкус творога, а только субъективное ощущение Вани, т.е. то, как воспринимает вкус творога данный субъект. При этом в (13) ничего не говорится о том, был ли творог действительно вкусным. Тем самым, пример (13), в отличие от фразы (13а), выражает эмпатию говорящего к субъекту ситуации, причем эта эмпатия как бы скрывает истинное, объективное положение дел. Грубо говоря, в (13а) первое из сочиненных предложений повествует о Ване, а второе – о твороге, а в (13) оба сочиненных предложения повествуют о Ване. Это различие между (13) и (13а) естественно отнести на счет союзов.

Действительно, опустим в (13)–(13а) союзы. Ср.: (14) *Ваня сидел и ел творог. Творог был очень вкусным*; (14а) *Ваня сидел и ел творог, творог был очень вкусным*. Этот текст может выражать эмпатию к субъекту – при определенном прочтении из него может следовать, что Ване было вкусно. Но в отличие от (13), данный текст, даже выражая эмпатию, описывает не только ощущение Вани, но и объективный вкус творога: эмпатия к субъекту не заслоняет здесь собой истинного положения дел. Тем самым, текст (высказывание) без союзов занимает промежуточное положение между фразой с союзом *и* и фразой с союзом *а*. Союзы *и* и *а* устраняют эту своего рода амбивалентность бессоюзного высказывания (текста).

Союз *и* сигнализирует о том, что второе из сочиненных предложений – на ту же тему, что и первое предложение, т.е. повествование "развивается по прямой". В определенном частном случае такое сохранение темы предполагает и выражение эмпатии к субъекту, о котором шла речь в первом из сочиненных предложений, причем эта эмпатия может скрыть объективное положение дел.

Союз *а* сигнализирует о том, что второе из сочиненных предложений начинает свою собственную тему. При этом первое предложение в этом контексте воспринимается как экспозиция, "прелюдия" к новой теме. Вся фраза с союзом *а* в данном его употреблении предполагает какое-то продолжение: такая фраза – в отличие от фразы с союзом *и* – не может заканчиваться собой текст. Эта особенность союза *а* придает высказыванию особую неторопливость, создает ощущение размеренного повествования. Можно сказать, что союз *а* в данном употреблении – это сигнал о своего рода "повороте повествования".

Тем самым, союзы *и* и *а* в данном употреблении являются специфическими маркерами организации текста. Союз *и* можно назвать маркером "нормального развития повествования", а союз *а* – маркером "поворота повествования". Подобные лексические единицы А. Вежицка назвала метатекстовыми – в отличие от большинства слов, они не описывают мир, а устанавливают определенные отношения между фрагментами текста<sup>2</sup> [Вежицка 1978].

Приведем еще некоторые примеры с метатекстовым употреблением *и* и *а*.

(15) *Мы ехали в мягком вагоне, и проводником у нас был совсем молодой парень*;  
(15а) *Мы ехали в мягком вагоне, а проводником у нас был совсем молодой парень*.  
Примеры описывают одно и то же, однако подача смысла, повествование органи-

<sup>2</sup> В нашем случае этими фрагментами текста обычно являются сочиняемые предложения. Однако это не обязательно – союзы *и* и *а* могут употребляться и в абсолютном начале фразы и даже абзаца. Ср.: *Ваня ел творог. И <А> творог был очень вкусным*. Семантика союза от этого не меняется. Союз *и* может употребляться и в начале целого текста, создавая ощущения продолжения ранее начатой темы, при том что начало неизвестно адресату. Ср.: *И встретил Иаков в долине Рахиль (А. Ахматова)*. Союз *а* тоже возможен в абсолютном начале текста. Ср.: *А ты теперь тяжелый и унылый, / Отрекшийся от славы и мечты (А. Ахматова)*.

зованы по-разному. В (15) первое предложение повествует о субъекте, о езде субъекта в мягком вагоне, и второе предложение продолжает тему первого. В (15а) есть "поворот повествования" – первое предложение повествует о езде субъекта в мягком вагоне, а второе – о проводнике.

(16) *Глаза у Егорки рыбы, выпуклые, и веки с белыми, телячьими ресницами точно натянуты на них;* (16а) *Глаза [у Егорки] рыбы, выпуклые, а веки с белыми, телячьими ресницами точно натянуты на них* (Бунин, МАС). Примеры имеют один и тот же "объективный" смысл, но подан он по-разному. В (16) сочиненные предложения – на "одну и ту же тему": глаза Егорки, а в (16а) первое предложение – "на тему" глаз субъекта, а второе – "на тему" его век.

Аналогично и различие между (10) *Отец занимался тогда французским, и преподаватель ходил к нему на дом* и (11) *Отец занимался тогда французским, а преподаватель ходил к нему на дом*. Эти примеры описывают в точности одно и то же, однако в (10) второе сочиненное предложение подано как развивающее тему первого – оно тоже "про отца, про его занятия французским". А в (11) второе сочиненное предложение подано как начинающее новую тему: первое предложение в (11) повествует об отце, а второе – о его преподавателе французского.

Теперь мы можем сформулировать причину неудачности примера (12а) *Ваня сидел и ел творог, а творог казался ему очень вкусным*. В нем употреблен союз *а*, однако оба сочиненные предложения – на одну и ту же тему, оба повествуют о Ване. Союз *а* в таком контексте неуместен.

По нашему мнению, союз *и* является тем же маркером "нормального развития повествования" и в случае, когда соединяет "предложения, связанные друг с другом временной последовательностью излагаемых событий" [МАС: 626]. Ср.: (17) *Зазвонил телефон, и она сняла (не сняла) трубку; Мы простились еще раз, и лошади поскакали* (А.С. Пушкин).

Тот же маркер "нормального развития повествования" мы усматриваем и в следующих примерах, где союз *и* соединяет предложения, представляющие собой "однородные сообщения". Ср.: (18) *Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца* (А.С. Пушкин); *Рукава у нее [матери] были засучены, обнажая белые, толстые руки, и на безбровом, плоском лице выступали капли пота* (Л. Андреев).

Функцию маркера "нормального развития повествования" выполняет союз *и* и тогда, когда первое из сочиненных предложений указывает на условие или обстоятельство того, о чем говорится во втором предложении. Ср.: (19) *У меня был с собой плащ, и я в него иногда заворачивался, когда спал; Она не пошла в тот вечер в театр, и судьба отложила ее встречу с отцом еще на год; Она сидела молча, и ему вдруг стало ее жалко*.

Ср. еще некоторые предложения, в которых союз *и* является маркером "нормального развития повествования": (20) *В каретах, следующих за катафалком, сидели важные старухи с приживалками, как бы ожидающие своей очереди, и все было похоже на описание похорон в "Пиковой даме"* (А. Ахматова); *Она [бабушка] умерла, когда маме было девять лет, и в честь ее меня назвали Анной* (А. Ахматова); *Пароход уходил все дальше, гнал на песчаные берега длинные волны, качал бакены, и прибрежные кусты лозняка отвечали торопливым шумом на удары паровых колес* (К. Паустовский).

Отметим, что примеры типа (17)–(18) демонстрируют не только нормальное развитие повествования: мы воспринимаем как нормальную саму последовательность, само сочетание обозначаемых ими ситуаций. Действительно, последовательность ситуаций в примерах (17) соответствует нашим представлениям (знаниям) о том, что обычно происходит после того, как люди попрощались, или что обычно делает человек, когда звонит телефон. Точно так же сочетание ситуаций в (18) соответствует

нашим общим знаниям о мире (например, о том, что когда человек работает физически, он может засучить рукава, а следствием физической нагрузки может быть пот). В связи с этим в [Левин 1970] союзу *и* приписывается значение обычности, нормальности: при ситуации, обозначаемой первым предложением, обычно имеет место и ситуация, обозначаемая вторым предложением. (Тогда причинно-следственное значение союза *и* – это частный случай данного его значения.) Однако эта нормальность описываемого положения дел выражается отнюдь не союзом *и*. Действительно, высказывание *Стало тепло, и я надел шубу* прагматически столь же странно, что и высказывание без союза *Стало тепло, я надел шубу*. Следовательно, если в высказываниях типа (17)–(18) и выражен общий смысл нормальности данного положения дел, то его нельзя отнести на счет союза *и*. Кроме того, предложение с союзом *и* может вообще не предполагать никакой обычности, нормальности сочетания ситуаций. Ср.: (21) *Лицо у нее было белое, и ужасно глупо выглядела брошка с бегущим оленем*<sup>3</sup>.

Как бы ни было выхолощено значение союза *и* в данном употреблении, он может соединять не любые два предложения. Этот союз уместен там, где есть развитие повествования. Нормально бессоюзное предложение (22) *Раненого не довели, он умер по дороге*, однако странно (22а) *Раненого не довели, и он умер по дороге*. В (22а) повествование не развивается – одна и та же ситуация описывается разными словами. Необычны также фразы типа *Зазвонил телефон, и на улице пошел дождь* – в данных предложениях трудно усмотреть какую-либо разумную общую тему (а причинно-следственное понимание данного высказывания противоречит здравому смыслу). Соответствующий текст и даже бессоюзная фраза более обычны. Ср.: *Зазвонил телефон. На улице пошел дождь; Зазвонил телефон, на улице пошел дождь*.

ПРИМЕЧАНИЕ. Как обозначение причинно-следственного отношения союз *и*, очевидно, является двуместным предикатом. Поэтому в высказывании типа *Коля ушел домой, Дашу вызвали к директору, и Петя остался в школе* первые два предложения, связанные бессоюзно, объединяются как указание причины того, о чем говорится в последнем предложении, вводимым союзом *и*. "И развития повествования" тоже можно рассматривать как двуместный предикат. В случае цепочки простых предложений типа *Мы простились последний раз, кучер взмахнул кнутом, и лошади поскакали* естественно считать, что в роли X-а тоже выступает вся цепочка предшествующих предложений, связанных бессоюзно.

**2.1. Модификации "и нормального развития повествования".** Описанному метатекстовому употреблению союзов *и* и *а* очень близко их употребление в начале вопроса, ср.: (23) *И зачем он это сделал? VS. А зачем он это сделал?*

Союз *и* указывает здесь, что данный вопрос – "на ту же тему", что это тот же самый вопрос, который уже задавался говорящим. Указание на повторение вопроса напрямую связано со значением усилительности, "навязчивости", которое имеет в таких контекстах союз *и*. Благодаря этому такие вопросы требуют особой проработки.

Что касается союза *а*, то он и в этом контексте сигнализирует о некоем "повороте мысли", о переходе к новой теме, благодаря чему создает впечатление "мягкого" начала. Ср.: *Зачем он это сделал? VS. А зачем он это сделал?; Почему ты остался дома? VS. А почему ты остался дома?* Начиная вопрос союзом *а*, говорящий дает понять адресату, что вообще-то он думал о другом, что этот вопрос только теперь пришел ему в голову и интересуется его умеренно, а потому он и не настаивает на ответе, не "давит" на адресата.

Еще одно употребление союза *и*, близкое рассмотренному, представлено в контексте

<sup>3</sup> Благодарим за этот пример Ю.Д. Апресяна.



те восклицательного предложения, ср. (24) *И пел же он!* Такое высказывание уместно только если говорящий уже знал, что певец, о котором идет речь, поет необыкновенно. Фраза воспринимается как продолжающая тему, начатую ранее (как будто говорящий уже обсуждал этого необыкновенного певца).

**2.2. Союзы *и* и *а* – маркеры развития повествования с точки зрения семантической теории.** Тот факт, что союз *и* не является "чистой конъюнкцией", поскольку предполагает некое трудноуловимое единство описываемых ситуаций, отмечался неоднократно; см. [Дейк ван 1978; Lakof 1971; Николаева 1997]. В частности, Р. Лакоф заметила, что союз *and* накладывает определенные ограничения на сочиняемые предложения: они должны иметь общую тему (*topic*), причем эта тема не обязательно выражена в сочиняемых предложениях лексически – она может выводиться из пресуппозиций, знания ситуации, смысловых выводов и т.п. Однако Р. Лакоф, по ее собственным словам, «остановилась перед самым главным и интересным вопросом: "что же представляют собой сочинительные союзы с точки зрения семантики?"» [Лакоф 1971: 148]. Мы убедились в том, что *и* и *а*, по крайней мере в одном из своих употреблений, маркируют способ развития повествования. Но можно ли дать этим метатекстовым единицам толкование в обычном смысле слова?

На первый взгляд, кажется, что – да. Во всяком случае рассматриваемое употребление союза *и* как будто было истолковано А. Вежбицкой, причем действительно без привлечения чего-либо, относящегося к области "грамматики текста", т.е. выходящего за пределы собственно семантики. В [Wierzbicka 1996] предлагается следующая экспликация союза *и* в контекстах типа *Пришел отец, и мать его увидела*:

‘Пришел отец  
Я хочу сказать что-то еще об этом:  
Мать его увидела’

Предлагаемая экспликация кажется совершенно прозрачной – она содержит анафорический элемент ‘это [this]’ и при этом не использует никаких сложных понятий вроде “на ту же тему”. К чему, однако, отсылает данный анафорический элемент? О чем еще хочет сказать говорящий, сказав *Пришел отец*? Если понимать толкование А. Вежбицкой буквально (на что и рассчитаны семантические экспликации), то получится, что ‘об этом’ – это ‘о приходе отца’. Но такое понимание как минимум неточно. Ведь дальше говорится не о приходе отца, а о чем-то, что всего лишь связано с его приходом. Аналогичным образом относительно предложения *Мы простились в последний раз, и лошади поскакали* неверно, что говорящий “хочет сказать что-то еще о том, что мы простились в последний раз”. Союз *и* в данном употреблении действительно содержит отсылку к предыдущему, однако это отсылка к теме, начатой предыдущим сочиняемым предложением.

Казалось бы, референциальная лакуна в экспликации А. Вежбицкой легко заполняется и описанное употребление союзов *и* и *а* толкуется так:

*X, и Y [Ваня сидел и ел творог, и творог был очень вкусным]* = “X; Y; Y на ту же тему, что X”.

*X, а Y [Ваня сидел и ел творог, а творог был очень вкусным]* = “X; Y; Y на тему, отличную от темы X-а”.

Рассмотрим, однако, компонент ‘тема’ этих экспликаций.

Говоря о метатекстовых *и* и *а*, мы употребляли слово “тема” в его общеязыковом смысле, ср. *тема статьи (стихотворения, текста)*. Иными словами, мы рассматривали предложение как своего рода микротекст, который – подобно нормальному тексту – посвящен какой-то теме.

Очевидно, что тема микротекста-предложения, так же как и тема любого текста, может быть сформулирована более чем одним способом. Данное понятие относится не к семантике в строгом смысле слова, а к области понимания (текста или высказывания) и, скорее всего, не формализуемо. На наш взгляд, понятие “тема текста” гораздо богаче, нежели абстрактное, почти пустое, метатекстовое употребление союза *и*, и

аналогичное, хотя и чуть более богатое, метатекстовое употребление *а*. Поэтому мы не считаем данные выражения семантическими разложениями союзов и намеренно заключаем их в обычные, не марровские, кавычки.

Тогда следует признать, что союзы *и* и *а* в данном употреблении неразложимы, нетолкуемы. На наш взгляд, внутри них выделяются какие-то чрезвычайно мелкие кварки: в союзе *и* – нечто вроде "о том же самом", в союзе *а* – нечто вроде "о другом". Но как бы то ни было, получается, что союз *и*, так же как и союз *а*, допускает два разных употребления, причем оба они являются неразложимыми. Это еще одно свидетельство "непримитивности" семантического примитива – в противном случае разные употребления одного многозначного слова придется признать никак не связанными друг с другом, между ними не удастся установить никаких семантических "мостов".

Тот факт, что данные употребления союзов *и* и *а* нельзя описать как обычные лексические единицы, не вызывает удивления. Союзы предназначены прежде всего для соединения предложений, а значит, для организации текста. Естественно ожидать, что у союза найдется какое-то семантически выхолощенное употребление, в котором он представляет собой полупустую единицу с абстрактной текстообразующей функцией. Текст, будучи в высшей степени сложным объектом, предполагает определенный тип организации (в частности, – определенную структуру повествования), который, в свою очередь, связан с определенной "стратегией понимания", не ограничивающейся семантическим анализом предложений, входящих в текст. Одна из логически возможных абстрактных функций союза – разметка повествования, маркировка того или иного типа текста. Именно такую функцию и выполняют данные употребления союзов *и* и *а*.

Нам пока неизвестны никакие другие лексемы, описание которых требует обращения к области понимания текста. Тем не менее, можно указать "ближайших соседей" метатекстовых употреблений союзов *и* и *а*. Это, во-первых, союз *а* в значении, представленном во фразах типа *Иванов в командировке, а Петров болен*. По существу, союз *а* указывает здесь на несовпадение тем, а также рем сочиненных предложений [Крейдлин, Падучева 1974а, 1974б]. Во-вторых, это некоторые лексемы местоимения *сам*; ср.: *Звезды тихо погасли в небе. Само небо посветлело и сузилось*. Слово *сам* указывает здесь на то, что темой высказывания становится объект, упомянутый в предыдущей фразе [Урысон 1995]. Однако для описания семантики данной лексемы союза *а* и данной лексемы местоимения *сам* достаточно оперировать понятиями теморематической структуры высказывания. Что касается рассмотренных употреблений союзов *и* и *а*, то для их экспликации требуются принципиально новые понятия.

**3.0. Союз *и* как маркер закрытого множества (закрытого перечисления).** Союз *и* может соединять не только предложения, но и члены предложения. Ср.: (25) *С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно* (А.С. Пушкин); *Я носила тогда малахитовое ожерелье и чепчик из тонких кружев* (А. Ахматова). Ряд однородных членов, перед последним из которых стоит союз *и*, теоретически может быть сколь угодно длинным. Ср.: (26) *Мелькают мимо будки, бабы, / Мальчишки, лавки, фонари, {...} Бульвары, башни, казаки, / Аптеки, магазины моды, / Балконы, львы на воротах / И стаи галок на крестах* (А.С. Пушкин); *По-прежнему он вел хозяйство {...}: косил, убирал, веял, сдавал угодья мужикам, платил налоги и ездил в город по земским делам и по личным* (Б. Зайцев). Ряд однородных членов с союзом *и* максимально близок бессоюзному ряду однородных членов. Ср.: (27) *Шум, хохот, беготня, поклоны, / Галоп, мазурка, вальс...* (А.С. Пушкин); *Кровать, столик для приготовления уроков, этажерка для книг. {...} Никакой попытки скрасить суровость обстановки – безделушками, вышивками, открытками* (А. Ахматова); *Все это*

создавало ощущение чего-то нечистого, беспорядочного (Л. Андреев). Естественно эксплицировать семантику союза *и* в данных контекстах, сравнивая их с бессоюзным перечислением.

Как известно, бессоюзная сочинительная конструкция, в отличие от конструкции с союзом *и*, допускает особую интонацию незавершенного перечисления. Ср.: (28) *Там растет ель, береза. ↑ дуб...* [не только они] VS. *Там растет ель, береза ↓ и дуб.* Однако бессоюзие допускает и интонацию незавершенного перечисления, ср.: (29) *На снимке слева направо: Иванов, Петров, Сидоров.* Следовательно, бессоюзие само по себе не выражает ни законченности, ни законченности перечисления – соответствующий смысл выражается в данном случае просодически. Что касается союза *и*, то он указывает на законченность перечисления, а потому конструкция с ним сочетается лишь с одним типом перечислительной интонации. Исходя из сказанного, предлагаем следующую экспликацию бессоюзной и союзной сочинительных конструкций:

$X, Y, \dots, Z = 'X - \text{элемент некоторого множества; } Y - \text{элемент того же множества; } \dots; Z - \text{элемент того же множества}'.$

$X, Y, \dots, \text{ и } Z = 'X - \text{элемент некоторого множества; } Y - \text{элемент того же множества; } \dots; Z - \text{элемент того же множества: это множество состоит из данных элементов}'.$  Очевидно, на долю собственно союза *и* приходится лишь последний компонент экспликации: 'это множество состоит из данных элементов'.

Подчеркнем, что входом экспликации служит выражение  $X, Y, \dots, \text{ и } Z$ , а не  $P(X, Y, \dots, \text{ и } Z)$ , так что предикат  $P$  никак не участвует в экспликации союза *и*. Рассмотрим, например, высказывание (30) *Франция и Германия входят в Европейский клуб* (здесь  $P - \text{входят в Европейский клуб}$ ; однородный ряд состоит из двух членов, так что  $X$  и  $Y - \text{Франция и Германия}$ ). В смысл этого предложения входят, в частности, следующие компоненты: 'это множество состоит из Франции и Германии; это множество входит в Европейский клуб'. Из нашей экспликации не следует, что Европейский клуб состоит из Франции и Германии.

Рассмотрим статус предложенных экспликаций с точки зрения теоретической семантики.

Очевидно, эти экспликации не являются толкованиями в собственном смысле слова. Прежде всего они не удовлетворяют требованию подставимости, предъявляемому к толкованиям. Кроме того, в них участвуют единицы 'множество' и 'элемент', которые употреблены скорее как математические термины, нежели в том смысле, который данные слова имеют в общелитературном языке. Это значит, что используемый нами семантический язык не является, строго говоря, подязыком языка-объекта – он расширен за счет особых полуискусственных единиц.

Мы вновь столкнулись с ситуацией, когда союз *и* в определенном употреблении семантически разложим, однако его разложение не является толкованием – хотя бы потому, что в нем участвуют особые логические единицы. В рамках семантической теории Ю.Д. Апресяна данное употребление союза *и* должно быть признано семантическим примитивом. Бессоюзие тоже, очевидно, является выражением семантического примитива. Однако описание системных связей разных употреблений союза *и* как между собой, так и с другими русскими союзами, а также с бессоюзием требует эксплицировать их значение через единицы, не являющиеся словами естественного языка, т.е. через кварки.

Данное употребление союза *и*, так же как и бессоюзие, семантически почти пусто. Предложенная экспликация этих средств представляется скорее формальной, чем содержательной. Какая реальность стоит за этой экспликацией, а также за полуискусственным элементом 'множество'?

Как бессоюзие, так и сочинительная конструкция с союзом *и* указывают на объединение каких-то объектов в сознании говорящего, на формирование говорящим

множества объектов (элементов)<sup>4</sup>. Предполагая определенную логическую, мыслительную, операцию, эти средства – как и многие другие союзы – принципиально отличаются как от лексем, описывающих "объективный мир", так и от лексем, выражающих отношение говорящего к описываемому (ср. *даже, уже, кое-где* и т.п.).

Рассмотрим подробнее выражение этой логической операции в языке.

Бессоюзиe в сочетании с интонацией незавершенного перечисления всегда указывает на процесс формирования множества. Ср.: (31) *Там были Иванов, Кузьмин, Михайлов, кто-то еще – уже не помню кто* [говорящий формирует совокупность, вспоминая людей, которые были в данном месте]. При наличии союза *и* это множество может восприниматься и как формируемое, и как уже сформированное, готовое, т.е. имеющееся в сознании говорящего целиком. Ср.: (32) *Там были Иванов, Кузьмин, Михайлов и кто-то еще – уже не помню кто*. Данное высказывание допускает два просодических оформления – одно из них указывает на то, что говорящий формирует совокупность, вспоминая людей, о которых идет речь, а другая просодия указывает на то, что данная совокупность уже имела в сознании говорящего.

Указывая на процесс формирования множества, бессоюзие может представлять как выражение некоего как бы неструктурированного потока сознания, потока образов, когда говорящему еще не вполне ясен тот смысл, который он хочет выразить. Союз *и*, указывая на уже сформированное множество, предполагает и наличие вполне определенного смысла, который хочет выразить говорящий. Поэтому вполне нормально бессоюзное перечисление типа (33) *Утро, музыка, капли дождя на стекле; Ночь, улица, фонарь, аптека* (А. Блок) [поток образов, множество в процессе формирования], но несколько странно (33а) *Утро, музыка и капли дождя на стекле; Ночь, улица, фонарь и аптека* [множество уже сформировано, но неясно, для выражения какого смысла в него объединены столь разные вещи]. Однако если то же нестандартное множество выступает в ясном контексте, то высказывание вполне нормально, ср.: *Вспомнил (то) утро, музыку и капли дождя на стекле (ночь, улицу, фонарь и аптеку)*.

Служа для выражения потока образов (потока сознания), бессоюзие не требует, чтобы элементы данного множества находились друг с другом в определенных логических отношениях. В частности, допускается, чтобы эти элементы представляли собой пересекающиеся понятия. Ср. нормальное (34) *Дети кричали, шумели и сомнительное (34а) <sup>?</sup>Дети кричали и шумели*.

Бессоюзие допускает также, чтобы элементы множества были разнотипны, т.е. не имели логического основания для объединения. Ср. нормальное (35) *Они волновались, передавали друг другу какие-то бумаги* и несколько странное (35а) *Они волновались и передавали друг другу какие-то бумаги* (это высказывание нормально, если понимать его не как перечисление, а как указание на причинно-следственную зависимость, ср. *волновались и поэтому передавали*, но тогда мы имеем здесь дело с другим употреблением союза *и*). Кроме того, поток образов может включать в себя и одинаковые элементы. Ср.: (36) *По Смоленской дороге / Леса, леса, леса* (Б. Окуджава); *Это неживописное место: распаханные ровными квадратами по холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, "воротца", хлеба, хлеба...* (А. Ахматова). Такое повторение создает определенный стилистический эффект: как будто куда ни посмотрит говорящий, всюду он видит данный объект (лес или хлеба). Можно сказать, что говорящий формирует множество, включая в него то, на что поочередно падает его взгляд, то, что в каждый момент попадает в поле его зрения.

Заметим, что бессоюзие, подобно союзу *и*, может употребляться и как маркер развития повествования. Оно и в этом случае не накладывает столь жестких требований к соединяемым предложениям. Ср. нормальное высказывание (37) *От меня*

<sup>4</sup> См. об этом подробно в работе [Лауфер 1987б: 187–188].

ушла жена, я выиграл в лотерее 10 000 долларов, погода опять испортилась [поток сознания] и прагматически странное высказывание (37а) *От меня ушла жена, я выиграл в лотерее 10 000 долларов, и погода опять испортилась* [неясно, какую единую тему развивают данные сочиненные предложения]. Ср. также нормальное бессоюзное предложение (38) *Гости пьют чай, дамы занимаются вышиваньем* (А. Ахматова) и неудачное (38а) *Гости пьют чай, и дамы занимаются вышиваньем*. В данном случае ситуации, обозначаемые сочиненными предложениями, содержат пересекающиеся множества 'гости' и 'дамы'. Можно думать, что союз *и* даже как маркер развития повествования не допускает, чтобы сочиняемые предложения включали такие множества.

Бессоюзие может быть отмечено стилистически. Это имеет место, если бессоюзие не выражает смысл 'это множество состоит из данных элементов' (и не оформляется интонацией законченного перечисления). Отсутствие данного смысла придает бессоюзным сочинительным конструкциям оттенок некоей недосказанности, особой смысловой глубины. Ср.: (39) *Сани, валенки, медвежьи полости, огромные полушубки, звенящая тишина, сугробы, алмазные снега* (А. Ахматова) [возможно, кроме этого есть что-то еще, неназванное и, вероятно, самое главное, – само ощущение зимы]; *В ней [роще] с утра до вечера кричали галки, носились тучами над голыми вершинами, накликали ненастье* (К. Паустовский). Бессоюзие выступает здесь как нарративное или поэтическое средство.

Бессоюзие, даже в сочетании с просодией законченного перечисления, подает каждый элемент множества как совершенно отдельный – все члены бессоюзной сочинительной конструкции выделяются одинаковым по силе ударением. Ср.: (40) *В этом трактате упоминается уже три металла: железо, медь, олово* (пример из [Лауфер 1987б]). При перечислении, оформляемом с помощью союза *и*, последний член сочинительной конструкции, вводимый этим союзом, интонационно примыкает к предыдущему, и поэтому соответствующий элемент множества как бы утрачивает самостоятельность, может представать менее значимым. Ср.: (41) *В горах Принс-Чарльз есть хребты Атоса, Портоса и Арамиса. Бедный Арамис! Всегда он "и"...* (В. Конецкий; пример заимствован из [Санников 1989]).

Союз *и*, в отличие от бессоюзия, может оформлять множества, вообще не создаваемые говорящим, а зафиксированные в языковой картине мира. Такие множества выражаются устойчивыми сочинительными сочетаниями; ср. *отцы и дети, дамы и господа, преступление и наказание, начало и конец, добро и зло, белое и черное* и мн. др. Порядок компонентов такого сочинительного сочетания значим. В частности, если в значении компонентов сочинительной конструкции входит указание на время, то лексема со значением 'раньше' предшествует лексеме со значением 'позже', ср. *до и после; прошлое и будущее; вчера, сегодня и завтра; начало и конец; восходы и закаты; жизнь и смерть; причина и следствие; вопрос и ответ* и т.п. В других случаях линейный порядок членов устойчивого сочинительного сочетания отражает иерархию объектов в языковой картине мира; ср. *добро и зло, мужчина и женщина, отцы и дети, врач и пациент, президент и госсекретарь* и т.п. Подробнее об этом см. [Якобсон 1983; Бергельсон, Кибрик 1981 и, особенно, Лауфер 1987а].

В некоторых контекстах союз "и перечисления" обязателен, и это сближает его с сильноуправляемыми предлогами "И перечисления" требуется некоторыми предикатами, предполагающими множество элементов (т.е. множественный субъект или объект). Ср.: (42) *Летом Ваня и Маша поженились; Летом Ваню и Машу поженили; Иван и Петр женаты на двоюродных сестрах; Катя оказалась между Женей и Сашей; Иван и Петр объединились в борьбе с общим врагом; Коля и Петя разбежались в разные стороны* и т.п. Замена *и* на бессоюзие приводит в таких случаях к аграмматичному результату. Ср.: (42а) \**Летом Ваня, Маша поженились; \*Летом Ваню, Машу поженили; \*Катя оказалась между Женей, Сашей; \*Иван, Петр объе-*

динились в борьбе с общим врагом; \*Коля, Петя разбежались в разные стороны. Однако если соответствующее множество состоит более чем из двух элементов, то данный запрет смягчается или даже снимается. Допустимо, хотя и не очень удачно (42б) *Иван, Петр, Сергей объединились в борьбе с общим врагом; Коля, Ваня, Петя разбежались в разные стороны*. Кроме того, употребление лексемы "и перечисления" почти обязательно, если данное множество не создано говорящим, а закреплено в языковой картине мира. Ср.: *земля и небо; белое и черное; муж и жена* и т.п.

Союз "и перечисления", в отличие от других употреблений этого союза, синонимизируется с сочинительными союзами *да* и *а также*. Ср.: *В деревне оставались старики и (да) бабы; На общем собрании будет решен вопрос о порядке приема в кооператив новых членов, а также (и) о сроках проведения аудиторской проверки*. Кроме того, данное употребление союза *и* в ряде контекстов сближается с комитативным предлогом *с*, ср. *Пришли Ваня и Петя – Пришли Ваня с Петей*.

Объединяя объекты в множество, говорящий, очевидно, усматривает в них нечто общее. "И перечисления", предполагая наличие определенного смысла, который хочет выразить говорящий, предполагает и вполне четкое осознание этой общности, этого сходства между объектами. Эта общность тривиальным образом проявляется в том, что всем данным элементам предцируется один и тот же признак (ср. *Ваня, Петя и Даша пошли гулять*) или, наоборот, элементы множества сами являются признаками, которые предцируются одному и тому же объекту (ср. *веселый и умный мальчик*). Эту-абсолютно очевидную черту "и перечисления" можно относить не к значению данной лексемы как таковому, а к прагматике, к особенностям объединения объектов в совокупности. Можно, однако, считать, что указание на некую общность объектов входит (как составная часть) в семантический элемент 'множество'. На основе этой особенности союза "и перечисления" формируется еще одно употребление союза *и*, ближайшее данному.

**3.1. Союз *и* как средство подчеркивания сходства ситуаций.** Особое употребление союза *и*, отличное от рассмотренных выше, усматривается нами в случаях типа (43) *Коля рыжий, и Петя рыжеватый; Работают ребята одинаково хорошо. Коля выполнил норму на 103%, и Петя выполнил норму на 103,2%*<sup>5</sup>. В этих фразах говорящий специально указывает на сходство двух ситуаций. Средством, с помощью которого акцентируется это сходство, является союз *и*. Действительно, в соответствующих бессоюзных фразах говорящий фокусирует внимание, скорее, на различии ситуаций. Ср.: (43а) *Коля рыжий, Петя рыжеватый; Коля выполнил норму на 103%, Петя выполнил норму на 103,2%*. При этом данное употребление союза *и* требует особой просодии: темы сочиненных предложений выделяются резким движением тона, между предложениями имеется отчетливая пауза. Назовем это употребление союза "и сходства ситуаций".

В примере (43) сходство ситуаций проявляется в сходстве рем двух высказываний. При этом ремы могут иметь сходное лексическое выражение (как в примерах выше) или просто совпадать. Ср.: (44) *Коля рыжий, и Петя рыжий; Спальный мешок весит 700 г, и палатка весит 700 г*.

Однако сходство или тождество рем – лишь один частный случай сходства ситуаций. Другой частный случай этого явления – тождество тем сочиненных высказываний. Ср.: (45) *Маша решает дифференциальные уравнения, и Маша думает, чем накормить детей [все на Маше]; Петя зарабатывает на хлеб насущный, и Петя решает, куда устроить сына после школы*. Такие сочиненные высказывания – с тождественными темами – требуют своей просодии, отличающейся от просодии фраз типа (43), (44).

<sup>5</sup> Эти примеры, с несколько иной интерпретацией, рассматриваются в [Санников 1989: 172–173].

Наконец, сходство ситуаций может быть чисто прагматическим – так оценивает их говорящий. Ср.: (46) ↑*Коля ушел домой, и ↑Петя остался в школе (в футбол поиграть не с кем); ↑Петр стал директором банка, и ↑Анна кончает университет (у моих детей все в порядке).*

Очевидно, что "и сходства ситуаций", подобно другим употреблениям союза *и*, нетолкуемо в рамках обычной семантической теории. Действительно, выражение 'сходство ситуаций', как и просто элемент 'сходство', безусловно сложнее, нежели почти ничего не выражающий союз *и*. С теоретической точки зрения, данное употребление союза *и* представляет собой объект, хотя и разложимый, но не на лексемы, а на какие-то более мелкие единицы, кварки.

Данному употреблению союза *и* четко противопоставлен союз "а сопоставления". Ср.: (43б) *Коля рыжий, а Петя рыжеватый; Коля выполнил норму на 103%, а Петя выполнил норму на 103,2%.* Союз "а сопоставления" высвечивает не сходство, а, напротив, различие ситуаций. В отличие от данного употребления союза *и*, "а сопоставления" накладывает жесткие ограничения на соединяемые им предложения: они должны иметь несовпадающие темы и ремы (см. [Крейдлин, Падучева 1974а; 1974б]).

**4. Порядок сочиненных компонентов.** Хорошо известно, что порядок сочиненных компонентов не является абсолютно свободным – в некоторых случаях он значим. Так, в сочетаниях *отцы и дети, президент и госсекретарь* и т.п. порядок слов отражает некую иерархию объектов в языковой картине мира (см. выше). Если сочиненные компоненты обозначают последовательные события, то порядок слов отражает временную последовательность, описываемых ситуаций Ср.: (47) *Он встал и потянулся VS. Он потянулся и встал.* Наконец, обозначение причины предшествует обозначению следствия, поскольку причина и в реальности предшествует следствию. Ср.: (48) *Петербургский сезон начинал замирать, и все понемногу разъезжались [замирание сезона – причина разъезда] VS. Все понемногу разъезжались, и петербургский сезон начинал замирать [разъезд – причина замирания сезона].* Во всех этих случаях линейный порядок элементов имеет "явно иконический характер" [Якобсон 1983: 108]. Однако союз *и* подкрепляет этот порядок слов. При отсутствии союза иконичность словопорядка может быть преодолена интонацией. Ср.: (49) *Автобус не пришел вовремя, и Петя опоздал [нейтральная интонация] VS. Петя опоздал – ↑автобус не пришел [специфическая поясняющая интонация]<sup>6</sup>.*

Иногда порядок сочиняемых компонентов не столь очевидно иконичен. Ср.: (50) *Он был единственный сын, и его воспитывала мать.* Перестановка сочиняемых предложений в данном случае нежелательна, ср.: (50а) *Его воспитывала мать, и он был единственный сын.* По-видимому, более общее и постоянное обычно бывает причиной более частного, того, что способно меняться. В данном случае 'быть единственным сыном' – это постоянное свойство субъекта, а ситуация 'его воспитывала мать' постоянной не является. Причинно-следственной зависимости между свойством и непостоянной ситуацией в данном случае нет, однако порядок сочиняемых компонентов отражает естественное представление о том, что постоянные свойства бывают причиной непостоянных ситуаций.

Аналогичным образом объясняется порядок компонентов во фразе (51) *Мы сидели на берегу реки, и я учил его ловить рыбу.* Перестановка предложений в данном случае дает не вполне стандартный результат, ср. (51а) *Я учил его ловить рыбу, и мы сидели на берегу реки.* Дело в том, что ситуация 'сидеть на берегу реки' – это состояние, а 'учить чему-л.' – это процесс, ограниченный внутренним пределом. По-видимому, состояние представляется более стабильным, нежели ограниченный собственным пределом процесс. В силу этого обозначение состояния предшествует обозначению процесса.

<sup>6</sup> Благодарим за этот пример Т.Е. Янко.

Заметим, что эти ограничения на порядок компонентов обусловлены именно союзом *и*. Фраза или текст без *и* свободно допускает и иной порядок предложений. Ср.: *Его воспитывала мать. Он был единственный сын; Я учил его ловить рыбу. Мы сидели на берегу реки*<sup>7</sup>.

**5. Повторяющийся союз *и...и*.** Союз *и* может повторяться перед каждым членом сочинительной конструкции, включая первый. Ср.: (52) *И он уходил, и она ждала его, и он приходил опять, и все начиналось сначала*; (53) *Пришли и Ваня, и Петя; И тот и другой опоздали; Мы пили и ели; И синего моря обманчивый вал / В часы роковой непогоды. / И пращ, и стрела, и лукавый кинжал / Щадят победителя годы* (А.С. Пушкин). Очевидно, что употребление союза в случае (52) – не то же, что в случае (53).

В случаях типа (52) естественно усматривать "и развития повествования", точнее – некоторую модификацию данного употребления. Она создает специфический нарративный стиль, придает тексту особую спаянность.

В случаях типа (53) повторяющийся союз близок союзу "и перечисления", но все же отличается от него как синтаксически (повторяемость), так и семантически. Он указывает на то, что, с точки зрения говорящего, множество включает все мыслимые элементы, т.е. все объекты, предполагаемые данной ситуацией. Ср. примеры выше, а также (54) *И два, и три раза предлагал он ей помощь* [с точки зрения говорящего, большее количество предложений уже невозможно]. Благодаря данному смысловому компоненту перечисление с повторяющимся союзом *и* часто сочетается с обобщающим словом *все, всё*. Ср.: (55) *Все пришли – и Петя, и Наташа, и Макар; Увы! Теперь и дни, и ночи. / И жаркий, одинокий сон / Всё полно им* (А.С. Пушкин). Данное употребление *и...и* можно назвать "и исчерпанного множества".

**6. Лексикографический статус разных употреблений союза *и*.** Выявленные нами различия между разными употреблениями союза *и* могут показаться слишком тонкими. Тем не менее, естественно считать каждое из описанных употреблений союза *и* отдельной лексемой, а модификацию какого-либо употребления – модификацией соответствующей лексемы. Такое решение было бы неправомерно, если бы описанные различия легко выводились друг из друга, если бы все употребления *и* представляли собой легкие вариации одной и той же сущности. Мы, однако, убедились, что это не так. Трудность семантического анализа *и* обусловлена не близостью его значений, а семантической бедностью этого слова, его чисто служебными функциями, некоей растворенностью в контексте.

При описании семантики союза *и* возникает еще одна специфическая проблема. В очень многих случаях мы не можем отнести конкретное употребление союза *и* ни к одной из выделенных лексем этого союза. Дело в том, что семантика конкретного употребления слова *и* иногда складывается из компонентов, входящих в значение его разных лексем. Тем самым, конкретные употребления этого союза занимают промежуточное положение между лексемами, выделяемыми для словарного описания<sup>8</sup>. Приведем некоторые примеры.

(56) *Он устал, и ему хотелось остаться одному*. С одной стороны, это высказывание можно рассматривать как полный аналог фразы *Он устал и проголодался*, где *и* выступает в значении "и перечисления". С другой стороны, *и* может рассматриваться здесь как маркер развития повествования. И наконец, в этом высказывании можно

<sup>7</sup> Обратим внимание на сходные правила расположения компонентов в так называемых парных глаголах, ср. *сизю решаю задачи (читаю, жду звонка)*.

<sup>8</sup> О проблеме описания промежуточных употреблений слова см. [Апресян 1974: 179–181; Шмелев 1973]. Попытка конкретного описания промежуточных употреблений одного служебного слова содержится в [Урысон 1995].



усмотреть намек на причинно-следственную связь (ср. 'устал, поэтому хотел остаться один'). На наш взгляд, наиболее естественно считать, что данное конкретное употребление союза *и* включает в свою семантику компоненты значения всех трех лексем союза *и*, причем причинно-следственный компонент здесь ослаблен даже по сравнению с "и причинно-следственное".

(57) *Он замолчал и подошел к окну.* Можно усматривать здесь одновременно "и перечисления" (ср. *Он молчал и думал*) "и нормального развития повествования".

(58) *Из окна вагона вы увидите поляну в березовом лесу, увидите, как осенняя паутина блестит на солнце, и вам захочется выскочить на ходу из поезда и остаться на этой поляне* (К. Паустовский). Данное употребление союза *и* совмещает в себе лексемы "и нормального развития повествования" и "и причинно-следственное".

(59) *Старый мундир пропах гарью пожариц, и глаза слезились от блеска снегов.* Союз *и* выступает здесь как маркер развития повествования. Он, однако, придает высказыванию и некоторые черты, свойственные "и перечисления". Действительно, смысл данной фразы имеет оттенок завершенности. Это хорошо ощущается при сравнении ее с бессоюзным предложением, ср. *Старый мундир пропах гарью пожариц, глаза слезились от блеска снегов* (К. Паустовский). В бессоюзном предложении имеется некая недосказанность, благодаря чему за описанными двумя ситуациями встает представление о другой – неназванной, но, возможно, самой главной ситуации. Поэтому есть основания считать, что в данном конкретном употреблении союза *и* имеются черты лексемы "и перечисления", причем в качестве элементов множества выступают целые ситуации.

**7.0. О частице *и*.** Наше описание союза *и* можно верифицировать. Предложенное деление этого слова на лексемы подтверждается анализом так называемой усилительной частицы *и*. Усилительная частица *и* и союз *и* принадлежат к разным частям речи и обладают совершенно разными коммуникативными функциями (частица *и* является рематизатором, см. примеры ниже). Покажем, однако, что с семантической точки зрения союз *и* и частица *и* являются одним и тем же словом. Более того, лексемы-частицы не образуют единого блока значений, противопоставленного лексемам-союзам. Разные значения частицы объединяются в блоки с какими-то значениями союза – семантическая общность этих единиц оказывается сильнее, нежели их частеречная разъединенность и различие в коммуникативных функциях. Продемонстрируем это, ограничившись, из-за недостатка места, эскизным описанием частицы *и*.

**7.1. Частица "и включения в множество".** Эта лексема представлена в контекстах типа (60) *Пришла Маша. Пришел и Петя; Наконец, все угомонились. Заснул и Ваня.* Частица *и* в контексте *P* и *X* предполагает, что существуют другие объекты (или объект) *Y* такие, что '*Y P* или *P'*'; здесь *P'* – предикат, имеющий большую общую часть смысла с *P*. Частица *и* указывает на то, что говорящий, на основании тождества или сходства *P* и *P'*, объединяет *X* с *Y*-ом, представляет их как элементы одного множества. При этом объект *X* выделен по сравнению с другими объектами (объектом) – он является центральным для данного повествования (или его отрезка) и уже упоминался или хотя бы подразумевался говорящим. Тем самым, частица *и* выступает здесь и как показатель определенности. Близость данной лексемы слова *и* лексеме "и перечисления" очевидна.

Особый круг употреблений данной лексемы *и* (или особая ее модификация) представлен в отрицательных контекстах типа (61) *Я и не подозревал о существовании этого магазина; Я и не думал о продаже имения.* Частица *и* в отрицательном контексте *X* и не *P* предполагает множество ситуаций *Q*, аналогичных данной ситуации *P*, причем для *Q* тоже верно: '*X* не *Q*'. Например, субъект мог бы догадываться или знать о существовании данного магазина, или интересоваться им, или заходить в него и т.п., однако ничто из этого не имело места. При этом несуществование ситуаций

множества  $Q$  вытекает из отрицания данной ситуации  $P$ . Действительно, если субъект не подозревал о существовании магазина, то он не мог ни интересоваться им, ни заходить в него и т.п.

Сходство данного употребления частицы  $и$  и случаев типа (60) очевидно. В случаях типа (60) подразумевается множество объектов  $Y$ , для которых, так же как и для данного объекта, имеет место ситуация  $P$ . В отрицательных контекстах типа (61) имеется в виду множество ситуаций  $Q$ , которые, так же, как и данная ситуация, не имеют места.

Следующий отрицательный контекст аналогичен одновременно и случаям типа (60), и случаям типа (61). Ср.: (62) *У меня и в мыслях этого не было; Я и во сне этого не видел.*

Частица  $и$  в неотрицательных контекстах типа (60) синонимизируется с лексемами *тоже* и *также*, а в отрицательных контекстах типа (61) и (62) – с лексемой *даже*.

Очевидно, частица "и включения в множество" семантически очень близка лексеме "и перечисления".

**7.2. Частица "и нормального развития событий"**. Эту лексему мы усматриваем в случаях типа (63) *Он начал ухаживать за Машей. На ней потом и женился; Последний класс [гимназии] проходила в Киеве, в Фундуклеевской гимназии, которую и окончила в 1907 году* (А. Ахматова). В подобных контекстах частица  $и$  выражает смысл, близкий причинно-следственному, однако более слабый. Она указывает всего лишь на нормальное развитие событий. Действительно, ситуация 'он начал ухаживать за Машей' не является причиной ситуации 'он потом женился на Маше'. Аналогичным образом ситуация 'я училась в последнем классе гимназии' не является причиной ситуации 'я окончила гимназию'. Правда, в норме после первой из этих ситуаций имеет место вторая. Именно этот смысл выражается здесь частицей  $и$ . Если же наши представления о нормальном сочетании ситуаций нарушены, то в таком контексте частица  $и$  оказывается нежелательной. Ср. сомнительные примеры: *Он начал ухаживать за Машей. Ее потом и бросил; Он поступил в университет. Его и не кончил.*

В некоторых случаях частица  $и$  как будто указывает на частный случай нормального развития событий – на причинно-следственное отношение между двумя ситуациями. Ср.: (64) *Его позвали, он и пришел; Нам теперь незачем на работу ходить. Мы и не ходим.* Действительно, ситуацию 'его позвали' естественно считать причиной ситуации 'он пришел', а ситуацию 'мы не ходим на работу' – следствием ситуации 'нам теперь незачем на работу ходить'. На наш взгляд, однако, частица  $и$  и в данном случае указывает всего лишь на нормальное развитие событий. Мы понимаем, что ситуации в (64) связаны причинно-следственным отношением постольку, поскольку знаем, как устроен наш мир.

Очевидно, данная лексема частицы  $и$  образует единый блок с причинно-следственной лексемой союза  $и$ .

**7.3. Частица "и единства времени и места"**. Перейдем к наиболее трудноуловимым и загадочным употреблениям частицы  $и$ . Экспликация этих употреблений облегчается богатым фактическим материалом, представленным в монографии [Шведова 1960]<sup>9</sup>. Рассмотрим некоторые примеры, приводимые Н.Ю. Шведовой.

(65) *Читала и как-то про вас вспомнила, а вы и пришли* (Н. Лесков);

(66) *Она выйдет со своей крепостною, а ты и сидишь на рубежечке, поджидаешь* (Н. Лесков).

Частица  $и$  в данном употреблении, очевидно, предполагает предтекст – она невозможна во фразе, начинающей повествование. Это наводит на мысль, что частица  $и$  здесь анафорична. Частицы "и включения в множество" и "и нормального развития событий" тоже обе анафоричны – они содержат отсылку к уже упомянутой ситуации или

<sup>9</sup> См. также [Знаменская 1964].

объекту. Однако анафора, выражаемая этими двумя лексемами, обслуживает достаточно ясный смысл – в первом случае выделенный объект объединяется в одно множество с предупомянутым объектом (объектами), а во втором случае данная ситуация соотносится с предупомянутой как естественно ее развитие. А чему служит анафора в случаях типа (65)–(66)?

Обратим внимание на то, что и в (65), и в (66) налицо "единство времени и места ситуаций". Можно предположить, что оно выражается именно частицей *и*. Действительно, видоизменим пример (65), в частности, удалим из него частицу *и*, ср. (65а) *Читала и как-то про вас вспомнила. Вы пришли*. Этот пример допускает разные продолжения. Например, возможно такое: (65б) *Читала и как-то про вас вспомнила. Вы пришли к нам в первый раз чем-то расстроенный*. В (65б) нет "единства времени" – и вставка *и* дает сомнительный результат. Ср.: (65в) <sup>2</sup>*Читала и как-то про вас вспомнила. Вы и пришли к нам в первый раз чем-то расстроенный*. Аналогичным образом частица *и* вряд ли может быть помещена в следующий контекст, ср. (66а) *Она гуляет, а ты где-нибудь рыбу ловишь* – (66б) <sup>3</sup>*Она гуляет, а ты и ловишь где-нибудь рыбу*. Действительно, в (66а, б) нет "единства места". Достаточно, однако, видоизменить (66б) так, чтобы он содержал указание на такое единство, и частица *и* становится уместной. Ср.: (66а) *Она гуляет, а ты и ловишь рыбу неподалеку*. Такое указание может "наводиться" именно частицей *и*, ср. (66г) *Она гуляет, а ты и сидишь у колодца* – из (66г) ясно, что героиня гуляет поблизости от колодца. Ср. еще некоторые примеры (67) *Сидит семья, обедает. Вдруг отец и говорит...; Вот тут-то Алексей и совершил промах* (Полевой, МАС); *Послушала она, поняла – караулят кого-то, а ее и караулили* (И. Бажов; пример из [Шведова 1960]). Отметим, что, обсуждая эти примеры, Н.Ю. Шведова говорит о "временном совпадении" ситуаций и раскрывает семантику частицы *и* через 'как раз'.

Допускается, чтобы "единство времени и места" понималось не вполне буквально. Достаточно, например, чтобы одна ситуация следовала за другой через относительно небольшой промежуток времени. Ср. нормальные фразы (68) *Так садись, пиши просьбу, завтра и подашь* (И.А. Гончаров, пример из [Шведова 1960]); *В воскресенье обедали вместе. А через три дня отец и сказал, что продает дом*. Однако следующий пример, в котором описываются ситуации, разделенные достаточно большим промежутком времени, уже сомнителен, ср. (68а) *В то воскресенье мы обедали вместе. А через полгода отец и сказал, что продает дом*. Заметим, что этот же текст, но без частицы *и*, вполне нормален. Ср.: (68б) *В то воскресенье мы обедали вместе. А через полгода отец сказал, что продает дом*.

Указывая на "единство времени и места ситуаций", частица *и* придает тексту особую спаянность. Она в определенной степени сближается с лексемой-союзом "и нормального развития повествования", образуя с ней единый блок.

**7.4. Частица "и собственно дейксиса".** Все рассмотренные лексемы частицы *и* анафоричны. Есть, однако, еще одно употребление *и*, наиболее близкое лексеме "и единства времени и места", но не являющееся анафорическим словом. Ср.: (69) *Не знаю, что и сказать вам; Ты меня извини, я про тебя и забыла* (А. Островский; пример из [Шведова 1960]). Для того чтобы понять специфику этого употребления *и*, сравним следующие примеры: (69а) *Не знаем, где и поселить этих гостей* VS. (69б) *Не знаем, где поселить этих гостей*. В (69а) речь идет о гостях, которые уже приехали или вот-вот должны приехать – во всяком случае говорящий представляет себе ситуацию именно так, а (69б) говорящий может иметь в виду гостей, которые приедут в отдаленном будущем. Ср. также *Не знаю, что и писать ему* [скорее всего, говорящий уже сел писать или собирается писать] VS. *Не знаю, что писать ему* [возможно, говорящий и не собирается писать].

Можно предположить, что в этих примерах частица *и* указывает на то, что время ситуации совпадает со временем речевого акта. Именно по этой причине частица *и* может придавать высказыванию своего рода мягкость, некатегоричность. Ср.: *Не знаю, что сказать ему* [вообще] VS. *Не знаю, что и сказать ему* [в данный момент]. Ср. также нормальность *Я и забыла про вас* [забыла про ваш приход, причем забыла именно сейчас] и нежелательность *Я вас и забыла*. Действительно, когда говорят *Я вас забыла*, то имеется в виду отсутствие в сознании образа человека не в какой-то момент, а вообще, так что *и* в этом контексте неуместно.

**8. Сложные случаи.** Известно, что "русское *и* обладает способностью активно вступать в соединение с другими частицами, образуя комплексы, которые одни авторы считают соединением частиц, а другие – единой сложной частицей. {...} Ср. *так и, вот и, даже и, и то, и тот* и т.д." [Николаева 1985: 37]. Как заметила Т.М. Николаева, изменение линейного порядка частиц в таком комплексе иногда "не приводит к существенному изменению смысла. Ср. *Приехал из города, весь растратился. И еще вазу купил* (*Еще и вазу купил*); *Только и разговору, что о нарядах – И только разговору, что о нарядах*" и т.п. [Николаева 1985: 37]. Описание таких комплексов частиц предполагает экспликацию смысла каждого его компонента, и поэтому выходит далеко за рамки этой работы. Сложность задачи усугубляется еще и тем, что частица внутри комплекса может быть употреблена в каком-то из своих промежуточных значений.

Отметим в связи с этим, что возможны случаи такого промежуточного употребления, когда как бы смешиваются лексема-союз и лексема-частица. Ср.: (70) *А Балберка такой выдумщик, что диву даешься: он и птицу делает, которая летает, у него и плясуны есть, которые сами пляшут* (Ф. Гладков; пример из [Знаменская 1964]). По семантике данное употребление *и* ... *и* наиболее близко повторяющемуся союзу "*и* ... *и* исчерпанного множества", однако с синтаксической точки зрения перед нами частица. Ср. аналогичный пример *Вот от любви родители и строги к вам бывают, от любви и бранят вас* (А. Островский, пример из [Шведова 1960]).

**9. Структура многозначности союза-частицы *и*.** Мы описали разные употребления слова *и*, семантически достаточно сильно отличающиеся друг от друга. Каждое из этих употреблений мы сочли отдельным значением (отдельной лексемой) слова *и*. При этом выяснилось, что некоторые значения союза *и* объединяются в блоки с некоторыми значениями частицы *и*. Существует ли, однако, какая-либо связь между этими блоками?

Прежде всего заметим, что союз "*и* нормального развития повествования" анафоричен – поскольку соотносит тему одного высказывания с темой другого. Анафоричны и почти все лексемы частицы *и*. Единственная не анафорическая лексема частицы *и* дейктична. Эта лексема частицы *и*, которую мы назвали "*и* собственно дейксиса", очевидно, семантически наиболее простая лексема многозначного слова *и*.

С "*и* собственно дейксиса" тесно связана частица "*и* единства времени и места" – постольку, поскольку собственно дейксис, т.е. соотношение ситуации с временем речевого акта, связан с анафорой (соотнесением данной ситуации с другой ситуацией, упомянутой в тексте).

Можно думать, что с частицей "*и* единства времени и места" сближается частица "*и* нормального развития событий": в прототипическом случае нормальное развитие событий предполагает не слишком большую удаленность во времени одного события от другого – во всяком случае другие события, происшедшие в этот промежуток времени, игнорируются.

Частица "*и* нормального развития событий" имеет очевидную общность с союзом "*и* причинно-следственное". Существенно, что эта близость устанавливается не на уровне толкований. Мы знаем, что следствие (какой-то причины) является частным случаем

нормального развития событий, но это знание не языка, а каких-то общих сведений о мире. Тем самым, "мост" между двумя лексемами в данном случае не чисто семантический – он выводится из картины мира, из знаний действительности.

Частица "и нормального развития событий" сближается и с союзом "и нормального развития повествования". Это сближение уже не столь очевидно. Однако перед нами обычная полисемия типа "описание действительности" – "описание текста", отмеченная в [Вежибicka 1978]. Ср. примеры из этой работы *Потом попробовал Ян* [речь идет о времени; *потом* – временное наречие] – *Потом, Ян слишком молод* [говорящий специально указывает на порядок своих аргументов; *потом* – метатекстовая лексема]; *Прежде всех пришел Ян* – *Прежде всего, Ян трус*; *Наконец пришел Ян* – *Наконец, четвертый вопрос*. В нашем случае полисемия имеет вид "развитие событий" – "развитие повествования".

Можно предположить, что многозначность типа "развитие событий" – "развитие повествования" свойственна многим русским союзам. Правда, в описываемом случае мы не можем установить общность двух лексем – метатекстовой и описывающей действительность – на уровне толкований. Семантический "мост" между данными лексемами – это какие-то очень мелкие кварки (например, что-то вроде "нормальность"), которые мы можем как-то описывать, но не можем обозначить никаким словом естественного языка.

Союз "и нормального развития повествования" имеет некоторую семантическую общность с лексемой "и перечисления". Действительно, "и перечисления" предполагает определенное сходство объектов, объединяемых в множество, а "и нормального развития повествования" – сходство сочиненных предложений: они на одну и ту же тему.

Близость этих двух лексем обеспечивается и формальным фактором, а именно – внешним сходством или даже тождеством номинативных высказываний типа *Мороз и солнце* и сочинительных конструкций внутри фразы, ср. *Люблю мороз и солнце*. В номинативном высказывании, так же как и в глагольном высказывании типа *Стоял мороз, и светило солнце*, можно усматривать лексему "и нормального развития повествования". В контекстах типа *Люблю мороз и солнце*; *Идут Петр и Иван* союз и является показателем закрытого множества. Однако благодаря полному тождеству контекстов союза и, данные его употребления безусловно ощущаются как одно слово. Отметим, что в результате этого внешнего сходства сочиненные номинативные высказывания тоже могут осмысляться как обозначения закрытого множества.

Можно вообще предположить, что в случае служебных слов с их почти пустой семантикой "мост" между лексемами может быть не семантическим, а иметь совершенно иную природу. Ср., например, пространственные предлоги и их десемантизированные лексемы в случаях типа *войти в дом* – *верить в успех*, *положить на стол* – *уповать на случай* и т.п.

Общность остальных лексем союза и частицы *и* охарактеризована выше.

Попытаемся представить структуру полисемии слова *и* так, чтобы была ясна логика развития его значений. В предлагаемой ниже схеме знак → указывает направление развития значения. В фигурные скобки заключаются лексемы, рассматриваемые как единый блок.

I. {частица "и собственно дейксиса" [Я и забыла про вас]} → {частица "и единства времени и места" [Сидит семья обедает. Вдруг отец и говорит...]}.

II. {частица "и единства времени и места" [Сидит семья обедает. Вдруг отец и говорит...]} → {частица "и нормального развития событий" [Он ухаживал за Машей. На ней потом и женился; Его позвали, он и пришел]}.

III. {частица "и нормального развития событий" [Его позвали, он и пришел]} → союз "и причинно-следственное" [Коля ушел домой, и Петя остался в школе]} → {союз "и

нормального развития повествования" [*Ваня сидел и ел творог, и творог был очень вкусным*], союз "и навязчивого вопроса" [*И зачем он это сделал?*], союз "и восклицания" [*И пел же он!*]].

IV. Союз "и нормального развития повествования" → {союз "и перечисления" [*Сияло солнце, и дул ветер; Пришли Ваня и Петя*], союз "и исчерпанного множества" [*Пришли и Ваня, и Петя, и Макар*], частица "и включения в множество" [*Пришел и Петя*]}.

V. Союз "и перечисления" → союз "и сходства ситуаций" [*Ваня рыжий, и Петя рыжий*]].

Ступень I описывает развитие текстовой анафорической лексемы "и единства времени и места" из "и собственно дейксиса". Отметим, что у дейктических слов вообще легко развиваются анафорические (метатекстовые) лексемы. Ср.: *Делай так* [с указанием на конкретный объект; *так* – дейктическая лексема] – *Так было со всеми нами* [как я рассказал; отсылка говорящего к предыдущей части его собственного текста; *так* – метатекстовое слово]; *Такие люди не могут ходить самостоятельно* [с указательным жестом, направленным на конкретных людей] – *Такие люди всегда выходят сухими из воды* [отсылка говорящего к его собственному предыдущему описанию].

Ступень II представляет интуитивную общность между анафорической частицей "и единства времени и места" и частицей "и нормального развития повествования".

Ступень III описывает развитие метатекстовых союзов, в частности, союза "и нормального развития повествования". Источником метатекстовых союзов считается блок, состоящий из союза "и причинно-следственное" и частицы "и нормального развития событий". Внутри этого блока может быть установлена логическая последовательность развития одной лексемы из другой: причинно-следственный союз *и* развивается из частицы *и*. Тем не менее, данный блок считается единым источником для блока метатекстовых лексем. Метатекстовые лексемы равноправны – ни одна из них не выводится из другой.

Ступень IV описывает развитие лексем, указывающих на множество элементов – союза "и перечисления", близкого ему союза "и исчерпанного множества" и частицы "и включения в множество". Они считаются равноправными. Источник данного блока – союз "и нормального развития повествования".

Наконец, ступень V описывает развитие из союза "и перечисления" союза "и сходства ситуаций".

Лексемы союза-частицы *и*, очевидно, не имеют семантического инварианта. Как указал (устно) Н.В. Перцов, таким инвариантом мог бы быть смысл 'объединение в сознании говорящего объектов или ситуаций'. Однако в семантику частицы "и собственно дейксиса" этот смысл не входит. Заметим, кроме того, что этот инвариант может оказаться тривиальным, поскольку слишком похож на категориальное значение союзов вообще.

В некоторых случаях общность лексем данного слова устанавливается вообще не на уровне семантики. Другие случаи представляют собой образец цепочечной полисемии: два соседних значения связаны друг с другом, но отдаленные друг от друга лексемы (таковы, например, "и нормального развития событий" и "и перечисления") не имеют общих компонентов. Семантическая общность некоторых соседних лексем слова *и* кажется очень небольшой – это всего лишь мелкие кварки. Однако лексемы слова *и* настолько семантически бедны, что данные кварки представляются нетривиальной общей частью их значения<sup>10</sup>.

Мы попытались представить структуру полисемии слова *и* так, чтобы была ясна ло-

<sup>10</sup> О нетривиальной общей части значений лексем как семантическом звене, объединяющем данные лексемы внутри многозначного слова, см. [Апресян 1974: 185].

гика развития его значений. В результате получили некий конструкт, отчасти эксплицирующий семантические связи между разными лексемами данного слова. Этот конструкт мы называем логической схемой, или структурой, полисемии союза-частицы *и*. Понятие логической схемы полисемии автор обсуждал с Е.Э. Бабаевой, которой приносит свою глубокую благодарность. (Мы впервые ввели это понятие при описании слова *дух*. Соответствующие результаты были доложены нами на семинаре по теоретической семантике и лексикографии в ИППИ РАН (январь, 1998 г.) в докладе "Синхрония и диахрония в семантике", сделанном совместно с Е.Э. Бабаевой.)

В структуре полисемии слова *и* исходным, логически первым значением оказалась частица "*и* собственно дейксиса", ср. *Я и не узнала вас*. Ясно, однако, что она не может претендовать на роль центральной лексемы слова *и*. Таковой, очевидно, является лексема "*и* перечисления", ср. *Ваня и Петя*. Тем самым, логическая схема полисемии не отражает реальной иерархии значений внутри слова.

Эту иерархию отражает иной конструкт – принятое в словарях деление многозначного слова на блоки значений, подзначения и т.п. В сжатом виде такую реальную иерархию значений отражает синопсис слова<sup>11</sup>. Приведем синопсис слова *и*:

#### Блок I:

*и* 1.1 ("*и* перечисления", союз): *Идут Ваня и Петя*;

*и* 1.2 ("*и* исчерпанного множества, союз): *Пришли и Ваня, и Петя, и Наташа*;

*и* 1.3 ("*и* включения в множество", частица): *Пришел и Петя*;

*и* 1.4 ("*и* усиления отрицания", частица): *Я и не подозревал об этом; И в мыслях не было*.

#### Блок II:

*и* 2.1 ("*и* нормального развития повествования", союз): *Ваня сидел и ел творог, и творог был очень вкусным*;

*и* 2.2 ("*и* причинно-следственное", союз): *Коля ушел домой, и Петя оставался в школе*;

*и* 2.3 ("*и* нормального развития событий", частица): *Он начал ухаживать за Машей, на ней потом и женился*.

#### Блок III:

*и* 3.1 ("*и* сходства ситуаций", союз): *Коля рыжий, и Ваня рыжий*.

*и* 3.2 ("*и* навязчивого вопроса", союз): *И зачем он это сделал?*

*и* 3.3 ("*и* восклицания", союз): *И пел же он!*

#### Блок IV:

*и* 4.1 ("*и* единства времени и места", частица): *Тут отец и говорит...*

*и* 4.2 ("*и* собственно дейксиса", частица): *Я и не узнала вас*.

Как видим синопсис как союза, так и частицы *и*, отражая значимость, употребительность той или иной лексемы данного слова в языке, все же не вскрывает связи между лексемами, производность одного значения от другого – эти связи выявляет логическая схема полисемии. Но стоит ли за последним конструктом какая-нибудь языковая реальность?

Можно предположить, что логическая схема полисемии в какой-то степени отражает историю развития значений данного слова. Разумеется, история слова предполагает не только развитие у слова новых значений (или утрату каких-то значений), но и перестройку их иерархии: центральное значение слова оттесняется на периферию, какие-то значения становятся стилистически отмеченными и т.п. Однако такая перестройка (которая в частном случае может и не происходить) в каком-то смысле

<sup>11</sup> "Синопсис – новый лексикографический жанр, который постепенно пробивает себе дорогу и в большие, и в малые словари. Это своего рода оглавление или путеводитель по словарной статье, облегчающий поиск новой информации" [Апресян 1991: 11].

является вторичным явлением – она как бы накладывается на логическую схему полисемии<sup>12</sup>.

Понятие логической схемы полисемии аналогично понятию парадигмы многозначности, предложенному Е.В. Падучевой (соответственно понятие исходной лексемы многозначного слова аналогично понятию корневой лексемы), см. [Падучева 1998]. Различие состоит в том, что мы учитываем возможность перестройки первичной схемы полисемии во времени.

На наш взгляд, логическая схема полисемии может интерпретироваться как своего рода внутренняя (т.е. базирующаяся на данных одного языка) реконструкция семантики многозначного слова. Однако поскольку история слова часто начинается в эпоху праязыка, то внутренняя реконструкция данного лингвистического объекта в идеале должна сочетаться с реконструкцией внешней, т.е. с реконструкцией, опирающейся на данные родственных языков. О такой внешней семантической реконструкции слова см. [Бабаева 1998]<sup>13</sup>. Сейчас для нас существенна связь между синхронным и диахронным описанием многозначного слова – логическая схема полисемии, будучи конструктом синхронного описания, в какой-то степени отражает диахронию, фиксирует историю развития слова<sup>14</sup>.

Мы надеемся, что логическая схема полисемии союза-частицы *и* может прояснить этимологию этого слова. Автор надеется посвятить этому вопросу отдельную работу.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян Ю.Д. 1974 – Лексическая семантика. М., 1974.
- Апресян Ю.Д. 1991 – Об интегральном словаре русского языка // Семиотика и информатика. Вып. 32. М., 1991.
- Апресян Ю.Д. 1995 – О языке толкований и семантических примитивах // Ю.Д. Апресян. Избранные труды. Т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
- Бабаева Е.Э. 1998 – Кто живет в вертепе, или опыт построения семантической истории слова // ВЯ. 1998. № 3.
- БАС – Словарь современного русского литературного языка. Т. 1–17. М.; Л., 1948–1956.
- Белошапкова В.А. 1967 – Сложное предложение в современном русском языке: Некоторые вопросы теории. М., 1967.
- Бергельсон М.Б., Кибрик А.Е. 1981 – Прагматический "принцип Приоритета" и его отражение в грамматике языка // ИАН СЛЯ. 1981. № 4.
- Вежбицка А. 1978 – Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. Лингвистика текста. М., 1978.
- Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. 1984 – Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. М., 1984.
- Дейк Т. ван 1978 – Вопросы прагматики текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. Лингвистика текста. М., 1978.
- Зализняк А.А. 1962 – О возможной связи между операционными понятиями синхронного описания и диахронией // Симпозиум по структурному изучению языковых систем. Тезисы докладов. М., 1962.
- Знаменская А.В. 1964 – Частица И в современном русском языке // Смоленский гос. пед. ин-т им. К. Маркса. Уч. зап. Вып. XIII. Ч. I: Вопросы грамматики русского языка и методики его преподавания. Смоленск, 1964.

<sup>12</sup> Перестройка логической схемы полисемии была продемонстрирована нами также на примере слова *дух*, см. [Урысон 1999].

<sup>13</sup> Разумеется, реконструкция лингвистического объекта должна верифицироваться типологическими данными, см. об этом [Гамкрелидзе, Иванов 1984]. О возможности типологии в области семантической истории слова см. [Бабаева 1998].

<sup>14</sup> Ср. в связи с этим гипотезу, предложенную в [Зализняк 1962].



- Иорданская Л.Н., Мельчук И.А. 1996 – К семантике русских причинных предлогов (ИЗ-ЗА любви ~ ОТ любви ~ ИЗ любви ~ \*С любви ~ ПО любви) // Московский лингвистический журнал. Т. 2. М., 1996.
- Крейдлин Е.Г., Падучева Е.В. 1974а – Значение и синтаксические свойства союза *а* // НТИ. Сер. 2. 1974. № 9.
- Крейдлин Е.Г., Падучева Е.В. 1974б – Взаимодействие ассоциативных связей и актуального членения в предложениях с союзом *а* // НТИ. Сер. 2. 1974. № 10.
- Лауфер Н.И. 1987а – Линеаризация компонент сочинительной конструкции // Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах / Под ред. А.Е. Кибрика и А.С. Нариньяни. М., 1987.
- Лауфер Н.И. 1987б – Сочинительные конструкции с соотносительными выражениями // Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах / Под ред. А.Е. Кибрика и А.С. Нариньяни. М., 1987.
- Левин Ю.И. 1970 – Об одной группе союзов русского языка // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 13. М., 1970.
- Левонтина И.Б. 1997 – Словарная статья ИЗ-ЗА 4 // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общ. рук. акад. Ю.Д. Апресяна. М., 1997.
- МАС – Толковый словарь русского языка в четырех томах. Т. 1–4. М. 1985–1990.
- Николаева Т.М. 1985 – Функции частиц в высказывании. На материале славянских языков. М., 1985.
- Николаева Т.М. 1997 – Сочинительные союзы А, НО, И: история, сходства и различия // Славянские сочинительные союзы. М., 1997.
- Падучева Е.В. 1998 – Парадигма регулярной многозначности глаголов звука // ВЯ. 1998. № 5.
- Перцов Н.В. 1996 – О некоторых проблемах современной семантики и компьютерной лингвистики // Московский лингвистический альманах. Вып. 1: Спорное в лингвистике. М., 1996.
- Пешиковский А.М. 1956 – Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956.
- Сатников В.З. 1989 – Русские сочинительные конструкции. М., 1989.
- Словарь Ушакова – Толковый словарь русского языка: В 4-х томах / Под ред. Д.Н. Ушакова: В 4-х т. М., 1935–1940.
- Шведова Н.Ю. 1960 – Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960.
- Шмелев Д.Н. 1973 – Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). М., 1973.
- Урысон Е.В. 1995 – Словарная статья местоимения САМ: проблемы описания лексической многозначности // Теоретическая лингвистика и лексикография: Опыт системного описания лексики. М., 1995.
- Урысон Е.В. 1996 – Синтаксическая деривация и "наивная" картина мира // ВЯ. 1996. № 4.
- Урысон Е.В. 1998 – Языковая картина мира VS. обиходные представления (модель восприятия в русском языке) // ВЯ. 1998. № 2.
- Урысон Е.В. 1999 – *Дух и душа*: к реконструкции архаичных представлений о человеке // Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке. М., 1999.
- Якобсон Р. 1983 – В поисках сущности языка // Семиотика. М., 1983.
- Lakoff R. 1971 – If's, and's, and but's about conjunction // Studies in linguistic semantics / Ed. Ch. J. Fillmore and D.T. Langendoen. N.Y. etc. 1971.
- Wierzbicka A. 1996 – The semantics of logical concepts // Московский лингвистический журнал. Т. 2. М., 1996.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

*И.В. Кормушин. Тюркские енисейские эпитафии: Тексты и исследования. М.: Наука, 1997. 304 с.*

Енисейские эпитафии – единственный письменный аутентичный источник сведений о жизни тюркских народов Саяно-Алтая, однако с одним общим изъяном: все надписи весьма лаконичны и не датированы. Пошло второе столетие со дня дешифровки тюркской рунической письменности в 1893 г., и исполнилось 270 лет со времени первой публикации курганных стел с надписями из Сибири в 1729 г., которые до прочтения руники оставались большой загадкой для нескольких поколений ученых. Как только руника была расшифрована, В.В. Радлов первым издал в 1895 г. сорок енисейских текстов с переводом. С.Е. Малов усовершенствовал переводы В.В. Радлова и довел число опубликованных памятников до 53 [Малов 1959]. Затем последовали новые открытия и публикации памятников. Однако прошедшие годы, хотя и было сделано немало текстологических поправок, внесли немного нового в целостное понимание енисейских памятников. Правда, В.В. Радлов имел дело с 40 памятниками, а теперь их введено в оборот более 150<sup>1</sup>, но для толкования их содержания все еще актуальны слова С.Е. Малова о том, что "сначала тюрколог-языковед, используя точно текст памятника, дает перевод, согласный с тюркскими синтаксисом и грамматикой" [Малов 1952], и только на основе этого становится возможной дальнейшая интерпретация памятника и использование его другими специалистами.

С указанным мнением лингвиста С.Е. Малова перекликается подход к источнику историка Л.Н. Гумилева: "Филологически правильный перевод – это сырье, требующее обработки ... Соотношение переводчика, комментатора и интерпретатора таково же, как заготовителя сырья, изготовителя деталей и монтажника. Ни один из них не достигнет успеха без помощи двух других. А опыты совмещения трех профессий в одном лице не давали положительных результатов даже в древности. Знание древнего языка для историка – роскошь. Ведь если он переведет текст иначе, чем филолог, ему надлежит отказаться от своего толкования. Филолог-то знает грамматику лучше ... Если за дело берется историк, то он будет неизбежно подгонять значения слов и фраз под собственную, уже имеющуюся у него концепцию, а последняя всегда предвзята" [Гумилев 1993: 126–127]. Итак, оба ученых справедливо отдают предпочтение филологически выверенному переводу специалиста-языковеда. А таких квалифицированных переводов енисейских рунических текстов как раз было выполнено за это время слишком мало, и одной из причин этого были недостаточно понятные тексты, что проистекало не из некодифицированности, нестандартности языка надписей, как иногда думали ранее, а – как доказано всем материалом рецензируемой книги – из неверного палеографического прочтения довольно многих мест на памятниках.

Монография И.В. Кормушина стремится выполнить именно эти задачи, и стержнем предпринятой работы является аутопсичный (проводимый исследователем воочию, непосредственно на камне) анализ каждого знака в надписи, для чего ученому пришлось длительно работать не только в музеях Минусинска, Абакана, Кызыла, Красноярска, но и

<sup>1</sup> По подсчетам автора рецензируемой монографии, из 152 памятников, эпитафий – 95, из которых для текстологического анализа пригодны – имея "хотя бы одно достоверно читаемое слово" – только 85 надписей (с. 7).

выезжать "в поле", на места первоначального нахождения памятников в различных точках Хакасии и Тувы. Книга представляет собой итог почти десятилетней полевой и камеральной работы автора. В ней представлены 56 текстов, или почти все, за небольшими исключениями, известные к настоящему времени и сколько-нибудь значительные в текстовом отношении эпитафии. Вне рассмотрения автор сознательно оставил не относящиеся, по его мнению, к жанру эпитафий *наскальные посетительские надписи*, а также мелкие (в большинстве своем удовлетворительно не прочитанные) надписи на бытовых предметах: кубках, зеркалах, пряслах и т.п. Фактически рецензируемая книга знаменует собой следующий после первичной публикации этап в изучении малых рунических надписей: это – новое прочтение памятника на основе личной (авторской) ревизии состава и значений (чтений) всех выявляемых знаков письма и их лингвистической интерпретации, а в конечном счете, – максимально возможная реконструкция древнего текста и его выверенный перевод с соответствующей аргументацией, в которой учитывается прежде всего опыт предшественников, а также закономерности построения текстов древнетюркских поминальных надписей, существовавшие жанровые клише, канонические выражения и т.п.

Не сторонится автор и вопросов хронологической, региональной и этнической атрибуции енисейских надписей. При этом он обращает внимание на два фактора. Нахождение памятников либо в Минусинской котловине (Хакасия), либо на Саянском нагорье (Тува), – обстоятельство хотя и внешнее, проявляется оно тем не менее в явных стилистико-выразительных отличиях текстов, происходящих из этих регионов. Этот территориальный признак, однако, коррелирует с другой показательной особенностью памятников – наличием тамги при надписи. Характерно, что две трети эпитафий из Тувы имеют тамгу (42 из 64, то есть около 65%), в то время как в Хакасии из 21 эпитафии снабжены тамгой только 4 (то есть около 20%), причем тамговые знаки из этих двух регионов не повторяют друг друга. Кроме того, на основе типовых черт тувинские тамги можно сгруппировать по ареалам, центры которых не накладываются друг на друга. Именно признак наличия/отсутствия тамги использует И.В. Кормушин для объединения издаваемых енисейских текстов, которым приписана традиционно сложившаяся в тюркологии нумерация, восходящая к первой публикации В.В. Радлова и закрепленная в трудах

С.Е. Малова. Поэтому, например, в группу тувинских надписей с тамгой типа  $\text{N}$  попадают памятники с номерами Е-12, Е-14, Е-19, Е-20, в группу надписей с тамгой "птичья лапа" – памятники с номерами Е-2, Е-51, Е-109, Е-110 и т.п.

Несмотря на то, что все енисейские памятники отражают структурно единый тип *д-языка*, этого литературного койне всего древнетюркского мира, детальный анализ их стилистических особенностей (прежде всего на лексическом уровне) позволил автору выявить региональные (например, надписи из Хакасии показывают некоторые стилистико-выразительные отличия от тувинских) и даже ареальные (известная схожесть языковых средств в памятниках, имеющих одинаковые тамги) признаки, дополняющие, а нередко и уточняющие этническую, династическую и хронологическую атрибуцию текстов, отличную от опытов хронологизации, представленных в работах Л.Р. Кызласова [(Кызласов 1960); о датировке памятников енисейской письменности ср. [ИТСВ 1969]].

При хронологической атрибуции текстов И.В. Кормушин широко использует приемы палеографической интерпретации рунических знаков, которые были разработаны им ранее на основе анализа основных и дополнительных графов (графических элементов алфавита) и установления "датирующих" признаков в хронологическом развитии знаков письма [Кормушин 1975]. Таким образом обеспечивается комплексная характеристика эпитафии как этнокультурного явления.

Общая характеристика древнетюркского рунического алфавита и графической структуры тюркских рун содержится и в данной книге И.В. Кормушина (с. 17–24; ср. [Васильев 1983]). Выявленные закономерности участия каждого графа в конструировании знаков рунического письма позволяют прогнозировать вид буквы и ее идентификацию в случае частичной поврежденности или плохой сохранности на камне, и такой подход, несомненно, продуктивнее, чем попытка создания базы всех известных рунических знаков (аллографов) на всех памятниках и затем ее использование, так как в последнем случае не может быть учтена конкретная "среда", индивидуальный контекст употребления знака, который зависит не только от соседствующих букв, но и от расположения и направления строк, фактуры материала, манеры резчика и многих других параметров, о которых говорит автор каждый раз при анализе отдельных памятников. Важно и то, что определенная модификация графов и особенность их компоновки в графему вы-

ступают как "датирующие приметы", позволяющие выстроить относительную хронологию в развитии конкретного извода рунического алфавита и на данной основе соотнести время создания памятников, и автор часто прибегает к этому методу атрибуции памятника.

Монография И.В. Кормушина открывается Предисловием (с. 3–10), в котором излагаются общие принципы исследования енисейской руники и история работы над книгой. Далее следует Введение (с. 11–31), посвященное рассмотрению изложенных выше проблем этнической и хронологической атрибуции текстов, а также характеристике особенностей енисейского рунического письма. К интересным свойствам последнего относится, например, появление значительного числа зеркально перевернутых рун: автор считает, что такие пространственные аллографы относительно моложе стандартных. К числу новообразований енисейки принадлежат также "новые" руны типа  $\otimes = d'm$ ,  $\wedge = \xi$ ,  $//_0 = NG$ , не связанные с преобразованием старых графем, но каким-то образом введенные в алфавит. К новым относятся и явление перемены функций знака: так, лигатура NT начинает употребляться для обозначения фонемы /ŋ/.

В последующих двух частях книги рассматриваются соответственно надписи из Хакасии (с. 32–133) и надписи из Тувы (с. 134–281): сначала – имеющие тамги, затем без тамг. Каждый раздел, посвященный определенной надписи, строится по стандартному плану. Он открывается сведениями историко-географического плана (местонахождение камня, его параметры и общая характеристика, история открытия и изучения), здесь же приводятся сведения о палеографии памятника (извод алфавита, расположение и порядок строк, сохранность, замечания о предыдущих изданиях).

Далее следует палеографический анализ рунических знаков для каждой строки. Ревизия и коррекция начертания и значения осуществляется для любого отдельного знака, который, даже предположительно – при плохой сохранности, высечен на камне. Именно в таких подразделах автор широко использует свою систему графового представления рун в целях реконструкции текста в поврежденных местах, что, судя по результатам, вполне оправдывает себя. Действительно, лингвист не просто констатирует или отождествляет отдельную графему в тексте, но прогнозирует, какую роль она играет в структуре слова, морфемы, то есть он видит ее всегда в соответствующем контексте, в значащей языковой единице,

поскольку за этим следует выполняемый им перевод текста. В этом, как представляется, состоит отличие от ситуации простого формального воспроизведения знаков текста без его параллельной интерпретации, как это получилось в последнем сводном издании; отчасти поэтому нередко обнаруживаются ошибки понимания знаков в предшествующих изданиях, даже таких авторитетных, как книги В.В. Радлова и С.Е. Малова. Сказанное подтверждается собственной практикой рецензента, тоже работавшего с енисейскими памятниками и ощущавшего в процессе общения с камнем, как возрождается из полустертых знаков почти не читаемый текст или правильные грамматические формы. Но, естественно, лучшим доказательством подобной работы с рунами является новое прочтение многих мест на енисейских памятниках, которое представлено в книге И.В. Кормушина. Оказалось, что корректировать знаки нужно почти в каждой эпитафии, даже с хорошей сохранностью и неоднократно издававшейся. Особенно интересны поправки к памятникам с Алтын-Кёля (Е-28 и Е-29), из Кёжээлиг-Хову (Е-45), из Минусинского музея (Е-51), из Хербис-Баары (Е-59), Уюк-Аржана (Е-2), Уюк-Турана (Е-3), Бай-Булуна (Е-42), Байн-Кола (Е-100); весьма важными оказались исправления в памятниках из Уюк-Оорзак (Е-109 и Е-110), поскольку эти две эпитафии связаны единством тамги и уверенно локализируются в древнетюркском ареале "Девять огдамдамов" (Уюкско-Туранская котловина на севере Тувы).

Кропотливая работа с памятниками на месте привела автора к замечательному открытию – некоторые енисейские памятники (Е-42, Е-49, Е-65) оказались настоящими палимпсестами: новый рунический текст наносился поверх уничтоженного (иногда частично) старого рунического же текста, причем знаки последнего, вклинившиеся во вторичную надпись, мешали правильному ее прочтению и пониманию. И.В. Кормушину удалось на эпитафии из Кара-Булуна (Е-65) восстановить почти две строки первичного текста, что позволило удовлетворительно интерпретировать и новую надпись (с. 141–145). Интересно, что такие камни встречаются в одном ареале, объединенном общим типом тамги; это, как полагает автор, может свидетельствовать о возможном противостоянии разных этнических (родовых) групп, появившихся в данном регионе и игнорировавших соперников. Точно так же автор предложил, как представляется, весьма обоснованно, новое фонетическое содержание для специфических енисейских

рун типа  $\otimes$ ,  $\triangleright \triangleleft$  (с. 170–171). Уточнению чтения способствовали его выводы о наличии зеркальных рун и новом значении старых знаков, большая работа проделана автором и по установлению направления и последовательности строк, внимание к внутренней логике эпитафии часто заставляло принимать такое чтение, которое обеспечивало развитие описываемых в эпитафии событий.

Однако правильное истолкование рун, хотя это первейший и важнейший, но только начальный этап в филологической работе над древним письменным памятником, далее следует реконструкция целостного текста и его перевод. Поэтому автор по старой радловской тюркологической традиции дает восстановленный текст памятника сначала в оригинальном написании, используя специально подготовленный для компьютерного набора рунический алфавит (дизайнер – С.Г. Болотов), весьма приемлемый по дуктусу. В этом алфавите учтено большинство аллографов, встречающихся в енисейских памятниках, однако, как и в любом стандартном шрифте, здесь невозможно передать индивидуальный рисунок знака на конкретном памятнике. В этом случае читатель вынужден будет обратиться к факсимильному воспроизведению памятников в различных разрозненных изданиях и сводных атласах, хотя, как свидетельствуют разыскания И.В. Кормушина, в них достаточно пропусков и искажений в силу особенностей полиграфии прежних лет, когда приходилось выполнять ретуширование чертежей и рисунков; в рецензируемой книге автор оговаривает случаи неверного факсимильного воспроизведения в других изданиях, как и приблизительность применяемого им шрифта, восполняя его "негибкость" подробным словесным описанием структуры знака.

После воспроизведения текста в рунике дается его транслитерация по системе, сложившейся в тюркологии; автор вносит в нее некоторые уточнения с целью более последовательного соотношения "графема текста : знак транслитерации". Далее текст представлен в обобщенно-фонологической транскрипции, реализующей типовую фонологическую структуру тюркского вокализма и консонантизма, слова вообще. Автор здесь продолжает устойчивую традицию публикации рунического текста, предлагая свою фонологическую реконструкцию текста, а затем и его перевод без особых буквализмов и с минимумом внетекстовых конъектур.

Рассматривая выполненные автором переводы, хочется подчеркнуть их особую осмысленность и логичность, чего часто не

доставало предлагавшимся вариантам; это достигается глубоким проникновением в стилистику древнетюркского эпитафийного текста. В то же время переводы воспринимаются вполне "тюркологично", т.е. за ними чувствуется тюркский морфологический и синтаксический строй языка, что бывает, когда переводчик свободно владеет материей другого языка (такое же ощущение возникает, например, при чтении стихотворных переводов классической тюркской поэзии – "Кутадгу билиг", Навои, Бабур, – выполненных тюркологом С.Н. Ивановым).

Исследование памятника обычно завершается примечаниями, в которых комментируется процесс осмысления текста и приводятся обоснования той или иной его лингвистической интерпретации. Не приходится сомневаться, что грамматический комментарий выполнен на высоком лингвистическом уровне, поскольку автор своими работами давно зарекомендовал себя как хороший историк языка и компаративист широкого профиля в рамках алтайской языковой семьи. Конечно, частности, особенно при интерпретации древнего текста, могут вызывать споры и разночтения, но и здесь нужен уровень доказательств, сопоставимый с аргументами автора книги.

В данном разделе читатель видит немало и других интересных сведений, авторских находок или оригинальных предположений. Так, в очередной раз (и теперь, может быть, окончательно) снят вопрос о манихейском вероучителе *mar* (E-2; с. 257), вокруг которого было много споров в среде историков. В то же время И.В. Кормушин привел иные доказательства принадлежности одного из мемориантов к манихейской конфессии: в памятнике с Алтын-Кёля (E-29) фиксируется имя бога Зервана –  $(\dot{A})zru(a)$ , причем такой вывод подтверждает содержание фразы и всего текста, а кроме того, в графике эпитафии отмечаются показательные аналогии с восточно-туркестанской руникой (с. 63–74). Лишились историки и "народа Булсар" (E-29; с. 73); в опубликованных И.В. Кормушиным текстах пока не отмечен и этноним *az*, с которым также связано немало исторических построений (вместо предполагаемого слова *az* в E-100 читается трафаретное *j(i)ta* – с. 250). Уточняя состав тамг и рассматривая их вариации внутри одного типа, имеющие основной рисунок и дополнительную к нему диакритику, автор высказывает предположение, что последняя отражала не поколение меморианта, как считалось (например, Л.Р. Кызласовым), а

его принадлежность к прямой или боковой ветви рода (с. 135–137); из этого можно сделать вывод, что рисунок тамги не может служить очевидной хронологической меткой памятника. Однако данная гипотеза автора нуждается в дальнейшей разработке и в увязке типов тамги с языковыми особенностями памятника. Как видно из этих нескольких примеров, разделы книги Примечания имеют свою ценность, поскольку они не замыкаются рамками только лингвистического комментирования лексем и словоформ текста.

Помимо всего, И.В. Кормушин в своей книге публикует первое прочтение трех эпитафий, открытых в последнее время – из Шаньчи (Е-152), обнаружена автором, находится на месте сооружения (с. 149–150); две надписи из Эрбека (Е-147, Е-149), находятся в Тувинском музее (с. 252–256).

Как уже указывалось, книга по полиграфическому оформлению руники заслуживает высокой оценки, хорошо подается и лингвистический материал. Отметим наличие подробного Указателя слов с приведением их словоформ (с. 282–293). Огорчают встречающиеся иногда опечатки. Вызывает сожаление досадный повтор авторского текста (с. 193–196) из разных редакций книги, "съевший" комментарий к строкам 4–6 памятника из Уюк-Турана (Е-3).

Опубликованная монография И.В. Кормушина действительно свидетельствует о

том, что дальнейший прогресс в изучении и понимании сибирских рунических текстов возможен лишь на пути выявления закономерностей формирования вполне сложившегося жанра древнетюркских эпитафий, то есть на том пути, по которому идет автор этой книги. Читателю представлена лишь часть выполненной работы, впереди прочтении других текстов и их текстологический анализ.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Васильев Д.Д.* 1983 – Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. Л., 1983.
- Гумилев Л.Н.* 1993 – Тысячелетие вокруг Каспия. М., 1993.
- ИТСВ 1969 – История Тувы в Средние века. М., 1969.
- Кормушин И.В.* 1975 – К основным понятиям тюркской рунической палеографии // Советская тюркология. 1975. № 2.
- Кызласов Л.Р.* 1960 – Новая датировка памятников енисейской письменности // Советская этнография. 1960. № 3.
- Малов С.Е.* 1952 – Енисейская письменность тюрков. Тексты и переводы. М.; Л., 1952.
- Малов С.Е.* 1959 – Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.; Л., 1959.

*Д.М. Насилов*

*V.T. Kyalandzyga, M.D. Simonov. Dictionary of the Udihe language. Preprint / Published by A. Mayevicz. Stenshev, 1998. V. 1. 425 p.*

1998 год оказался исключительно удачным для дела описания удэгейского языка, одного из языков тунгусо-маньчжурской группы. До последних лет единственным опубликованным монографическим исследованием удэгейского языка оставался "Удэйско-русский словарь" Е.Р. Шнейдера [Шнейдер 1936]. В 1998 г. появились сразу три монографии – публикация памятников удэгейского фольклора [ФУНТЕ 1998], монография И.В. Кормушина "Удыхейский язык", содержащая грамматический очерк, тексты и словарь [Кормушин 1998] и, наконец, рецензируемый первый том нового полного словаря удэгейского языка по данным хорского диалекта. Словарь (далее УС) был составлен М.Д. Симоновым в соавторстве с хорской удэгейкой В.Т. Кялундзюга, которая выступала основной информант-

кой, а также осуществляла самостоятельный сбор фольклорных и словарных материалов. Как отмечают авторы во введении, УС включает около 2900 лексем, причем 1414 из них вводятся в научный оборот впервые (не представлены в [ССТМЯ 1975–1977], являвшемся до настоящего времени наиболее полным сводом удэгейской лексики). Расширение объема словаря стало возможным благодаря многолетней полевой работе авторов, основная задача которой – целенаправленный сбор словарных и фольклорных материалов. Для сбора словарных материалов М.Д. Симонов широко использовал своеобразный лингвистический эксперимент, описанный во введении (с. 8): информантам предлагалось составить по три примера на обследованную лексику (по возможности отражающих традиционную

жизнь удэгейцев), что помимо уточнения значения слов способствовало выявлению новых словарных единиц.

Однако ценность словаря (а также его объем, который в совокупности составляет более 50 авторских листов, см. с. 10) определяется не столько увеличением объема словника, сколько большей подробностью толкований и беспрецедентно широким — для тунгусоведения — привлечением иллюстративного материала. В первую очередь это относится к грамматической информации, в частности, информации о сочетаемости того или иного слова. В качестве примера укажем, что толкование глагола *би-* 'быть' в разных значениях (экзистенциальном, сказочном, в составе аналитических форм и т.д.) занимает более десяти страниц (с. 151–163). Столь же подробно даются и толкования этнокультурных терминов, что придает изданию известную энциклопедическую направленность. Вместе с тем отметим, что в словарных статьях УС, в отличие от глоссария И.В. Кормушина [Кормушин 1998], не предусмотрена зона сравнительно-этимологической информации: словарные материалы не соотнесены с материалами "Сравнительного словаря тунгусо-маньчжурских языков" [ССТМЯ 1975–1977] ни в плане сравнения с данными других тунгусских языков, ни даже с материалами других удэгейских диалектов. Как представляется, отсутствие в УС этой информации только отчасти может восполнить вынесенный в приложение индекс впервые зафиксированных словарных единиц.

Словарь открывается введением, в котором М.Д. Симонов останавливается на ряде спорных вопросов фонетики и грамматики, существенных для представления словарного материала. В этом отношении показательно сопоставление точки зрения М.Д. Симонова на звуковую строй удэгейского языка с концепцией И.В. Кормушина, представленной в [Кормушин 1998]. Расхождения во взглядах авторов связаны в основном с трактовкой фонически сложных "прерывных" и "аспирированных" гласных, которые, как известно, составляют специфику удэгейской фонетики и служили предметом оживленных дискуссий (ср., например, [Шнейдер 1936] и [Суник 1968]). М.Д. Симонов, вслед за Е.Р. Шнейдером, рассматривает их как особые гласные фонемы, характеризующиеся импульсивной (неравномерной) фонацией — интенсивные резкие (аспирированные, по Е.Р. Шнейдеру) и слабоинтенсивные отрывистые (прерывные, по Е.Р. Шнейдеру). И.В. Кормушин, напротив, разделяет точку зрения О.П. Суника, который считал эти

звуковые комплексы фонологически сложными, образуемыми сочетанием гласных с гортанной смычкой и фарингальным, соответственно.

Как представляется, дискуссионность вопроса о фонологическом статусе этих звуковых комплексов во многом связана с тем, что к собственно лингвистическим аспектам этой проблемы примешиваются экстралингвистические. (Отмечаю попутно, что с фонологической точки зрения в концепцию М.Д. Симонова плохо укладываются случаи типа *ga'u* 'ворона' или *ba'u* 'находящийся', когда гортанносмычный находится в позиции между гласными разного качества; в последнем примере к тому же после гортанносмычного проходит морфемная граница). В частности решение этого вопроса зависит от ориентации исследователя на тот или иной произносительный стиль (см. [Кормушин 1998: 155]). М.Д. Симонов ориентируется на разговорный стиль (который он считает нейтральным и противопоставляет эмфатическому), в котором эти гласные обнаруживают тенденцию к утрате аспирации и гортанной смычки (в частности в результате русской интерференции). И.В. Кормушин также признает, что в беглой речи фарингальный [h] и гортанносмычный [ʔ] выводятся до положения супrasegmentных признаков соответствующих гласных или даже вовсе устраняются, однако свою интерпретацию основывает на полном стиле произношения (противопоставляя его как "нормально-сокращенному", так и "выделительному"). Наконец, позиция авторов отчасти зависит от общей направленности исследования: при сопоставительном подходе более адекватной, как диахронически (как известно гортанная смычка и фарингальный восходит к интервокальным /k/ и /c/, соответственно) так и типологически, представляется точка зрения Суника–Кормушина. С другой стороны, для практических целей интерпретация М.Д. Симонова, может оказаться предпочтительной, поскольку в большей степени учитывает особенности разговорной речи. Показательно в этом отношении, что транскрипционная система, предложенная М.Д. Симоновым, положена в основу разработанной авторами словаря удэгейской орфографии.

В разделе введения, посвященном грамматической информации в словарных статьях, автор преимущественно рассматривает вопросы классификации слов по частям речи, предлагая схему, в целом близкую классификации В.А. Аврорина. Следует отметить, что этот раздел в ряде отношений страдает неполнотой, поскольку не излагает

позиции авторов, относительно ряда дискуссионных проблем удэгейской грамматики (таких как вопрос о составе временной парадигмы удэгейского глагола). Так, специально не оговаривается, что принимается точка зрения О.П. Суника, определяющего формы типа *би-э* (чаще употребляемые как инфинитив при отрицательном глаголе) как формы глагола в 3-м лице настоящего времени (ср. квалификацию этих форм как "активного причастия" у Е.Р. Шнейдера). В еще большей степени требует комментария (и обоснования) использование нетрадиционных терминов, например, квалификация глагольного прошедшего (употребляющегося со значением засвидетельствованности либо эмфазы) как "давнопрошедшего".

Из более общих претензий к рецензируемой работе отмечу неоправданное, на мой взгляд, расширение словаря за счет избыточного иллюстративного материала. Притом, что наличие информации о сочетательных свойствах лексем представляет собой несомненное достоинство данного словаря и отвечает духу современной лексикографической практики (ср. словари сочетаемости, валентностей и т.д.), он также включает информацию, которую в силу регулярности и предсказуемости следовало бы рассмотреть в соответствующих разделах грамматики (это, впрочем, признают и сами авторы, рассматривающие свой словарь как задел для дальнейших грамматических исследований, см. с. 36). Особенно это бросается в глаза применительно к "именным" словарным статьям, где приводятся примеры на употребление имен в различных (иногда всех!) падежных формах, даже если соответствующие употребления не содержат ничего идиоматического ни в формальном, ни в семантическом отношении. Представляется, что при переиздании словаря (напомним, что данная публикация

это препринт), его следует сопроводить "Кратким грамматическим очерком", описывающим наиболее регулярные аспекты грамматики (основные значения падежей и т.д.), что позволит существенно "разгрузить" основную часть словаря.

Несмотря на указанные недостатки, УС представляет собой существенный вклад в тунгусоведение, значение которого трудно переоценить, учитывая то, что удэгейский язык находится под угрозой исчезновения (согласно данным переписи населения 1989 г. число удэгейцев, говорящих на родном языке, составляет около 500 человек, однако специалисты считают эти данные завышенными). Тем более обидно видеть в УС (с. 9–10) ссылки на то, что неравномерность словарного описания обусловлена нехваткой средств на продолжение экспедиционных работ. Это лишний раз напоминает о том, что в настоящее время в угрожающем положении в России находятся не только языки малых народов Севера, но и североведение в целом.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кормушин И.В.* 1998 – Удэгейский язык. М., Наука, 1998.  
*ССТМЯ 1975–1977* – Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Л., 1975, 1977.  
*Суник О.П.* 1968 – Удэгейский язык // Языки народов СССР. Т. 5. Монгольские, тунгусо-маньчжурские и палеоазиатские языки. Л., 1968.  
*Шнейдер Е.Р.* 1936 – Краткий удэгейско-русский словарь. С приложением грамматического очерка. М.; Л., 1936.  
*ФУНТЕ 1998* – Фольклор удэгейцев: нима-нку тэлунгу хэ / Составители Е.П. Лебедева, М.М. Хасанова, М.Д. Симонов и др. Новосибирск, 1998.

*А.Л. Мальчуков*

**М.В. Иванова.** Древнерусские жития конца XIV–XV веков как источник истории русского литературного языка. М., 1998. 230 с.

Вечный вопрос истории русской культуры, связанный с проблемой происхождения, развития и культурной ценности русского литературного языка, постоянно возвращает исследовательскую мысль к средневековым русским источникам, к поискам новых методик их описания и теоретическим основаниям, с помощью которых мы могли бы постичь суть происходивших некогда изме-

нений. Тут не может быть двух мнений, каждая серьезная работа на такую тему вносит важные дополнения, а то и существенные уточнения в изучение основных проблем, связанных с формированием **национального русского языка в связи с развитием русской культуры** (не столь давно мы говорили "связанных с развитием народа").



Нелишне напомнить, что развитие этого языка прошло несколько преобразующих его содержательную суть моментов, из которых важнейшими были:

– дифференциация семантических средств народно-разговорного языка, из природного синкретизма речевых формул приведшая к созданию гибкой и многокрасочной системы выразительных средств художественной речи;

– на столкновении высокого (сакрального) и низкого (обиходного) литературных жанров создавался нейтрально-средний – жанр **жития**, в границах которого постепенно набирал силу стиль русской "культурной" речи, впоследствии нормированный как основной стиль литературного языка;

– первоначальное совпадение признаков сакрального жанра, высокого стиля и абстрактной семантики в противопоставлении бытовому жанру, низкому стилю и конкретным значениям слов в творческой практике средневековых писателей постепенно дифференцировались в пределах своей функции, к концу XVIII века приведя к созданию строгой системы соответствий по функции (жанров), по стилям и по нормам, т.е. создав **современный русский литературный язык**.

Новизна рецензируемой книги заключается в том, что в ней на широком и представительном, одинаково и доказательном, и достоверном материале, не раз испытанными исследовательскими приемами как бы рассекаются по составляющим, развязываются самые ранние сплетения этих жанрово-семантико-стилистических совмещений и на удачно избранном предмете описания делается попытка реконструкции объекта исследования. Диагностирующие процесс различительные признаки языка старорусской литературы, органически развивавшиеся на национальной основе, автору удалось представить как естественный процесс движения семантики и форм в границах наиболее свободного по творческим потенциям средневекового жанра (развившегося впоследствии в "русский роман"). Разнообразие "словесного ряда" (своего рода синонимии) здесь тесно связано с многообразием описываемого в текстах "предметного ряда" референтов. При изучении истории литературного языка ограничение материала конкретным жанром, и уж тем более отдельными писателями (редкий случай) является гарантией адекватности в описании стилистических норм его языка. Важен вывод о том, что «предметный ряд не только обрек язык Первой редакции Жития

Михаила Клопского на "простословие", но и сориентировал его на разговорный язык конца XV века» (с. 192). "Предметный ряд" да и как реальность описания, и тем самым "словесный ряд" в пределах каждого фрагмента текста задан как форма такого описания. То же относится и к другим текстам, описанным в монографии. Речь идет о важном процессе соотношения высокой "идеи" с низменной в ее конкретности "вещью" – основном художественном процессе XV века, процессе **идеации**. Для его описания в работе представлено множество новых, малоизвестных, просто "свежих" фактов. Житийный жанр как жанр "анфиладного типа" (термин Д.С. Лихачева) накапливал различную лексику общего значения, т.е. представлял книжным людям лексико-семантические варианты слова как инварианта текста: тут оказывался важным общий смысл текста, а не конкретные значения отдельных слов, воспринимавшихся еще в границах общего целого – текста, жанра или, быть может, отдельной речевой формулой традиционного типа. Это важный момент в развитии многозначности слова и (обратным образом) синонимии; и многозначность, и синонимия впоследствии стали важным признаком русской художественной речи. Автор описывает точку формального расхождения лексем при отсутствии (неразвитости) семантического расхождения, когда различные варианты исполняют чисто стилистическую функцию; стилистическое разнообразие форм еще только "сгущается" в семантические узлы нормы. Становится оправданной мотивация исследования, прежде всего в совмещении грамматического и лексического описания текста как стиля. "История русского языка (грамматики)" и "история русского литературного языка" в этом случае не подменяют друг друга, а служат материальной основой общего исследования текста. Формально грамматические вариации слова не дробят семантического поля текста.

Особая ценность исследования в том, что здесь рассмотрены не усредненно безличные, но авторские тексты, и на сравнении различных редакций одного и того же произведения оказывается возможным проследить поиски новых выразительных средств языка, связанные с именами реформаторов старорусского стиля, прежде всего – Епифания Премудрого. Атрибуция текстов Епифания, особенно текста "Жития Сергия Радонежского", – важный вопрос лингвистической герменевтики сегодня, и только на лингвистической основе он может

быть решен положительно. Сравнение текстов Епифания с текстами Пахомия всегда было увлекательной задачей медиевистики. В книге основательно, исчерпывающим списком, дано около пятидесяти диагностирующих развитие языка категорий и различий в стиле – в отношении к категориальному инварианту авторского текста (23 морфологических, 14 синтаксических, 10–12 лексических и словообразовательных групп); правда, они не всегда соотнесены со всеми текстами сплошь (например, в "Житии Сергия Радонежского" не даны морфологические особенности текста; может быть, потому, что таковые уже тщательно описаны предшественниками).

Особенно выразительны синтаксические особенности. Это – отсутствие сложных синтаксических построений, анафорический принцип сочинительных связей, увеличение конструкций, "близких к живой речи", "разнообразии типов придаточных" (с. 23) (причем такие "типы" выделяются скорее по смыслу при многозначности церковнославянских союзов и союзных слов), особенно безличных конструкций (тоже типично русская черта текстов), частое употребление *Praesens historicum* – "эффект псевдоактуальности" (с. 103), что, конечно, справедливо, поскольку в том же предложении обычно присутствует указание на прошлое действие (лексически или наречием) – опять-таки проблемы стилистического синтаксиса, как и употребление архаических "второго именительного", "дательного самостоятельного", оборотов с одним отрицанием, с причастием в роли сказуемого и т.д. – все это текстовые признаки высокого стиля у Епифания и Пахомия.

Из морфологических изменений в работе прослеживаются динамические в XV в. причастия, нестяженные формы прилагательных и имперфекта: имена в этих текстах не подвергаются унификации, потому что стилистическое задание требует вариаций форм, и они сохраняются не потому, что одинаково актуальны в языке (ошибка историка языка, не принимающего во внимание стилистический ранг текста), а по причине авторской установки – одинаково и у Епифания, и у Пахомия (хотя у последнего появляются и новые формы типа *въ вертъпахъ*). Тексты Епифания кажутся более архаичными; например, формы двойственного числа сохраняются во всех позициях как у имен, так и у глаголов (с. 42), тогда как у Пахомия эта категория несомненно разрушена (примеры на с. 111–112). Заметны различия в употреблении гла-

гольных форм. Перфекты редки у Епифания, но они употребляются в соответствии с правилами последовательности времени и сохраняют различия в связке; перфектные формы чаще встречаются у Пахомия, который уже не учитывает правил согласования времен в тексте (в дискурсе) и смешивает сами формы (перфект иногда в значении будущего времени, с. 120; много гиперизмов типа *бъзает бльше, безмолвствуют бльше* – не нарочитая архаизация морфологизмов (с. 125), а скорее стилистический прием "актуализации постоянного действия" – "бывало"). В противоположность этим двум авторам, в текстах о Михаиле Клопском как основная глагольная форма прошедшего времени уже несомненно перфект без связки, аорист употребляется в неверных формах. Разностильность жанра жития демонстрирует "неустойчивое, переходное состояние от ранней древнерусской системы глагольных времен" (с. 122).

Необходимо подчеркнуть особый исследовательский прием нашего автора. Перед нами обычный сегодня жанр публикации по теме докторской диссертации (как еще может выйти на широкую публику русист, да еще с традиционной темой?). Сопоставление двух текстов показывает, что один и тот же материал в совпадающих выводах изложен параллельно дважды – в диссертационном тексте и в монографии. В монографии о б ъ е к т о м исследования, конечной ц е л ь ю его является **язык как стиль** (воссоздается "образ эпохи"); в диссертации таким объектом является **текст как жанр** (воссоздается "образ автора"), представая, собственно, предметом стилистики, поскольку "каждый текст имеет свой код", – замечает автор, а жанр – самая устойчивая категория средневекового литературного процесса. Перед нами чисто русский (уже в древнерусской литературе представленный) прием удвоения сущности и явления, данных в параллельном ряду; адекватность метода исследования его предмету помогает понять глубинные процессы, происходившие в языке данного периода. Тот же метод помогает верно оценить значение так называемого "второго южнославянского влияния", ограничив последний чисто поверхностными признаками **оформления** рукописей, но не влиянием на язык, речь или стиль. Это также важный результат данного исследования, дающий аргументы в пользу точки зрения, согласно которой развитие русского литературного языка проходило свой собственный, органически закономерный путь.

В "Заключении" автор соединяет обе линии своего исследования (с. 202 и след.), обсуждая проблему языка и жанра в их совместном развитии.

Не вдаваясь в детали, отметим основные теоретические положения, изложенные в книге М.В. Ивановой. Первоначально сформулированные как задачи исследования, они выстраивают перспективу последующих понятий и определений, с помощью которых автор обсуждает свой материал в контексте категорий "язык", "стиль" и "жанр" (план рефлексии) и ретроспективу происходивших в средневековых текстах изменений (план реальных фактов).

По мнению автора, "любая часть речи формируется через упрощение, через синтаксис" (с. 31), поэтому принципы построения текста в центре внимания исследователя средневековых жанров. Так и здесь, функции и стилю придается больше значения, чем развитию семантики грамматических категорий. Методически это также правильное решение: редукция "задач" до узко очерченной "цели" дает ощутимые исследовательские результаты. Такой подход позволяет показать организацию текста, "при которой слова, относящиеся к определенной тематической или лексико-семантической группе, располагаются в пределах одного фрагмента" (с. 54), т.е. представляет известную формульность текста, с которой и с ним а е т с я затем "парадигма языка". Хорошо показана специфика XV в.: в отличие, например, от текстов XII в., в которых каждая словоформа в составе формулы имела свое конкретное, но единственное значение, у Епифания представлен формульный текст, общий смысл которого организуется за счет близкозначных слов. Это и есть момент перехода текста и его компонентов в новое качество на пути создания национального литературного языка.

Жанр сгущается в стиль, чтобы создать норму.

В работе справедливо разграничивается стиль "извития словес" и "торжественно-украшающий стиль", характерный для древнерусской литературы. Это начисто разрушает представление о "южнославянском влиянии", еще раз подчеркивая качественное своеобразие стиля "словесной сытости" как вполне литературного стиля, а не традиционного риторического приема предшествующей поры. Справедливы замечания М.В. Ивановой о необходимости логически точных определений самого термина "южнославянское влияние" с тенденцией "к моносемичности в своем терминологиче-

ском поле" (с. 198 – проблема "словесного ряда"), исходя из требований системности, регулярности и обязательности используемых этим термином СРЕДСТВ ("предметный ряд"). Ничего этого защитники "влияния" пока не представили.

"Риторический стиль мышления" преобразуется в стиль "логический". Слово-символ эпохи Средневековья развивается в слово-гипероним Нового времени. Автор справедливо говорит о развитии "лексики общего значения" на фоне авторских предпочтений; только в "Житии Стефана Пермского" употреблено более 250 слов, либо вообще более не встреченных в других текстах того же времени, либо использованных в другом значении (с. 56).

Подчеркнута роль и значение "бытийственного" глагола *быти*, идеологически важного глагола не только для древнерусского языка и текста, но вообще для русской ментальности (и философии). Это, конечно, не "следы влияния греческого языка", потому что даже в "избыточном употреблении" формы этого глагола строго различаются, несмотря на их преобразования в разговорном языке. Напомним, что и позже, например, в момент "иконовой sprawy" споры о том, *Богъ былъ*, *Богъ бъяше* или *Богъ бысть* создавали многие сложности в идеологическом и политическом существовании.

Показано также, что сопряжение в общем тексте форм и формул различного происхождения создало возможности для выбора наличных ресурсов языка, в результате чего и возникает в нашей литературе долгожданный "голос автора". Тонкие различия, отмеченные М.В. Ивановой в стилях Епифания и Пахомия, помогут в дальнейшем разработке этой сложной материи, до сих пор не поддававшейся исследовательскому анализу. Чего стоит, например, одно лишь то, что у Елифания авторские ремарки формальны, автор как бы находится еще в потоке своего текста, а у Пахомия авторские ремарки даны более выпукло, как бы отчуждают его точку зрения от описываемого – он вознесен над своим текстом, не живет в нем. Возможно, это впечатление создается потому, что Пахомий и не создавал своих оригинальных текстов, а только перерабатывал чужие. Тогда возникает проблема противопоставления творчески нового текста художественно "отделанному тексту" – а это ставит еще одну группу невероятно сложных проблем. Например, у Пахомия совершенно иная модальность повествования, чем у Елифания, который,

наоборот во множестве использует различные конструкции; Пахомий их избегает, зато у него часто употребляется сочетание *бльше* + инфинитив, а в значении подчинительных союзов используются церковнославянские сочинительные, и т.д. Заслуга автора, несомненно, и в том, что он подводит нас к новым направлениям в данной области исторического знания. Решая проблемы, автор ставит новые вопросы на будущее.

Подробно рассмотрен словарь изученных "Житий". Он достаточно велик. В "Житии Стефана Пермского" около 4500 слов на 31 тысячу словоупотреблений, распределенных по 30 тематическим группам. Для средневековых текстов это исключительный пример, особенно, если учесть обилие галаксов и окказиональных значений, как бы впаянных в формулу авторского текста. Для Епифания характерна чисто русская особенность построения текста: "глагольная его основа" (не эпитет, не имя в центре повествования, а именно глагол, образно показывающий новый признак в его развитии).

Текст книги изложен хорошим русским языком, от которого мы уже отвыкаем в филологических студиях, он не содержит каких-либо лишних, посторонних и вообще чисто внешних особенностей изложения, стиля или терминологии: содержание книги гармонично согласуется с ее формой. Прозрачность описания иногда создает иллюзию легкости, с которой мог быть написан текст. Однако стоящий за этим текстом обильный материал и умелый его анализ снимают такое представление у всякого, кто сам когда-либо погружался в бесконечную вязь средневекового текста во всех его бесчисленных вариациях, на первый взгляд – не

поддающихся какой-либо классификации или какому-то осмыслению. Этой своей особенностью книга станет хорошим пособием по изучению языка средневековых житийных текстов.

Замечаний по тексту не очень много. Есть кое-какие упущения по библиографии: изложение материала временами кажется избыточным: М.В. Иванова как бы любителю собранными фактами, пытаясь донести до читателя свое восхищение старым текстом (но, может быть, и убедить в справедливости сделанных выводов). К числу замечаний необязательного характера можно отнести следующее: морфологические особенности текстов описываются только со стороны формы (например, в а р и а ц и и флексии *-ть* или *-тъ*), хотя в текстах заметны и некоторые категориальные изменения (в категориях рода и числа).

Вот, пожалуй, и все, что мог бы сказать рецензент, не навязывая автору своего собственного видения материала, проблем и результатов исследования.

В заключение хочется выразить удовлетворение в связи с тем, что молодые русисты возвращают в русскую филологию жанр основательного исследования. После многих лет разбирательства о том, кто и в чем именно сделал больше и лучше, после различных квазитеретических измышлений, не обоснованных фактами, такого рода исследования воспринимаются как свежий глоток, как надежда на то, что плодотворная линия классической русистики будет продолжена на новых теоретических и методологических основаниях.

*В.В. Колесов*

**Язык и речевая деятельность** / Гл. ред. В.В. Касевич. Санкт-Петербург, Т. 1 – 1998, Т. 2 – 1998. Изд-во Санкт-Петербургского Университета. 248 с. + 362 с.

Новый ежегодный журнал "Язык и речевая деятельность" задуман как издание Петербургского лингвистического общества, столь же нового, как и сам рецензируемый журнал. Журнал печатает статьи по теоретической фонетике и фонологии, по типологии, по философии языка, по когнитивной лингвистике, по проблеме соотношения языка и культуры и др. Название журнала – "Язык и речевая деятельность" – выбрано не случайно. Из него следует, что Редколлегия видит журнал ориентированным главным образом на теоретическое

изучение языка в его функционировании. Но есть и признание того, что язык, существующий прежде всего для обеспечения коммуникации, сохраняет известную автономность как объект исследования – и с точки зрения внутренней логики своего устройства, и в плане соотношения с иными когнитивными и культурными структурами. Как указывает Редколлегия в своем Предисловии к первому номеру журнала (1998), последний по времени публикации однотомник трудов Л.В. Щербы был назван его редакторами "Языковая система и речевая

деятельность", и в переключке названий Редколлегия хотела бы видеть переключку идей: ведь Щерба – и это едва ли кто-то станет отрицать – одна из знаковых фигур для отечественного языкознания, а в особенности, для языкознания петербургско-ленинградского.

Одна из задач журнала – помочь читателю разобраться в различных течениях лингвистической мысли, в различных лингвистических концепциях – как современных, так и более ранних. С этой целью в журнале будут систематически публиковаться обзоры, посвященные как отечественным, так и зарубежным школам, а также истории лингвистической науки. Редколлегия будет сотрудничать не только с лингвистами всех направлений, но и с учеными, представляющими смежные науки: автоматический анализ и синтез речи, а также другие области языковой инженерии.

Основным языком журнала является русский (с обязательным резюме содержания статьи на английском языке). Наряду с русским, в журнале печатаются статьи и другие публикации на английском языке, а в отдельных случаях также на французском и немецком (статьи на иностранных языках сопровождаются резюме на русском языке).

Первый том рецензируемого журнала открывается рубрикой "Вопросы общей теории и синхронного описания языков". В этот раздел включены восемь статей. Статья недавно скончавшегося Л. В. С а х а р н о г о "Тема-рематическая структура текста: основные понятия" посвящена рассмотрению тема-рематических конфигураций. Основными свойствами текста традиционно считается цельность и связность. При этом связность представляет собой собственно лингвистический феномен, ее средствами обеспечивается сочетаемость элементов на различных уровнях организации текста. Цельность же как психолингвистическая категория, не имея специальных средств для своего выражения, соотносится с содержанием текста в целом и может быть обнаружена по ассоциации с другими, синонимичными, текстами, т.е. имеет парадигматическую природу. Цельность может быть представлена в виде древовидной иерархии смысловых компонентов текста (субцельностей). Между такими субцельностями устанавливаются тема-рематические отношения, где цельность более высокого порядка является темой для цельности более низкого порядка. В общем виде порождение текста рассматривается как процесс развертывания цельности (темы) путем вычленения смысловых

блоков (рем). Данная модель позволяет представить текст в виде иерархической организации тема-рематических структур разной степени сложности, перевода, таким образом, разговор об анализе цельности, ее структурировании и характере отражения в тексте на операционный уровень. Отметим, что автор рассматривает цельность как базисный феномен в психолингвистической теории текста. Цельность – это особого рода психолингвистическое явление, возникающее в психике человека как **бессознательное** (или в принципе полностью не осознаваемое) динамическое представление о некотором объекте. Это представление можно охарактеризовать как чувственное, слитое с переживаниями субъекта и обусловленное его отношениями к миру: к нему приложимы такие понятия, как simultaneity, интегральность, континуальность, диффузность, аморфность.

Статья А.В. Б о н д а р к о озаглавлена "Функциональная модель грамматики (теоретические основы, итоги и перспективы)". Автор предлагает модель грамматики, основанную на понятиях функционально-семантического поля (ср. такие поля, как аспектуальность, темпоральность, локативность, и соответствующие категориальные ситуации – аспектуальные, темпоральные и т.п.). В статье рассматривается соотношение "функция – система и среда". Исследование грамматических значений и функций связывается с проблемой межкатегориального взаимодействия. Функционально-семантическое поле трактуется как группировка разноуровневых средств данного языка, взаимодействующих на основе общности их семантических функций и выражающих варианты определенной семантической категории (с. 20). Функционально-семантическое поле соотносится с понятием **категориальной ситуации**, трактуемой как один из аспектов "общей ситуации", передаваемой высказыванием, как одна из его категориальных характеристик. При анализе функционально-семантического поля категориальной ситуации важную роль играет разграничение и соотношение различных уровней (аспектов) семантики. В связи с этим ставится ряд взаимосвязанных вопросов: значение и смысл; универсальные мыслительные основания языковых значений и их идиоэтнические элементы; специфика языковой интерпретации смыслового содержания; смысловая основа и интерпретационный компонент языковых значений; форма как способ представления смыслового содержания; исходно-семанти-

ческое и исходно-формальное направления анализа и описания языкового материала. Исключительно важно разрабатываемое А.В. Бондарко понятие языковой среды.

В том же разделе опубликована статья В. Б. Касевича "Онтолингвистика, типология и языковые правила". Онтолингвистика – область (психо)лингвистики, которая занимается становлением и развитием языка в онтогенезе. Статья посвящена главным образом усвоению русской глагольной парадигмы в свете некоторых типологических соображений. Как указывает автор, глаголоподобные слова появляются уже в период двусловных высказываний: ср. *Миса наль* вместо *Миши упал*, где имеющееся окончание не создает формы, так как оппозиций еще нет, псевдоформы заучиваются как некие целостности. "Глагол" выделяется лишь позиционно, что напоминает грамматику **изоляции**. На стадии многословных высказываний представлены уже **разные формы одного глагола**. Нередко они аграмматичны в силу сверхгенерализации правил (ср. *искаю* вместо *ищу*), что сближает соответствующие грамматические процессы с **агглютинацией**. Лишь впоследствии результат обобщенных правил трансформируется применением более частных правил: ср. *иск-а* – *иск-а-й* – *иск-иц-у*. Именно такой процесс уже носит **флективный** характер. Использование в раннем онтогенезе типологически различных приемов аналогично производству самых разных гласных и согласных в период лепетной речи, в связи с чем в статье вводится представление о "синтаксическом лепете".

За статьей В.Б. Касевича следует статья А. А. Горбова «О понятии "способ действия" и его отношении к аспектуальности». В статье рассматриваются две концепции способов действия, представленные в современной русистике: "грамматико-семантическая" и "словообразовательно-модификационная", а также соотношение понятия способа действия (в каждой из названных трактовок) и аспектуальных классов глаголов, базирующихся на оппозиции предельности/непредельности. Проведенный анализ показывает, с одной стороны, предпочтительность трактовки способов действия (СД) как формально выраженных модификаций значения глагола, а с другой стороны, – отсутствие прямой и непосредственной связи этих модификаций с аспектуальными характеристиками глагола.

Статья Б. В им е р а (ФРГ) написана на

английском языке и называется "Единицы нарративного дискурса и факторы, ответственные за хронологию ситуаций, в польском и немецком языках". Предметом рассмотрения автора является временная структура в устных пересказах и письменных сочинениях польских и немецких учащихся. Устанавливаются четыре типа хронологических факторов (естественная, акциональная, лексическая и иконическая хронология) и оценивается влияние типологических особенностей обоих языков на степень использования каждого из этих факторов. Оказывается, что существование грамматической категории вида в польском языке и ее отсутствие в немецком заметно влияют на взаимоотношение между акциональной и лексической хронологией лишь у более молодых информантов (10–13 лет), в то время как у старших информантов (18–19 лет) практически не наблюдаются количественные различия по использованию лексических средств маркирования ситуационных типов (последовательность, параллелизм, наступление события на дуративном фоне). Кроме возраста, при распределении упомянутых факторов существенную роль играет также тип дискурса. Частотность подчинительных конструкций в речевой продукции испытуемых в целом весьма низка: подчинительные структуры выполняют не столько темпоральные, сколько тематические функции.

На английском языке написана также статья Р. Г з е л л я (Франция) "О глагольной сериализации в литературном тайском языке". Употребление сериальных глагольных конструкций, т.е. цепочек глаголов, выступающих в качестве сложного сказуемого предложения, принадлежит к характерным типологическим чертам изолирующих языков Юго-Восточной Азии, равно как и ряда языков Западной Африки и других ареалов и семей. Основные принципы формирования сериальных конструкций в тайском языке можно представить следующим образом: 1) глагольная цепочка отражает одну макроситуацию, хотя входящие в нее глаголы выступают в общем случае как лексические, а не грамматические элементы; 2) глаголы не соединяются союзами; 3) глаголы не обладают взаимной предкаузальностью; 4) лишь первый глагол обладает валентностью на подлежащее; 5) потенциальные подлежащие остальных глаголов цепочки кореферентны подлежащему первого глагола, но они не могут иметь поверхностного выражения; 6) лишь первый глагол сочетается с отрицанием; 7) некоторые актанты (отвечающие семантическим

ролям агенса, пациенса и некоторым другим) могут вставляться в сериальную конструкцию. Можно утверждать, что особые свойства глаголов в сериальных конструкциях тесно связаны с полифункциональностью морфемы в тайском языке. Существует тенденция к грамматикализации компонентов сериальных конструкций. В то же время процесс грамматикализации носит постепенный характер, причем разные глаголы обнаруживают различную скорость перехода в служебные элементы. Новые грамматические морфемы способны удерживать свой исходный семантический потенциал, что позволяет им подвергаться вторичной реинтерпретации и обратному переходу в ранг знаменательных лексем. Несмотря на существование в современном литературном тайском достаточного количества служебных элементов, составляющих разветвленную систему, в разговорном языке, равно как и в нарративных текстах фольклорного характера, обнаруживается предпочтение к использованию лексических средств, семантически изофункциональных грамматическим, что и стимулирует использование сериальных конструкций; последние, по-видимому, лучше отвечают стремлению показать реальную сложность и изменчивость описываемых ситуаций.

В статье А. В. Циммерлинга (Москва) "История одной полемики" обсуждается гипотеза Л.В. Щербы (1928) о том, что неизменяемые глагольные предикаты образуют в русском языке новую часть речи — категорию состояния. Последователи Л.В. Щербы придали его гипотезе типологический аспект, поставив вопрос о том, что слова с предикатной семантикой состояния имеют в разных языках тенденцию конституироваться в виде единого дистрибутивного класса. В то же время сами слова, подводимые Л.В. Щербой под гипотетическую часть речи, не получили адекватного описания в русистике: и сторонники, и противники Щербы высказали ряд эмпирически неверных утверждений о сочетаемостных связях и значении предикативов. В рассматриваемой статье изучаются продуктивные модели образования предикативов от основ прилагательных и делается вывод, что наиболее общим семантическим признаком русских предикативов является неспособность обозначать родовые положения дел и положения дел, не соотносенные с экспериментальным субъектом: анализ показывает, что данному признаку удовлетворяют не все предикативы с финально *-о*. Близкая параллель обнаруживается в древнеисландском языке, где выделяется несколько сот

именных словоформ, специализированных в функции сказуемого. При этом в русском языке генерализована аналитическая стратегия развертывания высказываний с субъектом состояния (ср. *У меня тяжело на душе*), в то время как древнеисландский тяготеет к инкорпоративной стратегии (буквально в древнеисландском представлено *Мне душе тяжело*). Автор приходит к выводу, что в русском языке не происходит формирования новой части речи; постулируемый Л.В. Щербой механизм формирования категории состояния недостоверен; уровень обособления слов, подводимых под категорию состояния в современном русском языке, не дает права строить эволюционную шкалу, конечным пунктом которой является консолидация предикативов как единого дистрибутивного класса с инвариантной семантикой.

Раздел завершается статьей Хуана де Диос Луке Дурана и Франсиско Хосе Манхон Посаса "Испанский язык и национальный характер испанцев (пример видения мира)". В статье рассматривается фразеология, связанная с корридой и демонстрирующая, насколько велико влияние этого типично испанского феномена на формирование испанского национального характера, менталитета испанцев. В современном испанском языке сотни фразеологизмов построены именно на метафоре корриды и не могут быть истолкованы вне данного метафорического пространства. Анализ материала показывает, что речь отнюдь не идет о застывших словарных единицах, как это предполагалось более ранними исследователями; напротив, современные литература, масс-культура, публицистика постоянно порождают новые речения, которые построены на аллюзиях, связанных с миром тавромахии. Иными словами, коррида предстает как своего рода матрица для структурирования опыта и отображения его языковыми средствами. Жизнь и смерть, проявления мужества, любовь интерпретируются в типичном случае в терминах тавромахии, которая выступает в роли некой универсальной метафоры. Особое внимание на разнообразном языковом материале (поэзия, песенное творчество) уделяется метафорическому приравниванию любовных отношений к корриде: любовь воспринимается как схватка, в которой мужчине чаще всего уготована роль тореро. Отметим, однако, что уже в языковой символике сонитие и рождение приравнивались к столкновению волн или к схватке великанов, к космическим катаклизмам.

Следующий раздел рассматриваемого журнала озаглавлен "Диакроническая лингвистика". В него включено три статьи. В статье Н. Л. Су х а ч е в а и Н. Н. К а - з а н с к о г о "Семантика и глубинные реконструкции индоевропейского уровня" указывается, что индоевропейский компьютерный тезаурус задуман авторами как свод этимологических данных с подробными комментариями по фонетике, морфологии и лексике индоевропейских языков с упором на максимальное использование семантических критериев. При переводе на компьютерную форму появляется возможность оперировать более полным, чем в этимологических словарях, списком значений, расклассифицированных по критериям, используемых в современных толковых и двуязычных словарях, а также описанием контекстуальных значений. Тем самым компаративистика может быть значительно пополнена материалами, касающимися семантики различного уровня в исторически засвидетельствованных индоевропейских языках. Семантическая реконструкция благодаря такому подходу может учитывать различия, существующие между прагматически ориентированным речевым мышлением и логикой дискурсивного (вербализованного) мышления. В языковом континууме эти типы сосуществуют и требуют специальных усилий при их разграничении.

Статья И. М. Дьяконова "Внешние связи шумерского языка" посвящена рассмотрению возможных связей шумерского и языков мунда. Обнаруживается параллель между "категорийным -а" мунда (показатель любых спрягаемых глагольных форм) и шумерским -а (показатель придаточного предложения, пассивного причастия). Показатель множественного числа в мунда, -*ko* или -*ku*, находит соответствие в шумерском *ka*, которое служит для образования одного из типов множественного числа. Структура слова в мунда аналогична шумерской. Сравнительный лексикологический список состоит из 34 пунктов, включая служебные морфемы, лексические совпадения типа шум. *gaz* и кхервари *gač* "убивать"; шум. *xa* "рыба" и кхервари *ha-i* "рыба". И.М. Дьяконов в своей интересной статье пытается доказать правильность мысли о единстве австралийской языковой семьи или, вернее, макросемьи, включающей раздельные (но родственные) семьи — мон-кхмерскую, мунда, шумерскую и, возможно, австралийскую. Эта мысль впервые была высказана еще в начале XX века В. Шмидтом, но позже, в середине столетия, была

отвергнута авторитетными лингвистами, по крайней мере с точки зрения родства австралийской семьи с шумерским. Автор заново рассматривает вопрос о родстве между шумерским и мунда, в частности группой кхервари (языки сантали и мундари).

В разделе "Диакроническая лингвистика" обращает на себя внимание статья автора из США, специалиста по древнеисландской фонетике А. С. Либермана "Новый этимологический словарь английского языка". Мы позволим себе подробно остановиться на этой статье. Автор делится с читателями своими "находками", полученными им в процессе составления "принципиально нового" этимологического словаря английского языка, которые, как он пишет, известны лишь "узкому кругу лиц" (с. 115). При этом А.С. Либерман обрушивает шквал "критики" на большинство авторов, занимавшихся английской этимологией до него. Так, крупнейший лексикограф, автор трех фундаментальных словарей Э. Парtridge назван им "дилетантом". В равной мере А.С. Либерман утверждает, что автор самого престижного и единственного этимологического словаря древнеанглийского языка Ф. Хольтхаузен был выдающимся знатоком истории английских слов, но по его словарю "об этом догадаться невозможно" (с. 117). Однако, критикуя этимологические словари, А.С. Либерман обращает больше внимание главным образом на их маргинальные недостатки, полностью игнорируя принципиальные, основные изъяны этих словарей. Так, он указывает на то, что авторы многих этимологических словарей переписывают этимологии столетней давности; он обращает внимание на то, что в мире отсутствует центр по изучению английской этимологии, где этимологизирование могло бы проводиться на вполне профессиональном уровне: в крупные издательства, выпускающие этимологические словари английского языка, постоянно приглашают консультантов, однако деньги, выделенные на этих людей, тратятся почти без толку (с. 118). Далее указывается, что штатный сотрудник издательства, заваленный текущей работой, не может внести достойного вклада в изучение спорных английских слов (с. 118). Отметим прежде всего, что этимологический словарь, как и другие научные работы, является по преимуществу творением автора или коллектива авторов, а не сотрудников издательства и даже не компьютера. Словарь отражает творческие возможности того или иного автора и его науч-



ное кредо. Существенными же недостатками известных английских этимологических словарей, которые автор "не заметил", сводятся к следующему. Авторы большинства английских этимологических словарей даже не пытаются выяснить первичную метафору (или несколько метафор), которая лежит в основе значения того или иного слова (это можно сделать только на основе изучения категорий древней индоевропейской культуры и языческой символики, которые не используются ни в одном словаре). Авторы английских этимологических словарей не выясняют "траекторию" развития того или иного значения на основе известных лексико-семантических универсалий. Следование фонетическим законам, само по себе важное и необходимое, не дает возможности судить о развитии значения. В этимологических словарях английского языка обычно представлена так называемая "линейная", "одномерная" этимологизация (одно значение — одно семантическое соответствие); совершенно не проводится **многомерное** этимологическое исследование, которое исходит из признания множества метафор у древнего слова<sup>1</sup>. В опубликованных английских этимологических словарях не учитывается явление мены согласных в различных позициях в слове, в частности подвижные формативы, прибавление или опускание согласного в начале слова<sup>2</sup>, не приводятся семасиологические параллели для доказательства оправданности того или иного перехода значений. Указанные недостатки свойственны и практике этимологизирования самого А.С. Либермана, что становится вполне очевидным при рассмотрении его "критических замечаний" в отношении этимологических исследований других лингвистов, а также и его собственных этимологий. Этимологизи-

рование в "одномерном пространстве", игнорирование известных лексико-семантических универсалий и данных диалектологии, антиисторичность в подходе к анализу значения слова, полное игнорирование фактов истории материальной культуры и древней символики — вот тот "инструментарий", который определяет "научное видение" А.С. Либермана в области этимологии.

Особое внимание А.С. Либерман уделяет этимологическим исследованиям М.М. Маковского, хотя те работы М.М. Маковского, которыми он пользовался (за исключением "Английской этимологии"), не имеют непосредственного отношения к этимологизированию английских слов. По мнению А.С. Либермана, "в докторской диссертации и в более поздних своих статьях и книгах" М.М. Маковский "предложил сотни новых и совершенно невероятных этимологий" (с. 119). Начнем с того, что в докторской диссертации М.М. Маковского "Сравнительно-историческая диалектография англоской лексики" (1969) никаких этимологий вообще не предлагалось: в ней рассматриваются возможности установления диалектных различий в лексике древнеанглийского языка и соответствия древнеанглийским диалектным словам на современной территории распространения германских языков (изолексы и изосемы). Книги же М.М. Маковского действительно посвящены проблеме этимологии и А.С. Либерман "критикует" некоторые из них. Рассмотрим эти этимологии. А.С. Либерман, указывая на приводимое в работах М.М. Маковского английское слово *adze* (др.-англ. *adisa*) "плотницкий топорик", никак не может понять, каким образом это слово может соотноситься с др.-англ. *āe dre* "вена", а также с др.-англ. *ād* "огонь, костер", *adl* "болезнь" и *āe dele* "славный". Такие "недопонимания" у А.С. Либермана постоянно происходят потому, что он совершенно не знаком с древней индоевропейской символикой и с языческой мифологией, использование которых при этимологизировании необходимо. В самом деле, топор (как и меч) в символике древних индоевропейцев олицетворял Божество, сотворившее Вселенную рассеянием (рассечение — творческое начало) Хаоса (ср. др.-инд. *adi* "начало" как олицетворение Божества, родоначальника всего сущего, + хет. *essa* "творить, создавать", а также и.-е. *\*es-* "бытие" как результат божественного разрыва Хаоса). С другой стороны, Божество олицетворялось огнем, огненной вертикалью; ср. др.-англ. *ād* "огонь, костер" + и.-е. *\*as-*

<sup>1</sup> Так, понятие "бог" может соотноситься со следующими метафорами: "далекий"; "невидимый"; "молчаливый"; "распределяющий, дающий (судьбу)"; "гневный"; понятие "голый" соотносится со следующими метафорами: "светлый" → "сияющий" → "божественный" → "святой" (нагота символизировала святость).

<sup>2</sup> Речь идет о таких явлениях, как англ. *land* "земля, земное пространство", но арм. *and* "поле"; и.-е. *\*uet-* "время", но тох. *A laute* "время", и.-е. *\*ai-* "part, share"; но и.-е. *\*dai-* "part, share"; ср. также: лат. *acrima* — *dacrima* — *lacrima* "слеза"; др.-англ. *tung*, лат. *lingua*, тох. *A kāntu* "язык".

"огонь"<sup>3</sup>. [ср. др.-сев. *áss* "Божество", а также др.-сев. *áss* "шесть как символ Божества", осет. *asin* "лестница" (в небо)]. Возможно также соотношение рассматриваемого слова с др.-инд. *andu* "chain for an elephant's foot", \**anda-* "binding" (Божество как связь) и с нем. диал. *anden* "offenbaren" (гадание по топору, устанавливающее "связь времен"). В то же время топор символизировал божественное проникновение Земли и Неба (ср. в словаре Шевалье: "la hache: c'est symbole de pénétration spirituelle" [Chevalier, Gheerbrant : 483]). В связи с этим вполне понятна связь рассматриваемого английского слова с др.-англ. *ǣdre* "вена" (букв. "то, что внутри"), др.-фризск. (pl.) *eddre* "внутренности", др.-ирл. *in-anthar* "внутренности". Сюда же, видимо, и исл. *aedra* "страх".

Будучи символом Огня, топор олицетворял также Дух, Душу (огонь, по древним представлениям – это воплощение Души). Дух же – олицетворение всего Внутреннего (Божественного) в отличие от Внешнего: ср. в этой связи др.-англ. *adesa* "топор", но и.-е. \**ad-*, \**and-* "дышать"; "дух" (др.-англ. *oðian* "дышать") + и.-е. \**dhes-* "дух, душа" (имелся в виду также и "дух растений", в частности, "хлебный дух": ср. и.-е. \**ades-* "Getreideart, Spelt" [Рокоту 1959: 3]). Вместе с тем топор – символ божественного гнева, символ божественной кары, символ разрушения и болезни, посылаемых Божеством (ср. в словаре Шевалье: "la hache... symbole de colère, de destruction" [Chevalier, Gheerbrant 1982: 483]). В этой связи неудивительно следующая метафора топора: др.-англ. *ād* "болезнь" [божественная кара, букв. "рассечение огнем"; ср. также и.-е. \**ad-* "гореть" и и.-е. \**ed-* "съесть" (об огне): болезнь в этом случае может пониматься как "съедение огнем"]. С другой стороны, топор как олицетворение Божества (ср. др.-сев. *adill* "Urheber, Schöpfer"; *qðlingr* "Fürst, König"; *eðli* "Natur, Wesen", ср. также: *atall* "furchtbar; streng, hart") описывался такими метафорами, как "славный, блестящий, прекрасный, великолепный" (ср. др.-англ. *ǣðdele* "славный"). Следует иметь в виду, что все приведенные слова (др.-англ. *adesa* "топор",

др.-англ. *ǣdre* "вена", др.-фризск. *eddre* (pl.) "внутренности"; др.-англ. *ǣðdele* "славный") восходят к сложению корней с исходным значением "огонь" > "режущий": и.-е. \**ad-* "огонь" + \**as-f\*es-* "огонь; гореть"; и.-е. \**ad-* "огонь" + и.-е. \**ar-f\*er-* "огонь; гореть"; и.-е. \**ad-* "огонь" + и.-е. \**al-f\*el-* "гореть; огонь" (ср. также тох. А *atāl* "человек-микрокосм", букв. "огненный столб"; и.-е. \**ater-* "огонь")<sup>4</sup>.

Топор выступал в древности и в качестве оберега (букв. "отсекающий злую силу"): ср. латышск. *āda* "кожа"; индо-арийск. \**addana-* "щит", но с другой стороны, литовск. *ādata* "игла".

С другой стороны, др.-англ. *adesa*, др.-сакс. *adesa* "топор" можно, видимо, истолковать как состоящее из усилительной частицы *a-* и корня, представленного др.-в.-нем. *dehsala* "топор" (с соответствующим стяжением), др.-в.-нем. *dehsen* "mit einem Beile bearbeiten". В этом случае следует принять во внимание литовск. *diegti* "stechen"; *dėgti* "жечь, гореть"; тох. А *tak* "быть, существовать" (бытие как результат божественного рассечения Хаоса). Топор<sup>5</sup> в древности, как мы говорили, символизировал Божество – Огонь, Огненную вертикаль: ср. русск. *топор*, но хет. *tapariyas* "prince, ruler" *tapar(r)iya* "determine, designate, rule", *tapar-* "govern". Топор понимался также как божественный Змей, рассекающий небо и землю (ср. латышск. *tarps* "червь, змея": ср. типологически русск. *червь* "резак") и уподоблялся Молнии. Топор – символ силы и высоты: ср. тох. В *tapre* "hoch", нем. *tapfer* "смелый". Кроме того, топор был предметом жертвоприношения: ср. др.-англ. *tiber* "жертвоприношение". Будучи символом божества, топор олицетворял Абсолютное. Божественное Время: ср. литовск. *dabar* "сейчас", тох. А *tāpārk* "сейчас". Вместе с тем, согласно представлениям древних, небесный божественный Топор (символ пениса) рассекает (букв. "прожигает") Землю и оплодотворяет ее (ср. литовск. *tarpti* "хорошо расти, процветать")<sup>6</sup>. В этом плане интересно сопоставить литовск. *vedegā* "топор" и тох. А *witsak* "корень растения"

<sup>3</sup> Типологически ср. русск. *топор* < и.-е. \**top-* "гореть" + и.-е. \**ar-* "гореть"; нем. *Beil* "топор", но и.-е. \**bhel-* "гореть, пылать"; др.-в.-нем. *dehsla* "топор", но и.-е. \**dheg-* "гореть".

<sup>4</sup> Ср., с другой стороны, хет. *etez, eteza* "on that side, there" (потусторонний характер Божества, символизируемого топором, буквально "отсеченный, отрезанный от мира людей").

<sup>5</sup> Ср. др.-англ. *taper-ǣx* "kleine Axt".

<sup>6</sup> Ср. литовск. *stiprus* "крепкий, сильный".

(взаимопроникновение Неба и Земли). С другой стороны, топор выступал как символ божественного дождя: ср. нем. *Tropfen* "капля", тох. А. *тарп* "пруд".

Олицетворяя Божество, Топор символизировал божественное Единство, т.е. андрогина: др.-англ. *adesa* "топор" < и.-е. \**and-* "мужчина" + др.-сев. *dis* "женщина" ("богиня")<sup>7</sup> [Jankuhn, Beck 1973]. Приведенный материал показывает, как опасно бывает при этимологизировании того или иного корня исходить из значений, соотносимых в современных языках: этимология — наука историческая и не может основываться на "здравом смысле".

Фаллическая символика змеи для этимологов является аксиомой [Wagner 1970; Paul-Stengel 1986]. Поэтому вполне естественны такие сопоставления, предложенные М.М. Маковским, как др.-англ. *hætan* "coire" и русск. *змея*: и.-е. \**kuksis* "pudendum" и латышск. *čuska* "змея". В основе слов со значением "змея" и со значением "coire", "половые органы" > "рожать" лежит один и тот же этимон — "выгибать(ся) вовнутрь или вовне". Ср. соответственно 1) и.-е. \**ket-* "гнуть(ся)", выгибать(ся) — русск. диал. *камень* "гореть" (букв. "выгибаться: о языках пламени), и.-е. \**kat-* "страстное желание, похоть"; 2) англ. диал. *kink* "узел; сгибание"; и.-е. \**kenk-* "гореть" (букв. "выгибаться: о языках пламени"); и.-е. \**ku(n)k-* "to swell"; "to make hollow": ср. лат. *concha* "pudendum" (также "раковина"). Подобным же образом валлийск. *aer* "змея" соотносится с осет. *агул* "рожать" (и.-е. \**ar-* "гнуть"); др.-инд. *taruh* "червь, змея", но др.-

англ. *teors* "penis" (и.-е. \**ter-* "гнуть, выгибать"). Не зная древней символики, А.С. Либман, однако, считает, что здесь перед нами "разные слова", никак не связанные между собой.

А.С. Либман не может согласиться с тем, что английское слово *girl* "девочка, девушка" соотносится с др.-англ. *gierelu* "одежда" (этимология Ф. Робинсона). В этой связи необходимо иметь в виду следующее. Исторические и археологические данные свидетельствуют о том, что на наиболее раннем этапе существования индоевропейцев женщины не только участвовали в сражениях, но и погребались согласно обычаям воинского сословия [Джонс-Блей 1997; Estés 1992; Quanter 1925; Zötsch 1989; Aliti 1989]. Интересно в связи с этим др.-сев. *ggr* "bereit, gerüstet" < др.-сев. *gera* "do, make" (> "compel, force": ср. англ. диал. *gar* "to force, to compel"). Важно, что значение "одежда" в древности могло соотноситься со значением "военная одежда", "обмундирование" > "снаряжение" (ср. англ. *gear* "снаряжение") и, наконец, "оружие" (ср. др.-англ. *gar* "Speer"). В этой связи типологически показательны примеры из осетинского языка: *гарз* "оружие", но *гаертэ* "оружие" и одновременно "одежда". Типологически ср.: гот. *sarwa*, др.-англ. *searo* "оружие" но арм. *sor* "одежда"; др.-англ. *wip* "женщина", но *wāepen* "Waffe"; греч. *θηλυς* "женский", но лат. *telum* "метательный снаряд"<sup>8</sup>. Наряду с этим вполне возможна связь англ. *girl* "девочка, девушка" со шведск. *göra*, др.-сев. *gera* "творить" > "рождать" (типологически ср. русск. *женщина* < и.-е. \**gen-* "творить, рожать"). В связи с этим необходимо иметь в виду, что женщина в древности уподоблялась Бездне. Бездна — творящее, дея-

<sup>7</sup> Божественная целостность олицетворяется также единством Огня и Воды: и.-е. \**ad-* "огонь", но и.-е. \**adu-* "Wasserlauf". Вторая часть слова соотносится с и.-е. \**as-* "гореть" (значение "цельный" может быть связанным с понятием огня: ср. др.-сев. *heitr* "горячий", но сербско-хорв. *цйт*, болг. *цитава* "цельный, цельный").

Наконец, понятие топора связано с понятием камня (первобытные топоры изготовлялись из камня, причем камень, как и гора, считался местоположением божественной Души и олицетворял Божество и Вселенную): русское слово *топор* находит соответствие в греч. πέτρα "камень (с табуирующей метатезой); древнеанглийское же слово *adesa* "топор" соотносится с и.-е. \**and-* / \**ond-* "камень" (др.-инд. *adri* "камень") + др.-инд. *асап* "камень", авест. *asan* "камень" [Pokorny 1959: 778].

<sup>8</sup> Интересно сопоставить типологически: арм. *sor* "одежда", но и.-е. \**sor-* "женщина"; и.-е. \**yes-* "одежда", "одеваться", но осет. *woes* "женщина"; др.-англ. *scrud* "одежда", но др.-сев. *skord* "женщина"; др.-инд. *śela* "garment, clothes", но тох. А. *kuli* "женщина"; др.-сев. *lodda* "женщина", но др.-сев. *lodda* "Mantel aus groben Wollenzug".

С другой стороны, можно сопоставить: др.-англ. *dir* "девушка", но др.-сев. *styrff* "битва, борьба"; греч. γυνή "женщина", но др.-сев. *gunnr* "битва, борьба"; др.-сев. *dubba* "женщина", но ниже-нем. *dubben* "schlagen, stoßen"; валлийск. *gwraig* "женщина", но и.-е. \**цereg-* "feindselig verfolgen", гот. *wrikan* "verfolgen"; ср. еще: др.-инд. *bhaga-* "vulva", но др.-в.-нем. *baga* "борьба".

тельное начало. В свете этих данных английское слово *girl* можно сопоставить, с одной стороны, с русск. *жерло*, а с другой – с др.-инд. *gir* "verschlingend" (букв. "Penis verschlingend"; ср. англ. диал. *gorlins* "testicles of a ram"). Значение "женщина" в древности символизировалось значением "женский половой орган", а это последнее метафорически олицетворялось значением "горло, глотка": ср. др.-сев. *prudr* "женщина", но англ. *throat* "горло, глотка"; ср. англ. *wesen*, англ. диал. *wesond* "горло, глотка" (и.-е. \**ues-* "есть, съедать, глотать, пропускать через глотку"), но осет. *woes* "женщина"; англ. *girl* "девушка, девочка" (ср. северно-фризск. *gôr* "девушка", нем. диал. *Gurre* "девушка"), но русск. *горло*; лат. *gula* "глотка", но тох. *A kulî* "женщина".

Как указывает Б. Уолкер [Walker 1985: 25–26], "it wasn't unusual for barbarian armies to include women. Feminine magic power was often considered necessary for victory... Again and again, legends mention the women's magic cries, which made their enemies helpless". В этой связи английское слово *girl* "девушка, девочка" можно сопоставить с др.-инд. *gir* "Lied; Spruch; Stimme". Типологически ср.: и.-е. \**sor-* "женщина" (первоначально "издающая воинственный клич": ср. лат. *xertmō* "разговор, беседа, диспут", и.-е. \**scer-* "издавать звуки"), но русск. *ссора* (ср. также русск. *свара* "вражда, перебранка").

Не зная языческую символику, нельзя проводить предложенное О.Н. Трубачевым весьма эффективное и важное для этимологии "решение задач на омонимы", в результате которого в ряде случаев выясняется, что слова, считаемые омонимами, в действительности таковыми не являются [Трубачев 1985]. В этом плане интересно остановиться на индоевропейском корне \**kob-* / \**keb-*, рассмотрение которого у М.М. Маковского вызывает "недоумение" А.С. Либермана. Указанный корень означает "гнуть, выгибать", а также "связывать, образовывать узел": первоначально речь шла об извивающихся и переплетающихся языках священного костра. Следует отметить, что огонь в древности уравнивался с душой<sup>9</sup>. Вместилищем же души считалась

птица: ср. в связи с этим англ. *cob* "чайка", но греч. *κατος • φυχή • πνευσα*; литовск. *kvepti* "atmen" (типологически ср. англ. *meu* "чайка", но хет *meiua* "душа"). Рассматриваемый индоевропейский корень может означать не только выгибание вверх, но и выгибание вниз. В последнем случае можно сослаться на тох. *A kupar* "profond"; англ. *coomb* "впадина"; др.-инд. *gubha* "vulva", в первом случае – на англ. диал. *cobs* "testiculi"; др.-сев. *skgpin* "penis"; ср. еще: англ. диал. *cobb* "top, summit"; др.-сев. *hopr* "Haufe"; литовск. *kópti* "steigen", а также *kèbti* "backen, braten, brennen". Что же касается англ. *cob* "лошадь", то необходимо иметь в виду, что лошадь в древности считалась символом подземного огня. Типологически ср.: др.-англ. *hros* "конь", но и.-е. \**kres-* "strike fire"; русск. *конь*, но осет. *k'ona* "очаг, место разведения огня"; нем. *Stute* "кобыла", но др.-англ. *dyð* "огниво"; др.-в.-нем. *scelo* "жеребец", но и.-е. \**kel-* "гореть, вздыматься ввысь (об огне)". Как показал О.Н. Трубачев, фригийское *kubela, kubeleya* могло иметь как значение "лошадь", так и значение "гора": культ малоазиатской богини-матери был связан с горой и одновременно с лошадью (гора, как и лошадь, уподоблялась огню) [ЭССЯ. 10: 97]. Значения "гнуть(ся)", "выгибать(ся)" часто лежат в основе значения "детеныш животного (ср. англ. *cub*), а также "сумка, ящик". Спору нет – чисто внешне между всеми разобранными значениями индоевропейского корня \**keb-* / \**kob-* нет ничего общего. Но ведь речь идет не о современных метафорах! Вполне естественно, что А.С. Либерман, не принимая во внимание языческую символику, историю человеческой ментальности и историю культуры, не может понять связь (да и самое существование) указанных метафор. А то, чего он не знает и не понимает, то, чего не видно на поверхности и не укладывается в современную человеческую логику, то для него вообще не существует: *de non apparentibus et de non existentibus eadem est ratio!*

В индоевропейской традиции практиковались ритуальные "похороны" девушки-невесты на пороге вступления ее в новую жизнь. Сначала девушку "хоронили" (ср. в связи с этим значения "девушка-невеста", с одной стороны, и "смерть" – "могила" – с другой), причем символом таких "похорон" был свадебный хлеб, олицетворявший могильный холм. Ср. в связи с этим др.-англ. *hlāf-dige* "девушка, приносимая в жертву богам" (девушка при этом считалась

<sup>9</sup> Типологически ср. русск. *гореть*, но латышск. *gars* "душа". Значение и.-е. \**kob-* "сплетаться" вполне объясняет значение англ. *cob* "любить": любовь в древности понималась как связь верхнего, среднего и нижнего миров (примеры см. [Маковский 1996: 201]). Значение же "связь" обычно соотносится со значением "сгибать".

жертвенным "хлебом"): ср. др.-англ. *hlāf* "хлеб" + совр. англ. диал. *dey* "девушка" (ср. др.-англ. *hlaf* "жена" + *diegan* "умирать") – "похороны" девушки считались жертвоприношением. С другой стороны, свадебный хлеб, олицетворявший могильный холм, был излюбленным предметом жертвоприношения. Отметим, что хлеб, приносимый в жертву богам, имел явно выраженную фаллическую символику ("похороненная" девушка-невеста уподоблялась зерну, брошенному в землю: сначала зерно гибнет, но затем дает всходы): ср. англ. *bride* "невеста" – англ. *bread* "хлеб" – англ. *breed* "размножаться, плодиться"<sup>10</sup>. Типологически

<sup>10</sup> Ср. также исл. *brydja* "сосуд" > "гроб"; интересно также принять во внимание англ. диал. *brot* "a straw mat; a covering" (платок, которым покрывали девушку-невесту, олицетворял саван); ср. далее исл. *i braut, i brott* "вон, прочь"; именно понятие "вон, прочь, на периферии" в ряде языков лежит в основе названия потустороннего мира (типологически ср. франц. *au-delà* "потусторонний мир", букв. "там, на той стороне"; нем. *Jenseits* "потусторонний мир" (букв. "с той стороны"); ирл. *sid* "рай", но англ. *side* "сторона"); Отметим, что понятие горизонтального движения в древности имело магическое значение и, как правило, означало переход в мир иной: ср. англ. диал. *brud* "track or path", исл. *braut* "Weg". Типологически ср. гот. *-leipan* "двигаться", но литовск. *laidoti* "хоронить", и.-е. *\*dhen-* "двигаться", но лат. *funus* "похороны".

В древности различалось также вертикальное движение – вверх (мужское начало) и вниз (женское начало). В связи с этим интересно происхождение русского числительного *сорок*. Следует иметь в виду, что в древности существовала так называемая вигезимальная система счета (счет по двадцати). Количество пальцев на руках и ногах человека как раз и равняется сорока при счете сверху вниз (женское начало) и снизу вверх (мужское начало). Ср. и.-е. *\*sor-* "женщина" (*\*ser-* "двигаться") + др.-сев. *rekkr* "мужчина, человек" (ср. др.-инд. *rohini* "wachsen, sich erheben"; украинск. *рух* "движение"; типологически ср. нем. *steigen* "подниматься вверх" но нем. диал. *Stieg* "двадцать"). Число "сорок" символизирует целостность, цельный цикл в процессе божественных свершений. Таким образом, русское число "сорок" олицетворяет андрогина как целостное единство мужского и женского начал движе-

ср.: др.-инд. *vah* "вступать в брак", но нем. *Weck* "(свадебный) пирог", англ. диал. *wig* "(свадебный) пирог" и ново-ирл. *uaigh* "могила".

Но какова методика этимологизирования в том "н о в о м" этимологическом словаре, который предлагает А.С. Либерман? Рассматриваемая статья А.С. Либермана как раз и посвящена этому вопросу. Визитной карточкой составляемого А.С. Либерманом словаря, его теоретических основ и используемых методик может служить приводимое в его статье этимологизирование английского слова *boy* "мальчик". Он пишет: «Англ. *boy* принадлежит к распространенным по всей Европе словам вроде англ. междометия *boo*, выражающего неодобрение (глагол *boo* "шикать, освистывать, отпугивать, назойливое животное"; синоним *boo-boo*: ср. детскую игру "ку-ку" – *boo-peek* в Англии, *peck-a-boo* в Америке). Этот звуковой комплекс первоначально означал существо, пугающее своим шумом» (с. 122). Итак, нас тянут вспять, в темные времена подражательной этимологии, не имеющей ничего общего с подлинной наукой! Такая "этимология" была характерна для Средневековья и Античности и возникла задолго до появления научного языкознания [Klinck 1970].

Следует отметить, что название мальчика в индоевропейских языках обычно связывалось с понятием огня: мальчик-первенец нередко приносился в жертву богам, причем мальчиков сжигали на костре. В этой связи не подлежит сомнению, что английское слово *boy* "мальчик" непосредственно соотносится с и.-е. *\*bhā-* "гореть", "жечь". Следует учесть, что мальчика, как и любую другую жертву, перед жертвоприношением обычно связывали; ср. лат. *hoia* "оковы" < *\*bhā-* "гореть" (букв. "переплетаться"; о языках пламени). Ср. семасиологические параллели: др.-сев. *drengr* "мальчик, юноша", но греч. *φλόκις* "огонь, пламя";

ния [Топоров 1998; Эдельман 1975]. Вместе с тем понятие целостности непосредственно соотносится с понятием огня (переплетение языков пламени): ср. и.-е. *\*ker-* "гореть" > *\*ser-* / *\*ker-* "join, link" и др.-инд. *śar-va* "целостный"; таким образом, русское слово *сорок* можно соотнести с и.-е. *\*ker-* (*\*ser-*) "гореть" (ср. англ. *sear* "палить") + тот же корень с метатезой *\*rek-* / *\*reg-* "гореть" (ср. лат. *rogus* "костер, огонь"). С другой стороны, ср. хет. *sarkus* "обладающий сверхъестественной силой".

ирл. *mac* "мальчик", но кельтск. \**mag-* "огонь"; лат. *puer* "мальчик", но нем. *Feuer* (и.е. \**pecier-* "огонь"); англ. *fellow* "парень", но и.е. \**pelk-* "гореть" или и.е. \**pel-* "гореть" + др.-англ. *lieg* "огонь" [ср. \**lag-* "класть" (в огонь)]. С другой стороны, в ряде случаев понятие мальчика, как и понятие ребенка, в индоевропейских языках соотносится с понятием "не говорящий, молчащий" (ср. др.-русск. *от-рокъ* "мальчик" и др.-русск. *рекаѣи* "говорить"; лат. *in-fans* "ребенок", которое соотносится с отрицанием *in-* и глаголом *fari* "говорить"; греч. *τέκνον* "ребенок", др.-англ. *þegn* "юноша", но лат. *tacere* "замолчать, молчать", др.-сев. *þegja* "be silent"). Учитывая широко распространенную в языческом обществе энантиосемию, можно соотнести английское слово *boy* с и.е. \**bhā-* "издавать звуки, говорить" (ср. др.-англ. *bōian* "говорить, издавать звуки", букв. "говорить около огня"). Ср. семасиологические параллели: греч. *μῦθος* "слово, речь", но лат. *mutus* "немой, не говорящий"; русск. диал. (северные диалекты) *гунить* "говорить", но русск. диал. (тамбовск.) *гунеть* "замолкнуть"; латышск. *rīnē* "говорить", но гаэльск. *ruine* "молчание"; греч. *λαλεῖν* "говорить", но цыганск. *laloro* "немой"; и.е. \**cek-* / *ceg-* "издавать звуки" (ср. др.-в.-нем. *sweglon* "издавать звуки"), но др.-в.-нем. *swigen* "молчать". Индоевропейские корни \**bhā-* "гореть" и \**bhā-* "говорить" соотносятся не только между собой, но и с корнем \**heu-*, \**bhū-* "schwellen". Однако понятие "вздуться, вздыматься" (об огне) > "быстро двигаться" соотносится с понятием "остановиться" > "замолчать" (энантиосемия). Ср. в этой связи: индоарийск. \**tal* "гореть", но литовск. *tylėti* "молчать, замолчать"; лат. *sunctare* "остановиться", но и.е. \**kenk-* "гореть, быстро вздыматься вверх" (об огне); литовск. *galas* "конец, окончание", но и.е. \**ghel-* "гореть"; ср.-н.-нем. *hören* "остановиться, прекратить", но и.е. \**ker-* "гореть"; и.е. \**tep-*, \**top-* "гореть", но англ. *stop*.

Но может быть этимологизирование английского слова *boy* на основе ономатопеин является в словаре А.С. Либермана досадным исключением? Ничуть не бывало! А.С. Либерман отрицательно относится к этимологизированию на основе индоевропейских корней (словарь Ю. Покорного) и детерминативов (у А.С. Либермана ошибочно "детерминантов") и предпочитает выделять самостоятельные "модели" типа \**fi-* "дви-

жение в разные стороны, движение взад и вперед" (со всеми ступенями аблаута и с различными распространителями). В подобную модель входят, например, такие английские слова, как *fuck* "соить", *fake* "подделывать", *fit* "приступ", *fit* "соответствовать", *fetch* "пойти и привести", *fib* "врать", *fickle* "переменчивый", *fiddle* "скрипка", *fuddle* "сбивать с толку", *fidget* "ерзать", *fob* "обманывать", *fop* "хлыщ".

Возникает вопрос: на каких лингвистических, социологических, культурологических, исторических основаниях для указанной группы слов постулируется значение "двигаться"? Таких оснований нет, поскольку значение движения выводится здесь только на основаниях логических, синхронных, основанных на "здравом смысле" современного человека. Как можно, например, на основе идеофонии этимологизировать такие английские слова, как *bad* "плохой", *back* "спина", *blood* "кровь", *board* "доска", *bread* "хлеб", *read* "читать" и многие другие? Можно ли на основе идеофонии решить одну из основных проблем составления английского этимологического словаря — дать этимологию того довольно значительного блока исконных германских слов, которые во всех изданных этимологических словарях английского языка сопровождаются пометами "этимология неизвестна", "этимология неясна"? Важно иметь в виду, что целый ряд значений с точки зрения современного языка вполне можно логически соотнести со значением "двигаться" или с каким-либо другим значением, тогда как на самом деле их этимон исторически мог быть совершенно иным, причем значение "двигаться" или какое-то другое значение, к которым сводится значение той или иной идеофонической группы, может быть лишь звеном в совершенно различных цепях значений.

Понятия движения, света и звука, наиболее часто соотносимые с идеофонией, настолько пронизывают всю человеческую жизнь и деятельность, что чисто логически к ним можно свести практически любое значение в языке. С другой стороны, любое сочетание любых звуков в любом языке (древнем или новом) можно с легкостью объявить идеофоном вопреки фактам и языковой реальности. Один и тот же корень в процессе развития в разных языках может обнаружить значения, логически несоотносимые между собой, но вполне объяснимые на основе истории культуры (ср. решение задач на омонимы у О.Н. Трубачева). Так, индоевропейский корень \**uer-* может выражать следующие мифо-

поэтические образы: движения (ср. др.-англ. *worīan* "двигаться"), огня (и.-е. \**ue-* "огонь, гореть"), души (тох. А *was* "дыхание"), слова (и.-е. \**ue-* "издавать звуки": англ. *word* "слово"), творения (и.-е. \**ue-* "творить": англ. *work* "работа"), колдовства (русск. *ворожить*), увеличения, роста (др.-инд. *vidh-* "расти", авестийск. *vared-* "расти"), дерева, леса (латышск. *veris* "густой лес"), почитания богов (лат. *vereor* "почитать, преклоняться"), ущерба (русск. *вред*, *вредить*; русск. *враг*), верха, неба (и.-е. \**ue-* "верх"), времени (и.-е. \**ue-* *men*: русск. *время*), воды (тох. А *war* "вода"), бытия (др.-сев. *vava* "быть"), начала (тох. А *warn-* "начинать"). В мифопоэтической традиции понятие свободы соотносится с понятием божественной непрерывности, абсолютного времени, свободного от пут земли и тела: речь идет, в частности, о непрерывности рода, о непрерывности Мировой Души, о божественной Гармонии, божественном Порядке, т.е. о божественной Связи. Возможны соотношения понятий "свободный" > "продолжающий род"; "свободный" > "время, вечность"; "свободный" > "связанный, образующий единую цепь": ср. лат. *liber* "свободный", но лат. *liberi* "дети"; англ. *free* "свободный", но лат. *pariō* "родить, произвести на свет, продолжить род" (лат. *spirō* "дышать"); литовск. *arvas* "frei", но осет. *waryn* "родить, произвести на свет". Ср. также соотношение понятий "свободный" > "связанный, образующий непрерывность": ср. русск. *свобода*, но и.-е. \**sueib-* "скручивать, связывать", тох. А *sopi* "Netz"; др.-инд. *muñcāti* "освободить", но англ. диал. *munk* "веревка"; ср. вместе с тем англ. *free* "свободный", но др.-сев. *foeri* "время, вечность"; лат. *liber* "свободный", но др.-сев. *lied* "время" + греч. *ώρα* "время". В мифопоэтической традиции вечность, непрерывность, целостность, а следовательно и свобода олицетворяются змеей: ср. англ. *free* "свободный", но англ. диал. *free* "червь, змея"; свобода также приравнивалась к экстазу: ср. русск. *свобода*, но др.-в.-нем. *swebida* "сон", латышск. *svabads* "усталый"; лат. *liber* "свободный", но др.-сев. *liedla* "экстаз" [Eliade 1938]. Можно с уверенностью сказать, что при построении идеофонических рядов с общим значением движения или свободы слова со всеми указанными значениями не войдут в эти ряды, поскольку эти значения внешне не очевидны, не оправдываются "здравым

смыслом", который лежит в основе применения фоносемантических методов в этимологии, сближая ее с народной этимологией. С другой стороны, в идеофоническую группировку могут попасть слова, ничего общего не имеющие с этимологией (исходным значением), постулируемым для этого ряда. *Descriptum specie recte!* В своей статье, опубликованной во втором номере рецензируемого журнала, А.С. Либерман пытается "этимологизировать" английские слова *pig* "свинья" и *big* "большой" на основе идеофонии. Он постулирует идеофонический комплекс *h/p* + гласный + *d/t, g/k*, куда, по его мнению, входят такие английские слова, как *big, bug, bag, bogey, pack, pug, pig* и другие с исходным значением "раздуться и вызывать страх". Что касается слов со значением "большой" в индоевропейских языках, то они соотносятся со значением "разрывать, расщеплять" > "увеличивать": ср. лат. *grandis* "большой", но англ. *grind* "молоть"; тох. А *tsopats* "большой" но литовск. *dabti* "schlagen"; русск. *великий*, но и.-е. \**uel-* "schlagen"; ирл. *oll* "большой" < и.-е. \**pel-* "schlagen"; русск. *большой*, но и.-е. \**bhel-* "schlagen". В свете этих данных английское слово *big* "большой" можно соотносить с и.-е. \**bheg-* "zerschlagen, zerbrechen" (вместе с тем вполне возможно, что речь здесь идет об огне, который высекался из дерева: древняя метафора огня – "большой": ср. англ. *big* "большой", но и.-е. \**bheigh-* "сверкать, гореть", и.-е. \**bhok-* "гореть"; подобным же образом ирл. *oll* "большой", но и.-е. \**pel-* "гореть"). Что же касается англ. *pig* "свинья", то необходимо иметь в виду следующее. Свинья в древности была обычным предметом жертвоприношения. Ср. этой связи хет. *pe-*, 1-е л.ед. числа *pehhi* "geben, opfern"; лат. *pignus* "залог, нечто, данное в залог божеству" > "жертвоприношение"; ср., с другой стороны, и.-е. \**pek<sup>h</sup>-* "verbrennen" (жертву бросали в огонь). Вместе с тем свинья – символ Зла и Хаоса: ср. литовск. *peikti* "tadeln, schmähen"; *pykti* "zürnen, böse sein"; *paikas* "dumm"; *pikūlas* "Teufel"; др.-инд. *piñjalāh* "chaotic" [Mann 1985]; литовск. *pigūs* "дешевый". Возможно, однако, что англ. *pig* "свинья" соотносится с окраской животного: ср. др.-инд. *piṅgala* "rotbraun" (цвета Преисподней) Свинья – символ колдовства, сверхъестественной силы: ср. латышск. *spēks* "(сверхъестественная) сила" [Panizza 1978]. Жук в древности имел двойственную символику. С одной стороны, это – символ смерти, болезни,

ненависти, проклятия (ср. англ. *bug* "жук" и нем. диал. *buggeren* "проклинать"; хет. *puk* "ненависть"); с другой стороны, жук как вместительница души (душа олицетворялась огнем: ср. англ. *bug* "жук" и прусск. *spanxti* "Funke"; и.-е. \**bhok-*/\**bhuk-* "гореть"; огонь"; нем. *Spruk* "дух, привидение") всячески обоготворялся (ср. осет. *buz* "благодарность, благодарный"; др.-инд. *bhuj* "pleasure"). Будучи символом и Солнца и Огня, жук в древности нередко символизировал сердце (ср. др.-инд. *bukkā* "сердце"); у некоторых народов существует обычай на сердце покойника класть амулет в виде жука (например, скарабея) [Маковский 2000, s.v.].

Этимологический анализ, построенный на основе идеофонии, неизбежно влечет за собой: 1) невозможность использования фонетических законов<sup>11</sup>; 2) произвольность включения слов в идеофонический ряд и произвольность исходного значения (этимона), приписываемого всем словам того или иного идеофонического ряда; 3) невозможность проведения диахронического анализа, являющегося основополагающим для любой этимологизации; при этом поскольку рассмотрение идеофонов возможно только в диахронии, не учитывается историческая изменчивость формы и значения слов; 4) невозможность выявить траекторию развития значений (метафор) и последовательность (историю) перехода значений того или иного слова; 5) невозможность морфологического анализа этимологизируемых слов; 6) невозможность широких межязыковых сопоставлений в синхронии и в диахронии, а также установления хронологического статуса исследуемых лексических единиц; 7) игнорирование того факта, что ни одно этимологическое решение, даже

самое гениальное, не является истиной в последней инстанции, а представляет собой гипотезу; идеофония всегда однозначна, всегда замкнута в себе, всегда статична и не допускает разночтений. Как справедливо отмечал А.А. Реформатский, "отрицать звукоподражательные слова в языке нельзя, но думать, что таким механическим и пассивным образом возник язык, было бы совершенно неправильно. Язык возникает и развивается у человека совместно с мышлением, а при звукоподражании мышление сводится к фотографии" [Реформатский 1967 : 467]. Однако А.С. Либерман считает, что "исследование слов типа *fit-flick-fib-* существенно для понимания самых глубинных процессов, которыми занимается этимолог-индоевропеист" (с. 123). Совершенно непонятно, какое отношение может иметь этимолог-индоевропеист к идеофоническим упражнениям, постулируемым А.С. Либерманом. Любопытно, что несколько далее А.С. Либерман утверждает, что "распознавание подобных моделей может оказаться полезнее, чем ссылка на корни и детерминанты" (с. 124). Более того, как уже говорилось, во втором номере журнала "Язык и речевая деятельность" А.С. Либерман посвятил специальную статью "Фоносемантика и этимология". Но что представляет собой комплекс *f-k*, основную роль в котором, несомненно, играет *f*? Даже если допустить, что перед нами не корень и не архетип, а идеофон, трудно понять, является ли рассматриваемый комплекс общиндоевропейским, общегерманским, "общеевропейским" (в этом случае необходимо было бы указать, к какому хронологическому периоду развития языка он относится) или "общечеловеческим". Для этимолога, который имел дело с индоевропейским материалом, не подлежит сомнению, что слова, включенные в указанную группу, имеют свою индивидуальную историю, от исследования которой А.С. Либерман явно уклоняется, свалив все эти слова в одну кучу. В качестве заглавного слова, выделяющего выделяемую им группу слов (скажем ли можно назвать лексикон-семантическим гнездом, поскольку она включает в себя разнокоренные слова), А.С. Либерман выбирает английское слово *fuck* "coire". Это слово соотносится с тох. *A puk* "поклоняться, обожествлять" (язычники обожествляли половые органы и поклонялись им)<sup>12</sup>. В

<sup>11</sup> В отношении использования фонетических законов необходимо иметь в виду высказывание крупнейшего этимолога нашего столетия В.И. Абаева: «Нужно быть слепым, чтобы не видеть тех громадных результатов, которые достигнуты в языковедении на основе исследования и учета фонетических закономерностей. Но нужно быть если не слепым, то очень близоруким, чтобы не заметить тех поправок, которые жизнь на каждом шагу вносит в звуковые "законы". Я сказал бы так: исследование, основанное на рабской вере в непогрешимость звуковых законов, обесценивается наполовину; исследование, вовсе игнорирующее эти законы, не имеет вообще никакой цены» [Абаев 1933: 7–8].

<sup>12</sup> Английское слово *fuck* "coire" можно также сопоставить с и.е. \*(s)pieu-/poi- "лить



качестве типологических параллелей можно указать на следующие: др.-сев. *heytil* "Zeugungsglied des Hengstes", но тох. В *peti*, А *poto* "Verehrung" [Pokorny 1959 : 114]; др.-инд. *bhaga* "vagina", но русск. *бог*; индо-арийск. *sāpa* "penis", но *sap* "ehren, hochhalten" лат. *future* "coire", но и.-е. \**kuyent-* "holy"; др.-инд. *serdan* "coire", но др.-инд. *śri* "mächtig"; "Pracht, Majestät, Schönheit", др.-инд. *sartha* "sinnovoll; bedeutsam" (Божественный Разум олицетворял Божество). С другой стороны, английское слово *fuck* можно соотнести с англ. диал. *fike* "to move restlessly"; швед. *fika* "to make restless movements"; исл. *fika* "to climb up nimbly, as a spider"; дат. диал. *fige* "to hasten, to hurry". Однако значение "двигаться" не является для всех этих слов первичным: более ранним является значение "рвать, разрывать" (ср. и.е. \**pek-* "rupfen, zausen"). Типологически соотношение значений "рвать, разрывать" > "двигаться" можно проиллюстрировать следующими примерами: и.-е. \**lek-* "zerreißen", но и.-е. \**leig-* "hüpfen, springen", \**leg<sup>h</sup>-* "sich bewegen"; и.-е. \**kel-* "zerreißen", но и.-е. \**kel-* "sich bewegen"; \**aik-* "mit einer spitzen Waffe treffen", но и.-е. \**aig-* "sich heftig bewegen" и др. В свою очередь и.-е. корень \**pek-* "rupfen, zausen" представляет собой образование с преформантом от и.-е. корня \**ak-* "scharf"; "schneiden" (ср. и.-е. \**ak-* "scharf" но шведск. *aka* "fahren, sich bewegen"). Ср. и.-е. корень \**ak-* "scharf" с другими преформантами: и.-е. \**bhak-so* "beat, ram, thrust" [Mann 1985 : 62]; \**dak-* "bite, tear, gnaw" [Mann 1985 : 131]; \**lak-* "tear, rip" [Mann 1985 : 660]; \**mak-* "kneten, drücken"; \**reig-* "break, tear"; \**sek-* "schneiden"; \**tako-* "touch, hit, break". Важно иметь в виду, что понятие разрыва (в частности, разрыва от удара) в мифопоэтическом мышлении символизировало т в о р е н и е и р о ж д е н и е [Топоров 1996], а понятие движения, тесно связанное с понятием разрыва, символизировало божественные перевоплощения и превращения (рождение считалось божественным перевоплощением).

А.С. Либерман отмечает, что входящие в устанавливаемые им идеофонические группы слова "возникают друг от друга целиком" (sic!) (с. 124), а не восходят к единому корню и не образуются с помощью расширителей, суффиксов и аффиксов<sup>13</sup>. Но какова та

"новая" схема исследования, которой А.С. Либерман заменяет "старую"? Она ни в чем не отличается от "старой" с той лишь разницей, что А.С. Либерман ориентируется не на те корни, которые бесспорно установлены наукой, а на другие "корни", а именно те, которые без достаточных на то оснований придумал сам А.С. Либерман. Правда, обычные корни А.С. Либерман называет "общей частью слова", которая представлена со всеми ступенями аблаута и с "распространителями" (это – те же детерминативы) – дентальным, лабиальным, велярным. При этом, сам того не замечая, А.С. Либерман путает термин "общая часть слова" со столь ненавистным ему термином "корень". Постулируя на с. 122 свой идеофон *f-k*, он пишет: "В к о р н е *f-k* (sic!) варьируют не только гласные, ... но и согласные". Как показывают специальные исследования, детерминативы не являются "пустыми" формативами, которыми можно пренебречь. Напротив, детерминативы в составе слова тесно взаимодействуют с корнем и с преформантами – носителями иерархически неодинаковых "внутрисловных энергий"; они могут влиять на изменение значения слова или обусловить невозможность семантических изменений, нейтрализацию или катализ части значений, а также перераспределение внутрисловных "энергий" [Сукиасян 1984; Туманян 1978]. При этом весьма важно соотношение и взаимодействие количественного и качественного состава слова и его комбинаторных параметров (детерминатив – существенная часть комбинаторики слова, как и преформант или корень). Вот почему опора лишь на идеофонию при этимологизировании не только упрощает, но и искажает историю слова, подменяя исторические процессы синхроническими напластованиями, заслоняя истинное и глубинное наносным и преходящим.

А.С. Либерман обращает особое внимание на то, что в постулируемых им идеофонах могут быть и н ф и к с ы, ссылаясь при этом на работу Де Фриса 1959 г. Однако ему, видимо, не известна основополагающая работа об инфиксах в индоевропейском Х. Карстина [Karstina 1971].

Тот факт, что определенные английские слова зафиксированы в текстах лишь в XVI–XVII веках, не дает нам права исследовать эти слова фоносемантическими методами:

(сперму); поить (спермой)" (ср., с другой стороны, и.е. \**pujos* "vulva" [Mann 1985: s.v.]).

<sup>13</sup> А.С. Либерман пишет: "После долгих

колебаний я решил не ссылаться на корни типа тех, которые даны у Покорного" (с. 124).

эти методы, за редкими и несущественными исключениями, вообще неприменимы в этимологии как исторической дисциплине. Следует иметь в виду, что слова, зафиксированные только в текстах того или иного периода, вполне могли существовать в языке до этого периода.

Говоря о постулируемом им идеофоне *f-k*, А.С. Либерман отмечает, что «если бы исследовались не английские слова, а зафиксированные сравнительно недавно, а индоевропейские прилагательные, существительные и глаголы, то был бы выделен корень \**fi-* "движение в разные стороны"». В индоевропейском по известным фонетическим соображениям вообще не могло быть корня \**fi-* (можно представить себе корень \**pei-*, но он имеет другое значение).

Интересно, что при оценке своих собственных этимологий и этимологий своих коллег А.С. Либерман пользуется двойным стандартом: достоверность этимологий своих коллег он "критикует" с точки зрения их соответствия основным параметрам сравнительно-исторического анализа (в той мере, в которой А.С. Либерман владеет этим методом), но достоверность своих собственных этимологий А.С. Либерман оценивает только с точки зрения фоносемантики, причем он всячески подчеркивает, что он **о т к а з ы в а е т с я** от основных понятий и процедур индоевропентики. Бросается в глаза предвзятость, надуманность доводов А.С. Либермана. Он не приводит никакой серьезной научной аргументации, ставящей под вопрос или исключаяющей возможность тех или иных этимологических сближений, которые он "критикует", не приводит какого-либо нового, ранее не известного индоевропейского материала, в свете которого "критикуемая" им этимология представляла бы как совершенно не имеющая под собой почвы (или этимон этимологизируемого слова представлял бы в ином ракурсе). У А.С. Либермана всегда одна и та же "аргументация", когда он "критикует" этимологические решения своих коллег: "я такого соотношения значений не встречал", "вряд ли можно сближать такое-то значение с таким-то", "я не вижу ничего общего между значениями сопоставляемых слов". Субъективности подобной "аргументации" не нуждается в комментариях: необходимы не беспочвенные заявления, но реальные, документированные доказательства. Отметим, что А.С. Либерман никогда не дает самостоятельной этимологии тех слов, анализ которых он "критикует" у своих коллег.

В отношении так называемых "новых" корней (или "общих частей слова") А.С. Либермана, у специалиста сразу возникает целый ряд вопросов. Всегда ли те слова, которые подводятся А.С. Либерманом "под одну шапку", имели ту форму и значение, которые представлены в современном английском языке? В чем преимущество "новых" корней по сравнению со "старыми"? Можно ли все слова английского языка (или большую их часть) "загнать" в идеофонические наборы и как исследовать те слова, которые в такие наборы не умещаются? А.С. Либерман говорит, что "абсолютно изолированные слова" (т.е. слова, не укладывающиеся в идеофонические группировки) якобы не составляют большинства (с. 123).

Наборы слов, постулируемые А.С. Либерманом, известны лингвистам очень давно. Можно указать, например, на собрание идеофонов типа *tex*, которые приводит В.И. Абаев со значением "круглый, выпуклый, вздутый" [Абаев 1979 : 331-334]. Важно иметь в виду, что ни один индоевропейский язык не может полностью или хотя бы в большой степени состоять только из идеофонов. К тому же этимологизирование на основе идеофонов в значительной степени становится невозможным, если учесть такие явления, как мена согласных в начале слова, опускание преформантов в начале слова, тмезис.

"Этимологизация" на основе звуко-образительных слов, как уже говорилось, типична для эпохи Античности и Средних Веков, но в наше время такая "этимологизация" является анахронизмом и может вызвать лишь улыбку лингвиста, хотя, конечно, "этимологизировать" на основе идеофонов намного легче, чем на основе сравнительно-исторического метода, и требует значительно меньше специальных знаний [Bech 1921; Klinck 1971; Pinborg 1961; Reitzenstein 1964; Woodhead 1928].

Отметим, наконец, что в разделе "Литература" в конце статьи А.С. Либермана имеется ссылка на работу М.М. Маковского "Теория лексической аттракции". А.С. Либерман ссылается на два издания этой работы — 1971 г. и 1977 г. Книга М.М. Маковского издавалась только в 1971 г.; в 1977 г. эта книга не издавалась.

Далее в первом номере рецензируемого журнала следует рубрика "Школы и направления в лингвистике. Из истории языкознания". Здесь помещены статьи В.В. Колесова "К характеристике методологических основ петербургской русистики", Д.Н. Чердакова "А.С. Шишков и А.Х. Восто-

ков: к вопросу о соотношении старого и нового в истории отечественной филологии", статья В.С. Храковского и А.К. Оглобина "Школа А.А. Холодовича", статья Л.В. Бондарко "Фонетика и лингвистика (к 65-летию кафедры фонетики)", Л.Р. Зиндера "В.М. Жирмунский и островная диалектология" и М.И. Стеблина-Каменского "Экзамен у Щербы" (с. 100–198). Первый выпуск журнала завершается "Хроникой".

Во втором номере журнала "Язык и речевая деятельность" за 1999 г. в рубрике "Вопросы общей теории и синхронного описания языков" опубликованы статьи Т.де Граафа "Лингвистические базы данных и языковые меньшинства по обеим сторонам Северного Тихоокеанского Пояса", исключительно интересна статья В. Бичакджяна "Language diversity and the straight flush pattern of language evolution" (с комментарием В.Б. Касевича и Н.Н. Казанцева), а также статьи В.М. Павлова "Слитное и раздельное написание в немецких текстах XX века – словосложение и синтаксис". В.Б. Касевича "Язык, этнос и самосознание", Р.Ф. Фрумкиной «Когнитивная лингвистика или "психоллингвистика наоборот"?»; указанная выше статья А.С. Либермана, статья М.К. Сабанеевой "Эпистематическая модальность высказывания в ракурсах прагматики и формальной логики", статья К. Гора "Influence of second language orthography and morphology on interlanguage phonology" и статья Л.В. Зубовой "Лингвистический эксперимент современной поэзии с категорией рода". В разделе "Диахроническая лингвистика" опубликованы статьи И.М. Дьяконова "Древнейшие семиты: социолингвистическая реконструкция", статья Ю.А. Клейнсера "Закон Сиверса (германские языки)", статья К. Гоблириша "The mechanism of consonant shift in Germanic" и статья А.В. Циммерлинга "Древнегерманский как язык SOV?". Номер завершается разделом "Направления и школы в лингвистике. Из истории языкознания". Здесь напечатаны следующие статьи: Л.Р. Зиндер, Т.В. Строева, "ИРК и советское языкознание 20–30-х годов"; И.С. Иванова "Начало изучения детской речи в русской лингвистической традиции", В.М. Энгельгардт "Теория словесности в лингвистической системе А.А. Потебни" и др. В "Кратких научных сообщениях и материалах" помещены статьи А.И. Моисеева «"Урочище". Историко-этимологическая заметка», А.В. Павлова "О речи русских в Германии" и В.М. Сардушкина "К проблеме грамматической категории рода в албанском языке".

Как видно из нашего обзора, в новом лингвистическом журнале поднимаются и

обсуждаются актуальные лингвистические вопросы, а авторами статей являются известные российские и зарубежные специалисты. Хотелось бы пожелать, чтобы новый журнал стал еще одним центром кристаллизации и циркуляции лингвистических идей на благо российской и мировой науки.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абаев В.И.* 1933 – О "фонетическом" законе // Язык и мышление. I. М., 1933.
- Абаев В.И.* 1979 – Историко-этимологический словарь осетинского языка. III. М., 1979.
- Джонс-Блей К.* 1997 – Женщины и война в индоевропейском мире // Стратум: Структуры и катастрофы. Сборник символической индоевропейской истории. СПб., 1997.
- Маковский М.М.* 1998 – Метаморфозы слова (табуирующие маркеры в индоевропейских языках) // ВЯ. 1998. № 4.
- Маковский М.М.* 2000 – Историко-этимологический словарь современного английского языка. М., 2000.
- Сукиасян Г.В.* 1984 – Детерминативы в армянском языке. Дис. ... канд. филол. наук. Ереван, 1984.
- Топоров В.Н.* 1996 – Об одном парадоксе движения // Концепт движения в языке и культуре. М., 1996.
- Тумянц Э.Г.* 1978 – Структура индоевропейских имен в армянском языке. М., 1978.
- Эдельман Д.И.* 1975 – К генезису вигезимальной системы числительных // ВЯ, 1975, № 5.
- ЭССЯ 1983 – Этимологический словарь славянских языков. 10. 1983.
- Aliti A.* 1989 – Die wilde Frau. Rückkehr zu den Quellen weiblicher Macht. Berlin, 1989.
- Bech H.* 1921 – Etymologie und Lautbedeutung im Lichte der Geisteswissenschaft. Stuttgart, 1921.
- Chevalier J., Gheerbrant A.* 1982 – Dictionnaire des symboles. Paris, 1982.
- Estés C.P.* 1992 – Women running with the wolves. Myths and stories of the wild woman archetype. New York, 1992.
- Éliade M.* 1938 – La concezione della libertà nel pensiero indiano // ASA, 1938.
- Jankuhn H., Beck H.* 1973 – Axtkult // Reallexikon der germanischen Altertumskunde. I, Berlin, 1973.
- Karstien H.* 1971 – Infixe im Indogermanischen. Heidelberg, 1971.

- Klinck R.* 1971 – Die lateinische Etymologie des Mittelalters. München, 1971.
- Mann S.* 1985 – An Indo-European comparative dictionary. Hamburg, 1985.
- Panizza O.* 1978 – Das Schwein in poetischer, mythologischer und sittengeschichtlicher Sicht. Berlin, 1978.
- Paul-Stengel C.* 1986 – Schlangenspuren. Reptilien in der Kulturgeschichte. Berlin, 1986.
- Pinborg J.* 1961 – Interjektionen und Naturlaute. Petrus Heliae und ein Problem der antiken und mittelalterlichen Sprachphilosophie // *Classica et Mediaevalia*. 1961. Bd. 22.
- Pokorny J.* 1959 – Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.
- Quanter R.* 1925 – Das Weib in den Religionen der Völker. Berlin, 1925.
- Reitzenstein R.* 1964 – Geschichte der griechischen Etymologika. Amsterdam, 1964.
- Wagner D.* 1970 – Die Schlange im Kult, Mythos und Vorstellung. München, 1970.
- Walker B.* 1985 – The woman's encyclopedia of myths and secrets. San Francisco, 1985.
- Woodhead W.D.* 1928 – Etymologizing in Greek literature from Homer to Philo Judaeus. Diss. Chicago, 1928.
- Zötsch C.* 1989 – Powergirls und Drachentöchter. Berlin, 1989.

*М.М. Маковский*

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

27 сентября – 1 октября 1999 года в университете г. Инсбрук (Австрия) состоялось очередное заседание Международной комиссии по славянскому словообразованию. Заседание проходило при финансовой поддержке Федерального Министерства науки, правительства Земли Тироль и ректората университета. В работе комиссии приняли участие ученые из Австрии, Белоруссии, Болгарии, Германии, Польши, России, Словакии, Франции.

На заседании обсуждались проблемы взаимоотношений словообразования с другими языковыми уровнями: лексикой, морфологией, синтаксисом, фонетикой.

В докладе председателя комиссии И.С. Улуханова (Россия) "Несловообразовательные ограничения словообразовательных процессов" отмечалось, что подавляющее большинство свойств мотивирующей единицы, определяющих ее соединение с формантом, относится не к словообразованию, а к другим сферам языка. Анализируя эти свойства, И.С. Улуханов обратил внимание на особую роль, которую играют в русском словообразовании грамматические значения рода мотивирующих существительных и вида глагола. К числу стилистических ограничений относится трудность соединения в одном слове книжных и разговорных единиц. Возможны и синхронно-диахронические ограничения – "взаимное тяготение" частей слова, обладающих определенными диахроническими свойствами (например, сочетаемость заимствованных мотивирующих слов и формантов). Наиболее распространенным морфологическим ограничением является количество и качество фонем на стыке мотивирующей части и форманта. Е.С. Кубрякова (Россия) в докладе "Словообразование и другие уровни языковой системы в струк-

туре номинативного акта" убедительно аргументировала положение о том, что связи словообразования нельзя ограничивать его отношением к другим уровням языка, ибо не менее интересно и плодотворно рассмотрение связей словообразования с общими принципами организации языка и с главными функциями самой языковой системы. Изучаемый ранее по структуре его протекания номинативный акт следует рассматривать как акт *семиозиса*, что предполагает описание семантических, синтаксических и прагматических измерений языкового знака. В докладе доказывается, что такое описание позволит связать все отличительные черты производного слова с его интерпретантой, т.е. той серией интерпретаций, которые даются соответствующему производному знаку на разных уровнях. Анализируя традиционные подходы к решению вопроса о месте словообразования в системе языка, С. Менгель (ФРГ) в своем докладе предприняла попытку найти "третий путь" для определения его места. Словообразование предлагается рассматривать как структурирующее соединение между "грамматическими уровнями" (морфология и синтаксис), с одной стороны, и лексическим уровнем, с другой стороны. Такой подход, по мнению С. Менгеля, отражает особое место словообразования в системе языка, его надуровневый, "проникающий" характер.

Значительное число докладов, прочитанных на заседании Комиссии, было посвящено проблемам взаимоотношений словообразования и синтаксиса. Ю. Балтова (Болгария) подчеркивала в своем выступлении, что между словообразовательными и синтаксическими правилами не существует функциональных различий, что производное слово нельзя изучать и описывать изолированно от предикатно-аргументных структур.

Сходное мнение было высказано Й. Реке (ФРГ), который говорил о

тождестве функций словообразования и синтаксиса: функция синтаксиса — это связывание слов и словоформ, функция словообразования — это связывание единиц языка на уровне слова. К. Клещова (Польша), рассматривая дериваты как единицы текста, которые вступают в отношения с другими его компонентами, проанализировала явление анафорической номинализации в польском языке и показала, каким образом различия в способе определения аргументов порождают различные словообразовательные категории.

Проблемы взаимодействия словообразования и синтаксиса в аспекте соотношения понятий "транспозиция", "синтаксическая деривация" и "номинализация" были затронуты К. Бузашиовой (Словакия). Анализируя структуру словацких синтаксических дериватов, она указала на естественность их замены в тексте параллельной конструкцией с придаточным предложением. В докладе выявлено влияние структуры и семантики синтаксического деривата на способы номинализации. Формулируя основные исследовательские задачи в области семантики глагольного приставочного словообразования в русском языке, Д. Паяр (Франция) подчеркивал необходимость анализа семантического взаимодействия приставки с глагольной основой и с целым высказыванием. Значение приставочных глаголов — закономерный результат сложения и взаимодействия значений приставки, глагольной основы и контекста — он предложил описывать как некую устойчивую "языковую референциальную сцену". В докладе "Устойчивые глагольно-именные сочетания и производные аффиксации как способ представления глагольной семантики", сделанном А. Никитичем (Белоруссия), были изложены результаты синхронно-диахронического исследования, ориентированного на описание словообразовательных единиц в их взаимодействии с деривационно-родственными конструкциями более высокого уровня, рассмотрены различные типы аффиксации и аналитизма в русском языке.

Связи словообразования с морфологией и морфонологией анализировались в докладах Г. Елитте, О.П. Ермаковой, Л. Селимского, А. Лукашанца, Х. Кальба, Г. Елитте (ФРГ) говорил об аналогии в словообразовании и морфологии, о принципах описания этого явления в русской и немецкой лингвистике. В докладе О. П. Ермаковой (Россия) обсуждался вопрос о том, является ли образование наречий типа *сбоку* результатом аффиксации или нейтра-

лизации на уровне морфологии. А. Лукашанец (Белоруссия) изложил результаты анализа особенностей грамматической маркировки словообразовательных объектов на материале белорусских отглагольных существительных, указывая на целесообразность использования количественного критерия. Доклады Л. Селимского (Болгария) и Х. Кальба (Австрия) были посвящены анализу некоторых морфонологических альтернатив в болгарском и хорватском языках в сопоставлении с другими славянскими языками.

Особенности взаимодействия словообразования с фонетикой и фонологией анализировались в докладах В.Н. Виноградской и А. Нагурко. Анализируя приемы русского поэтического словотворчества, В.Н. Виноградской (Россия) показала, что звуковой повтор может формироваться употреблением слов одной структуры, а также однокоренных слов или сближаемых паронимически с ними немотивированных слов. А. Нагурко (Польша) рассмотрела механизм фонологических альтернатив, сопутствующих образованию в польском языке существительных с уменьшительно-ласкательным значением.

О роли словообразования в составлении переводных словарей и в обучении языку говорили в своих выступлениях Р. Беленчикова и И.Г. Милославский. Р. Беленчикова (ФРГ), автор проекта "Русско-немецкий словарь новой русской лексики", подчеркнула, что производность части словарных единиц может и должна учитываться при отборе словника, в структуре словарной статьи, в семантизации словарных единиц, в системе отсылок и аппарате приложений. И.Г. Милославский (Россия) затронул проблему использования достижений теоретического языкознания в практике обучения языку. Он отметил, что учение о морфемном составе слов может быть использовано при обучении рецептивным речевым действиям (чтению), а учение о словообразовательных отношениях может помочь в формировании навыков активных речевых действий (говорения).

Вниманию участников заседания М. Соколовой (Словакия), автором-составителем, был представлен новый морфемный словарь словацкого языка. Обсуждались принципы построения этого словаря, вопрос о статусе словообразовательных и формообразующих морфем в его концепции. Ю. Фурдик (Словакия) проанализировал вопрос о месте словообразования в комплексе исследовательских проблем общего языкознания. В докладе Г.П. Нещи-

м е н к о (Россия) был рассмотрен механизм воздействия тенденций вариативности и экономии языковых средств на словообразовательные процессы в русском и чешском языках.

Проблема морфемной членимости русских суффиксальных производных с "затухающей" синхронной мотивированностью была затронута в докладе М. Феррана (Франция). Е.И. Коряковцева (Россия) в своем докладе предложила методику словообразовательного анализа слов с частичной мотивированностью, которая предполагает выделение и последующее сравнение семантических компонентов у производных и производящих слов. Б. Крея (Польша) анализировались проблемы генезиса словообразовательных типов польских фамилий: им были выделены серии с характерными формантами, определены особенности действия структурно-словообразовательной аналогии.

На заключительном заседании И. Онхайзер (Австрия) была представлена концепция тома "Словообразование" из

4–8 октября 1999 г. в Крыму, в Ялте, проходила VI Международная конференция по функциональной лингвистике "Функциональная лингвистика: Язык. Культура. Общество", организованная Институтом языковедения им. А.А. Потебни, Таврическим Национальным университетом им. В.И. Вернадского и Отделением языка и литературы РАН.

В работе конференции приняли участие лингвисты из Украины, России, Латвии. Были заслушаны и обсуждены 27 докладов по четырем основным направлениям: 1) функциональное осмысление естественного языка и его единиц; 2) речевое взаимодействие как основная форма социального взаимодействия; 3) функционирование языковых единиц в текстах различных жанров; 4) язык и социум: языковая политика и языковая ситуация в странах СНГ.

Во вступительном слове член Оргкомитета конференции проректор Таврического Национального университета А.Н. Рудяков о в (Симферополь) отметил, что функционализм как направление лингвистической мысли существует давно: уже участники Пражского лингвистического кружка декларировали необходимость изучать естественный язык в действии, в реальном процессе коммуникации. От них ведет свое начало традиция отождествления функционального

серии "Najnowsze dzieje języków słowiańskich" под редакцией Ст.Гайды, рассматривалась целесообразность учета положений когнитивной лингвистики о статусе инноваций и применения понятия "тенденция" в качестве *tertium comparationis*. В результате обсуждения этой концепции частично был перестроен план тома "Словообразование", уточнены термины, используемые при описании словообразовательных явлений.

В своем заключительном выступлении председатель Комиссии И.С. Улуханов от имени всех присутствующих поблагодарил И. Онхайзер, Директора Института славистики Инсбрукского университета, за прекрасную организацию работы Комиссии, заседание которой проходило в творческой атмосфере. Материалы заседания Международной комиссии по словообразованию будут опубликованы в серии "Slavica Aenipontana" (том 8).

*Е.И. Коряковцева (Москва)*

подхода с коммуникативным. Однако сегодня, подчеркнул А.Н. Рудяков, становится очевидным тот факт, что наблюдение за функционированием субстанциональных элементов не исчерпывает сути функционального подхода к языку. Настала пора перехода от сосюрловской семиотической парадигмы с ее производной от формальных различий ярусностью, с ее принципиальной таксономичностью, с присущей ей традицией раздельного изучения означаемого и означающего знака к парадигме функциональной. Исследование и моделирование языка на основе лингвистического функционализма – главное направление ставших традиционными Ялтинских конференций.

В.Н. Абашина (Львов) в докладе "Сложноподчиненное предложение в аспекте его семантико-коммуникативной структуры" сосредоточила основное внимание на выяснении соотношения между такими категориями, как главная / придаточная часть сложноподчиненного предложения, ассерция / пресуппозиция, тема / рема. В докладе подчеркивалось, что корректное определение основных составляющих общепропозитивной семантики рассматриваемых синтаксических конструкций позволяет выявить их коммуникативную структуру, эксплицитно представляемую тем или иным типом актуального членения.

В совместном докладе "Семантико-синтаксическая дифференциация локатив-

ной синтаксемы" Т.Е. Масицкая и И.А. Пасичник (Луцк) предложили разграничивать среди локативных синтаксем в украинском языке статические и динамические. Выделенные типы, по мнению авторов, отличаются, во-первых, тем, с какими лексико-семантическими разрядами предикатов они способны соединяться, во-вторых, какую морфологическую форму используют при функционировании в предложении.

С докладом на тему "Рече-экспрессивные метаморфозы украинского предложения" выступил А.А. Загнитко (Донецк), исследовавший особенности парцелляции украинского простого и сложного предложения. Говорилось о закономерностях соотношения / несоотношения парцелляции с общими направлениями синтаксической сегментации, впервые рассматривалась проблема синтаксической бифуркации (прямой и опосредованной). Ее сущность состоит в художественно-эстетическом (ситуативно-речевом) членении единого предложения на два или больше (отсюда и понятие "полифуркация") самостоятельных текстообразующих компонента с собственными текстоцентрическими связями и внутритекстовыми смысловыми отношениями бифуркантов и полифуркантов. Было проанализировано отличие бифуркации от присоединения и прокомментирован статус бифуркативных (полифуркативных) конструкций в современной украинской поэтической речи.

В докладе Е.Н. Ремчуковой (Москва) "Экспрессивные модели в грамматике" была представлена типичная комбинаторика грамматических компонентов как средство достижения экспрессии и гиперэкспрессии текста. Демонстрировались случаи отклонения от стандарта, предполагающие нарушение нормы на уровне парадигматических и синтагматических связей. Было показано, что экспрессивность минитекста создается и "усилиями" собственно морфологических значений, и их комбинаторикой с лексическими и словообразовательными значениями. Случаи, когда подобное "нанизывание" сочетается с аллюзией или инверсией, что типично для современной авангардной поэзии и газетных заголовков, были отнесены к гиперэкспрессии. Анализ подобных средств создания экспрессивности текста позволяет выявить закономерности лингвокреативного мышления и творческие возможности грамматики.

В докладе О.Г. Ровновой (Москва) "Об этнокультурном компоненте в значении

грамматической формы", основанном на материале русских говоров, рассматривался вопрос об этнокультурной информации, которая отражает особенности восприятия времени в традиционной крестьянской культуре и носителем которой могут выступать видовременные формы глагола. Широкая употребительность в диалектной речи форм настоящего исторического, по мнению докладчика, обуславливается рядом факторов, таких как устность крестьянской культуры, ее традиционализм, отражение циклической модели времени и некоторые другие.

Е.С. Попович (Одесса) сделала доклад "Многофункциональность языковых единиц английского языка", сосредоточив основное внимание в нем на методических приемах разграничения многофункциональных глаголов *to have* и *to be*, которые могут выступать как смысловые, модальные, вспомогательные и глаголы-связки.

В докладе Т.П. Сазыкиной (Одесса) "Грамматическое содержание имени существительного в английском языке" анализировались различные точки зрения на грамматическую семантику имени существительного русских и английских грамматистов. Имена существительные трактовались как слова, репрезентирующие качественно специфические субстанции. Было отмечено, что в английском языке морфологическими и синтаксическими характеристиками имени могут наделяться не только отдельные слова, относящиеся к другим частям речи, но и различные сочетания слов, даже не содержащие существительное.

И.В. Диманте (Рига) посвятила свой доклад "К вопросу о префиксоидных образованиях" актуальной для современного словообразования проблеме статуса элементов *сверх-*, *между-*, *против-* и под. Сравнивались попытки решения этой проблемы в русистике, германистике, латышской лингвистической литературе и подчеркивалась необходимость выработки строгих критериев разграничения префиксов и префиксоидов.

Доклад О.И. Миглинец (Ужгород) "Функциональные особенности префиксальных ономазиологических категорий" посвящался анализу функционирования префиксальных производных в английском языке. На материале американских газет рассматривались продуктивность различных словообразовательных типов, употребительность в текстах префиксальных образований, особенности сочетаемости префиксов с основами разных типов. Докладчик сделала вывод, что в сфере американской



газетной коммуникации наиболее активны префиксальные производные со значением локативности, отрицания, контрарности, оценочности и фазовости.

Ю.А. Каминская (Москва) прочитала доклад "Об образной природе фразеологизмов, включающих в свой состав слова — названия растений". Рассмотрение данных фразеологизмов в разных аспектах (с точки зрения их генезиса, частеречных характеристик, стилистической маркированности, оценочности, наличия коннотаций и проч.) позволило выявить различные стороны их образности, определить семантический потенциал изучаемых слов и установить типологию семантических процессов, характерных для этого лексического класса.

В.И. Шульгина (Черкассы) в докладе "Синонимия как результат трансформационных процессов" предложила рассматривать соотношение поверхностной структуры относительных имен прилагательных с их глубинной структурой как один из типов синонимии, обозначая этот тип как функционально-трансформационный. При этом особое внимание было уделено таким относительным прилагательным, образование которых детерминировано действием универсального закона экономии языковых средств.

В докладе Т.А. Космеды (Львов) "Прагмалингвистика и терминология переводоведения" шла речь о работе над созданием русско-украинского и украинско-русского толкового словаря переводоведческих терминов, перечислялись принципы его составления, характеризовалась структура и объем словаря. Особое внимание уделялось анализу терминов, определяющих типы перевода и требующих обязательного учета прагмалингвистического аспекта, приводились убедительные и яркие примеры. Названный словарь является первым опытом создания подобного словаря в украинской лексикографии.

В докладе М.Т. Поповой (Москва) "Некоторые наблюдения над сильной (полной) редукцией слога" были рассмотрены случаи сильной (до нуля звука) редукции фрагментов слова в русской разговорной речи. Докладчиком выделены несколько групп сильноредуцированных форм, сделан вывод о лексикализации некоторых из них, проанализированы возможные причины появления таких форм в речи.

О.С. Иссерс (Омск) в докладе "Речевые действия в потенциально конфликтных ситуациях: такт и тактики" рассмотрела приемы обучения речевым действиям в аспекте коммуникативных стратегий и

тактик. В центре внимания находились ситуации, угрожающие взаимоотношениям коммуникантов. Именно они представляются наиболее сложными в плане практической риторики. Была предложена типология тактик, позволяющих высказать критическое суждение и в то же время избежать коммуникативной неудачи. Предложенные коммуникативные решения могут служить основой для планирования речевого взаимодействия и формирования навыков эффективного общения.

Доклад И.В. Воробьевой (Москва) "Обучение дискуссии на младших курсах технического вуза" посвящался вопросу включения в программу спецкурса "Культура речевого общения" на младших курсах технического вуза раздела "Основы риторики" с заключительной дискуссией в рамках публицистического стиля (ораторский подстиль). Был описан конкретный опыт и результаты проведения учебной дискуссии.

В докладе А.В. Занадворовой (Москва) "Домашние номинации и социальная структура семьи" анализировалась специфика функционирования языка в малой социальной группе. Рассматривались процессы возникновения и особенности употребления домашних номинаций. "Расслоение" семейного языка было проиллюстрировано на примере прозвищ и обращений членов семьи друг к другу.

Доклад Т.А. Гаврилюк (Киев) "Типы взаимодействия экстралингвистических и лингвистических факторов" был посвящен механизмам взаимной связи языка и человека. Понимая под "носителем языка" индивида, социальную группу и общество в целом, докладчик рассмотрела взаимодействие языка и человека на этих трех взаимосвязанных уровнях. Были проанализированы непосредственные и опосредованные факторы данного взаимодействия и сделан вывод о важности их изучения для установления причин происходящих в языке процессов.

В докладе Е.Т. Дерди (Ужгород) "Экстралингвистические факторы влияния на развитие английской юридической терминологии" была сделана попытка периодизации тех процессов, которые оказались определяющими в становлении системы юридической терминологии английского языка. Докладчик продемонстрировала, как существующая в тот или иной период исторического развития Англии система правовых понятий влияла на пополнение корпуса юридических терминов.

Е.А. Панова (Москва) в докладе "Повтор в поэтической речи: к вопросу о классификации" подчеркнула, что при клас-

сификации словесных повторов необходимо последовательно учитывать соотношение звучания и значения. В соответствии с этим можно выделить случаи симметрии (полному или частичному повтору звуковой оболочки соответствует полный или частичный повтор смысла) и асимметрии (несоответствие между звучанием и значением). Симметричный и асимметричный повтор имеет свои разновидности, которые и рассматривались в докладе.

Г. К л и щ у н и Я. Ч е р н е н ь к и й (Львов) в совместном докладе "Окказиональное слово в современной украинской поэзии" представили результаты своих наблюдений за словотворчеством современных украинских поэтов. Окказиональные словоупотребления, которые оказываются не единичными в идiosтиле того или иного поэта, требуют, по мнению авторов, не только лексико-семантического и словообразовательного анализа, но и лексико-графической обработки.

В докладе И.А. К у р д ю м о в о й и М.И. К р у л ь к е в и ч а (Донецк) "Язык рекламы профессионального образования: социо-психолингвистический аспект" были представлены некоторые результаты разработки методических основ изучения языковой ситуации в Донбассе. Исходя из того, что культурно-языковая картина мира отражается на разных языковых уровнях, в разных стилях и жанрах, авторы проанализировали в социо-психолингвистическом аспекте тексты рекламы профессионального образования высших и средних учебных заведений Донецкого региона. Была выявлена специфика данных текстов, отражающих не только социо-культурные аспекты жизни общества, но и особенности восприятия их носителями языка; обосновывался вывод о том, что в выборе коммуникативно-прагматических средств языка тексты рекламы профессионального образования выявляют не только динамизм, но и устойчивое равновесие.

Конференция отразила заинтересованное внимание ее участников к проблемам языкового строительства, языкового обустройства и языковой политики в Эстонии, Латвии, Литве, Украине и др. Так, К.П. С м о л ь н а в докладе "Русский язык: его состояние и функционирование в Российской Федерации, в странах СНГ и Балтии как приоритетное направление в государственной политике Российского государства" остановилась на актуально значимых проблемах государственности национальных языков, соотношении титульных национально-государственных языков с русским, акти-

визации / пассивизации их взаимодействия. Как правило, пассивизация обуславливается переходом национально-государственного языка на другую графику (молдавский, азербайджанский), рядом политических действий: расширением применения национально-государственных языков, приданием им приоритета в системе среднего и высшего образования и др. Значительное внимание было уделено развитию и пополнению словарного состава русского языка, приводились примеры наполнения старых слов новым смыслом, особо выделялась проблема целесообразности / нецелесообразности употребления некоторых заимствований.

А.М. Н а у м е н к о (Запорожье) в докладе "Феномен культуры и языковая ситуация в Украине" предостерегал от разрушительного, с точки зрения докладчика, влияния украинской англо- и немецкоязычной диаспоры, отождествляющей украинский язык с украинской культурой, на языковую ситуацию в Украине.

В докладе Е.А. П о д о л ь с к о й, А.А. Я к о в л е в а (Харьков) "К вопросу о распространении украинского языка в сфере образования" шла речь о статусе украинского языка, его значении в самоидентификации его носителей. Были затронуты проблемы соотношения русского и украинского языков на Украине, рассматривался вопрос о степени владения последним представителями других национальностей, проживающими на Украине. Выступающие уделили внимание направлениям ассимиляции украинцев, которые проживают в Казахстане, Киргизии, России. Интересным является тот факт, что только 42,8% украинцев – жителей России – сохранили свой родной язык. Е.А. Подольская, А.А. Яковлев пришли к выводу о высоком европейском уровне Закона Украины "О языках", поскольку Закон недвусмысленно предусматривает защиту языков, недопустимость любых привилегий или ограничений прав лиц по признакам языка.

Эта проблема нашла своеобразное развитие в докладе Н.К. П о д о л ь с к о г о, А.А. К а р д а ш (Харьков) "Языковая ситуация в Украине в контексте исторического опыта". С привлечением конкретных фактов и документов (указов, циркуляров, предписаний, записок, постановлений, резолюций) рассматривались этапы запрета украинского языка, вытеснения его из сферы образования, издательского дела и др. Сущность этих репрессий наиболее полно отражает выражение из Валуевского циркуляра от 1863 года: "украинского языка нет и быть не мо-

жет". Все это наложило существенный отпечаток на взаимопонимание двух народов. И хотя передовая русская интеллигенция и до 1917 года и после него делала многое для искоренения несправедливого притеснения украинского (в тогдашней терминологии малорусского) языка, репрессии украинского языка продолжались и в бытность Советского Союза. Подтверждением этого являются закрытые постановления партии, Советского правительства. Задачей сегодняшнего дня является недопустимость повторения ошибок прошлых лет на Украине по отношению к языкам национальных меньшинств.

Логическим развитием этой темы был совместный доклад В.П. Сидельникова, К.И. Васьенко (Донецк) "К проблеме языкового обустройства в Украине", в котором подчеркивалось, что языковая политика должна исходить из исторически сложившейся в стране национально-куль-

21–23 октября 1999 г. в Екатеринбурге прошло III совещание по русской диалектной этимологии, организованное на базе кафедры русского языка и общего языкознания Уральского университета (зав. кафедрой – чл.-корр. РАН А.К. Матвеев). Первое совещание было проведено уральскими лингвистами в 1991 г. при участии сотрудников Отдела этимологии Института русского языка РАН, а также преподавателей многих вузов России (информацию об этом см.: ВЯ. 1992, № 5), в 1996 г. исследователи диалектной лексики в этимологическом аспекте собрались второй раз (совещание проводилось при поддержке РГНФ – грант № 96–04–14049), и опубликованные материалы двух совещаний (Этимологические исследования: Материалы I–II науч. совещаний по русской диалектной этимологии, Екатеринбург, 10–12 октября 1991 г.; 17–19 апреля 1996 г. Екатеринбург, 1996. Вып. 6) показали, что их участников можно рассматривать как коллектив единомышленников, ищущий новые методики этимологической интерпретации русских диалектных лексем и местных географических имен.

Состоявшееся III совещание подтвердило это единство. В нем принял участие уже сложившийся круг этимологов: ученые вузов Барнаула, Екатеринбурга, Перми, Санкт-Петербурга, Томска, Тюмени и представители академической науки – сотрудники Отдела этимологии Института русского языка РАН (Москва), Карельского,

турной ситуации, основываться на национально-языковых и культурно-этнических традициях государства. При этом всегда языковое обустройство должно учитывать степень распространенности языков, их функции в обществе, а также опыт языкового строительства в других странах.

На конференции прошла также презентация книги академика О.Н. Трубачева "INDOARICA в Северном Причерноморье" (М., Наука, 1999). В своем выступлении О.Н. Трубачев рассказал об истории создания книги, о научных и житейских обстоятельствах, связанных с ее замыслом и последующей его реализацией.

Материалы конференции опубликованы в сборнике.

*А.А. Загитко (Донецк),  
О.Г. Ровнова (Москва)*

Санкт-Петербургского и Сибирского филиалов РАН. Программа включала 36 докладов, однако принять непосредственное участие в совещании смогли далеко не все, и в конечном счете было заслушано 26 докладов, из которых 10 – были сделаны гостями, в том числе приехавшим вне программы молодым ученым из Хельсинки Я. Саарикиви. Отсутствовавшие авторы были представлены в опубликованном сборнике тезисов (см.: Русская диалектная этимология: Тез. докл. и сообщ. Третьего научного совещания. 21–23 октября 1999 г. Екатеринбург: УрГУ, 1999; опубликовано благодаря финансовой поддержке РФФИ, грант № 96–15–98603), и, таким образом, их работы также становились предметом обсуждения на совещании.

Рабочая программа не предполагала распределения по секциям, однако доклады были скомпонованы в соответствии с их тематикой: первое заседание было посвящено общим вопросам этимологических исследований диалектной лексики и топонимии, затем прошли заседания по вопросам славянской этимологии, по вопросам этимологизации заимствованной лексики и по проблемам этимологизации топонимов и антропонимов.

Несмотря на такое разнообразие, можно говорить об определенной генеральной линии данного совещания, в которой проблемы этимологизации региональной лексики тесно переплетались с проблемами взаимодействия языков на территории Русского Севера, Урала и Сибири. Это чувствовалось уже на первом заседании, где главным собы-

тием стала оживленная дискуссия об источниках происхождения севернорусских субстратных топонимов, вызванная докладом А.К. Матвеева (Екатеринбург) "Опыт лингвострантической карты Русского Севера I". Развивая свою гипотезу об этнической специфике древнего населения юго-восточной зоны Русского Севера, уже нашедшую отражение в публикациях, в том числе и в журнале "Вопросы языкознания", автор дополнил и заострил аргументацию в ее пользу. В докладе А.Е. Аникина (Новосибирск), основанном на материалах созданного им "Этимологического словаря русских диалектов Сибири" и представляющем очередные дополнения к нему, проблемы взаимодействия народов и языков и связанные с ними задачи этимологической интерпретации диалектных лексем получили дальнейшее развитие: автор поставил вопрос о месте лексем, возникших путем калькирования, в этимологических словарях. Этот доклад и прозвучавший вслед за ним доклад М.Л. Гусельниковой (Екатеринбург) "Об определении калек в топонимии Русского Севера" создали базу для состоявшегося на следующий день "круглого стола", в ходе которого участники подчеркнули важность изучения калек в топонимии и диалектной лексике, а также необходимость включения этого специфического явления в сферу этимологических интерпретаций и отражения таковых в этимологических словарях. Особую активность при обсуждении проявили именно топонимисты, для которых топонимические метонимические калки и полукальки (типа *Линдручей*, *Ковжозеро*) являются индикаторами субстратных зон.

Продолжением размышлений об источниках современной топонимии и лексики Русского Севера стали доклады, посвященные этимологии заимствованных лексем и собственных имен. Так, О.В. Мищенко (Екатеринбург) представила детальную разработку доказательств финно-угорского влияния на возникновение русского диалектного номинативного словосочетания *вихорево гнездо* – названия болезненных уплотнений в кроне дерева. Н.В. Кабина и О.А. Теуш (Екатеринбург) предложили вниманию собравшихся несколько новых финно-угорских этимологий из составляющего ее кафедры русского языка и общего языкознания Уральского университета под руководством чл.-корр. РАН А.К. Матвеева "Словаря финно-угросамодийских заимствований в говорах Русского Севера", проект и пробные статьи которого обсуждались на II совещании в

1996 г. Были рассмотрены также локальные заимствования из коми языка в устаревшей уральской лексике (Л.Г. Гусева, Екатеринбург), скандинавские заимствования в лексике говоров Русского Севера (Н.М. Ивашова, Екатеринбург). М.Э. Рут (Екатеринбург) обосновала заимствованный характер трех севернорусских лексем (*пушка*, *тужма*, *пажок*). С интересом был выслушан доклад Я.В. Калининской (Санкт-Петербург) "Северный посевивный перфект в свете русско-прибалтийско-финских языковых контактов", не содержащий непосредственных этимологических наблюдений и интерпретаций, но дополняющий дискуссию о финно-угорском субстрате на Русском Севере и калькировании синтаксических конструкций как одном из проявлений такого субстрата. Выступление А.Л. Шилова (Москва) "К происхождению гидронимических терминов *куръя*, *лудас*, *режда*" послужило поводом к новой вспышке дискуссии о конкретной языковой принадлежности финно-угорского субстрата на Русском Севере и о языках-источниках севернорусских топонимов и лексем, завершением которой стала этимологическая интерпретация топонимов *Свидь* и *Царенда*, продемонстрированная в докладе А.К. Матвеева "Две топонимические аномалии на Русском Севере".

"Славянская ветвь" совещания прошла под знаком поиска методик системной интерпретации этимологически интересного материала. Доклад Ж.Ж. Варбот (Москва), посвященный перспективам изучения явлений народной этимологии в русской диалектной лексике, поставил перед слушателями ряд актуальных задач этимологизации в целом. В ходе обсуждений было отмечено, что наиболее перспективными являются методики анализа словообразовательных гнезд и морфо-семантических полей, нашедшие воплощение в докладах Н.В. Галлиновой (Екатеринбург) "Дериваты праславянских корней со значением 'гнуть', 'вертеть' в говорах Русского Севера", И.В. Родиновой (Екатеринбург) "Морфо-семантическое поле и проблемы семантической реконструкции (на примере гнезд \**hog-*, \**baž-*, \**holg-*, \**blaz-*)", Л.А. Феоктистовой (Екатеринбург) "К вопросу о путях формирования значений пустоты и наполненности в русских народных говорах". Не менее перспективными были признаны поиски этимологических обоснований через анализ систем вторичных значений, что было сделано, например, по отношению к славянским дериватам от названий жабы в докладе Е.Л. Берез-

з о в и ч (Екатеринбург) «Из севернорусских диалектных этимологий (названия "погани" и их дериваты)», а также по отношению к русским оторнитонимическим образованиям в выступлении Е.В. Лысо-вой (Екатеринбург). Продолжает оставаться продуктивным традиционное направление – этимологическая интерпретация различных тематических групп лексики. Особо хотелось бы выделить содержательный доклад Л.В. Куркиной (Москва) "Севернорусская топонимия как источник реконструкции терминологии подсеčno-огневого земледелия", кроме того, интерпретации лексико-семантических блоков были посвящены доклады Л.Я. Петровой (Великий Новгород) "К этимологии названий корзин" и О.В. Смирновой (Екатеринбург) "К вопросу о мотивации некоторых полеводческих терминов".

В ряде докладов рассматривались конкретные этимологии отдельных диалектных лексем и топонимов: "К этимологии диалектного *дека*" (Л.П. Дронова, Томск), "К этимологии некоторых ойконимов Алтая с диалектной основой" (Л.М. Дмитриева, Барнаул), "К истории названий села *Полноват*" (Т.Н. Дмитриева, Екатеринбург), "Этимология диалектных основ пермских фамилий XVII века (*Батанов, Батаногов, Батов*)" (Е.Н. Полякова, Пермь). В докладе Д.М. Савинова (Москва)

"К вопросу о фонетическом аспекте этимологического анализа топонимии" была представлена этимологическая интерпретация местных географических названий, учитывающая позднейшие диалектные фонетические процессы, а также особенности артикуляционного уклада отдельных русских говоров.

Время между заседаниями было насыщено взаимными консультациями, особенно значимыми в связи с тем, что среди участников совещания было немало тех, чей возраст еще не переступил барьера в 33 года, отграничивающего молодых ученых от зрелых (11 из 26), а также знакомством с богатейшими лексическими и топонимическими картотеками Топонимической экспедиции, работающей при кафедре русского языка и общего языкознания Уральского университета.

III совещание по проблемам диалектной этимологии еще раз показало продуктивность и перспективность подобных встреч, привлекательность которых во многом обусловлена творческой атмосферой и значительными успехами коллектива кафедры – организатора в собирании, издании и всестороннем изучении диалектной апеллятивной и проприальной лексики. Участники совещания выразили надежду на новую встречу через 2–3 года.

Д.М. Савинов (Москва)

## НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

Небольшая, или, по терминологии книжного искусства, иррационального формата "ин-кварто" книга **Наталии Александровны Еськовой** "Хорошо ли мы знаем Пушкина?" при внешнем знакомстве вызывает ощущение, что размеры и легкость "трехмерного блока" (пространственная организация книги) обманчивы. Они могут вступить, по книжному закону, в противоречие с "масштабом" книги, т.е. с характеристикой ее значимости [Адамов 1990].

Хорошо ли мы знаем Пушкина? Книга еще не раскрыта, но автор уже вступил с читателем в беседу. Это "мы" кажется искренне доверительным, а его возможные составляющие – равноправными.

Традиционные выходные данные и прикнижная краткая аннотация сообщают, что книга выпущена издательством "Русские словари" (М., 1999 г.), по жанру – краткие очерки, тип издания – научно-популярный. Читательский адрес – самый широкий круг читателей, но прежде всего – преподаватели русского языка и литературы.

Оглавление книги на следующей странице, однако, совсем не традиционно. Очерки группируются под двумя рубриками: "Серьезно" и "Полусерьезно и несерьезно". Такова первая авторская градация материала в книге. Далее под рубрикой "Серьезно" выделяются две подрубрики: "Евгений Онегин", которая объединяет

очерков, и "Другие произведения", которая объединяет восемь очерков.

Вторая часть книги под рубрикой "Полусерьезно и несерьезно" имеет свое строение. Она делится на четыре раздела: 1. Какие ошибки допущены в этих высказываниях? 2. Восемь вопросов по бессмертному роману в стихах. 3. Викторина-шутка по разным произведениям. 4. Изовикторина по иллюстрациям к "Евгению Онегину": 1) кто нарисовал правильно? 2) к каким строкам?

В конце книги даются ответы на вопросы, поставленные в данных четырех разделах.

Во вступительной статье автор с глубокой любовью и благодарностью вспоминает С.М. Бонди. «Вероятно, самый великий из плеяды советских пушкинистов..., сохранившийся в памяти многих студентов-филологов 40-х – 50-х гг. как человек, "знавший все" о Пушкине, он оставил до обидного мало печатных работ» (с. 4).

Доверительное "мы" в названии книги позволяет вспомнить студенческие годы 60-х гг., университет "на берегах Невы", пушкинские семинары Виктора Андронниковича Мануйлова в кабинете музея "Последняя квартира Пушкина", выступления и магнитофонные записи рассказов Ираклия Луарсабовича Андронникова, лекции по истории литературы Георгия Пантелеймоновича Макогоненко. Та же атмосфера: преклонение студентов перед обширными энциклопедическими знаниями ученых о пушкинской эпохе, когда страница, строчка произведений поэта могли стать предметом часовых увлекательных бесед и научных изысканий. И пронесенное через годы то же чувство огромной благодарности, смешанное с чувством неопределенной вины.

Г.П. Макогоненко с глубоким уважением относился к работам "старейшего пушкиниста" С.М. Бонди, в которых, по его словам, высказываются "глубокие мысли о сложной эволюции Онегина, решительно отмечается идея о суде Татьяной Онегина, как противоречащая замыслу Пушкина и содержанию романа" [Макогоненко 1987: 350].

После вступительной статьи автор книги первым под рубрикой "Серьезно" поместил очерк "Что читала Татьяна?". Герои романа – читатели. Эта тема не случайна в творчестве А.С. Пушкина. По словам поэта, "чтение – вот лучшее учение". В.А. Мануйлов отмечал, что сам А.С. Пушкин читал не книги, а "библиотеки": сначала библиотеку отца, затем библиотеку Лицея и лицейского директора Энгельгардта, Жуковского, Карамзина, графа М.С. Воронцова, П.А. Оси-

повой, личную библиотеку Вольтера [Мануйлов 1949].

Для поэта было значимо, какие книги были "друзьями" его героев, какой том "дремал" у Татьяны под подушкой. Не имея возможности общаться с Онегиным, Татьяна надеется, что знакомство с книгами Евгения поможет понять его душу ("езде Онегина душа"). По мнению Н.А. Еськовой, "книги Татьяну вводят в заблуждение". Думается, что эта тема не однозначна. Так, Г.П. Макогоненко писал, что при чтении книг Онегина у Татьяны "ум проснулся", она поняла противоречивость любимого ею человека, сложность его духовной жизни и счастье духовной близости [Макогоненко 1987].

"Она по-русски плохо знала...". Так называется следующий очерк автора. Толкование семантики этого выражения дается в широком лингво-культурно-историческом контексте. Эта проблема рассматривается автором и в несколько другой интерпретации. Речь идет об утверждении, что А.С. Пушкин думал и писал по-французски. Н.А. Еськова замечает, что "из почти 800 писем Пушкина по-французски написано немногим более ста и среди них много деловых" (с. 18).

Исследователи-пушкинисты давно отмечают, что Пушкин читал на многих языках. В его бумагах сохранились пометки и выписки, сделанные на шестнадцати языках, не считая русского: на французском, старофранцузском, итальянском, испанском, английском, немецком, древнегреческом, латинском, древнерусском, церковнославянском, сербском, польском, украинском, древнееврейском, арабском и турецком. Он читал подлинники лучших писателей мира.

Разве только французский язык и французская культура доминировали в дворянском обществе после войны 1812 года? Хорошо ли мы знаем Пушкина?

Проблемам варьирования смысла "высказывания", расширительного толкования пушкинских цитат посвящены и другие очерки Н.А. Еськовой под рубрикой "Серьезно".

Такой же серьезный материал для размышлений находит читатель и под рубрикой "Полусерьезно и несерьезно".

Автор книги, как бы стыдливо прикрывшись рубрикой "Полусерьезно и несерьезно", с большим тактом только приводит контексты с ошибками, неточностями, допущенными в газетных материалах, телевизионных передачах и печатных изданиях при цитировании Пушкина.

Как можно бездумному цитированию противопоставить бережное отношение к

пушкинскому слову? Думается, не случайны в данном разделе и восемь вопросов по бессмертному роману в стихах и викторина-шутка по разным произведениям поэта.

Изовикторины по иллюстрациям к "Евгению Онегину" еще раз показывают, что внимательное чтение романа, знание контекста имеют важное значение не только для лингвиста, литературоведа, но и для художника. В мире "цитатных заблуждений" может оказаться и мастер кисти. Иллюстрации М. Добужинского, Ф. Константина, Н. Кузьмина, В. Гельмерсена ясно показывают, кого из этих художников тревожит вопрос: "Хорошо ли мы знаем Пушкина?"

**Науковедение** – *новый российский ежеквартальный научный журнал* объемом 15 п.л. Выходит с 1999 г. Посвящен комплексному анализу проблем отечественной и мировой науки средствами различных научных дисциплин: философии, социологии, экономики, истории, психологии, статистики, наукометрии и т.д.

Целью издания является организация систематического исследования состояния и тенденций развития российской науки, ее исторических традиций и перспектив, изучение актуального для России опыта организации науки в других странах.

Уникальность журнала – в публикации новейших научных исследований, сопровождаемых иллюстративным материалом. В журнале рассматриваются вопросы развития научного сообщества, экономические проблемы науки, вопросы научно-технической и инновационной политики, организации науки; анализируются проблемы науки и общества, науки и образования, роли науки в культуре; серьезно обсуждаются проблемы философии науки и социологии знания, информационные аспекты развития науки, международное научное сотрудничество; особый интерес представляют исследования

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Адамов Е.Б. и др. 1990 – Книга как художественный предмет: Формат. Цвет. Конструкция. Композиция. Ч. 2. М., 1990.
- Мануйлов В.А. 1949 – Пушкин и наше время: Стенограмма публичной лекции, прочитанной в 1949 году в Ленинграде. Л., 1949.
- Макогоненко Г.П. 1987 – Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин" // Макогоненко Г.П. Избранные работы: О Пушкине, его предшественниках и наследниках. Л., 1987.

*Л.Л. Агафонова*

по истории науки и техники, науковедения. Важна и информационная направленность журнала: публикуются материалы по нормативной регуляции науки, дается обзор научных конференций, отечественной и зарубежной литературы по науковедению.

Издание адресовано широкому кругу читателей – научным работникам, преподавателям и студентам вузов, аспирантам. Авторы журнала – известные специалисты в разных областях гуманитарного знания.

На второе полугодие 2000 г. на журнал можно подписаться в любом почтовом отделении России по объединенному каталогу «Газеты и журналы российские и зарубежные (2000, второе полугодие)» Агентства «Роспечать», подписной индекс 79679.

Льготную подписку можно оформить непосредственно в редакции. Стоимость такой подписки на полугодие – 50 руб.

В редакции можно приобрести либо заказать наложенным платежом любой номер журнала за 1999 г. (стоимость одного экземпляра – 24 руб.).

103012, Москва, Старопанский пер., д. 1/5  
Тел. (095) 298-5510; факс (095) 925-9911

## CONTENTS

*To the centenary of Professor A.P. Dulson:* T.V. Galkina, O.A. Osipova (Tomsk). A.P. Dulson and his linguistic school; V.V. Bykonia, N.G. Kuznetsov (Tomsk). A.P. Dulson's linguistic school and studies in Samodian languages; E. Waida (Washington). The actant conjugations in the Ket language; G.K. Werner (Bonn). Complex attributive constructions in the Jenisseian languages; V.N. Popova (Shymkent). The study of substrat toponymy by means of A.P. Dulson's areal- retrogressive method.

---

N.V. Percov (Moscow). On the ambiguity in poetic language; A. Ahlquist (Helsinki). Merians, not Merians... (II); E.V. Uryson (Moscow). The Russian conjunction and particle *u*: structure of the meaning; **Reviews:** D.M. Nasilov (Moscow). I.V. Kormušin. The Turkic Jenisseian epitaphs; A.L. Mal'čukov (St.-Petersburg). V.T. Kyalandzyga, M.D. Simonov. Dictionary of the Udihe language. Preprint; V.V. Kolesov (St.-Petersburg). M.V. Ivanova. Old Russian biographies of Saints (XIV–XV centuries) as a source for the history of the Russian literary language; M.M. Makovskij (Moscow). Language and speech; **Chronicle features; New editions.**

Технический редактор *О.Н. Никитина*

---

Сдано в набор 29.02.2000	Подписано к печати 12.04.2000	Формат бумаги 70 × 100 <sup>1/16</sup>		
Офсетная печать.	Усл.-печ.л. 13,0	Усл. кр.-отг. 19,5 тыс.	Уч.-изд.л. 15,7	Бум.л. 5,0
	Тираж 1473 экз.	Зак. 3565		

---

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.  
в Министерстве печати и информации Российской Федерации  
Учредители: Российская академия наук, Отделение литературы и языка РАН

---

Адрес издателя: 117864, Москва, Профсоюзная, 90  
Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,  
телефон 201-25-16  
Отпечатано в ППП «Типография "Наука"», 121099 Москва, Шубинский пер., 6